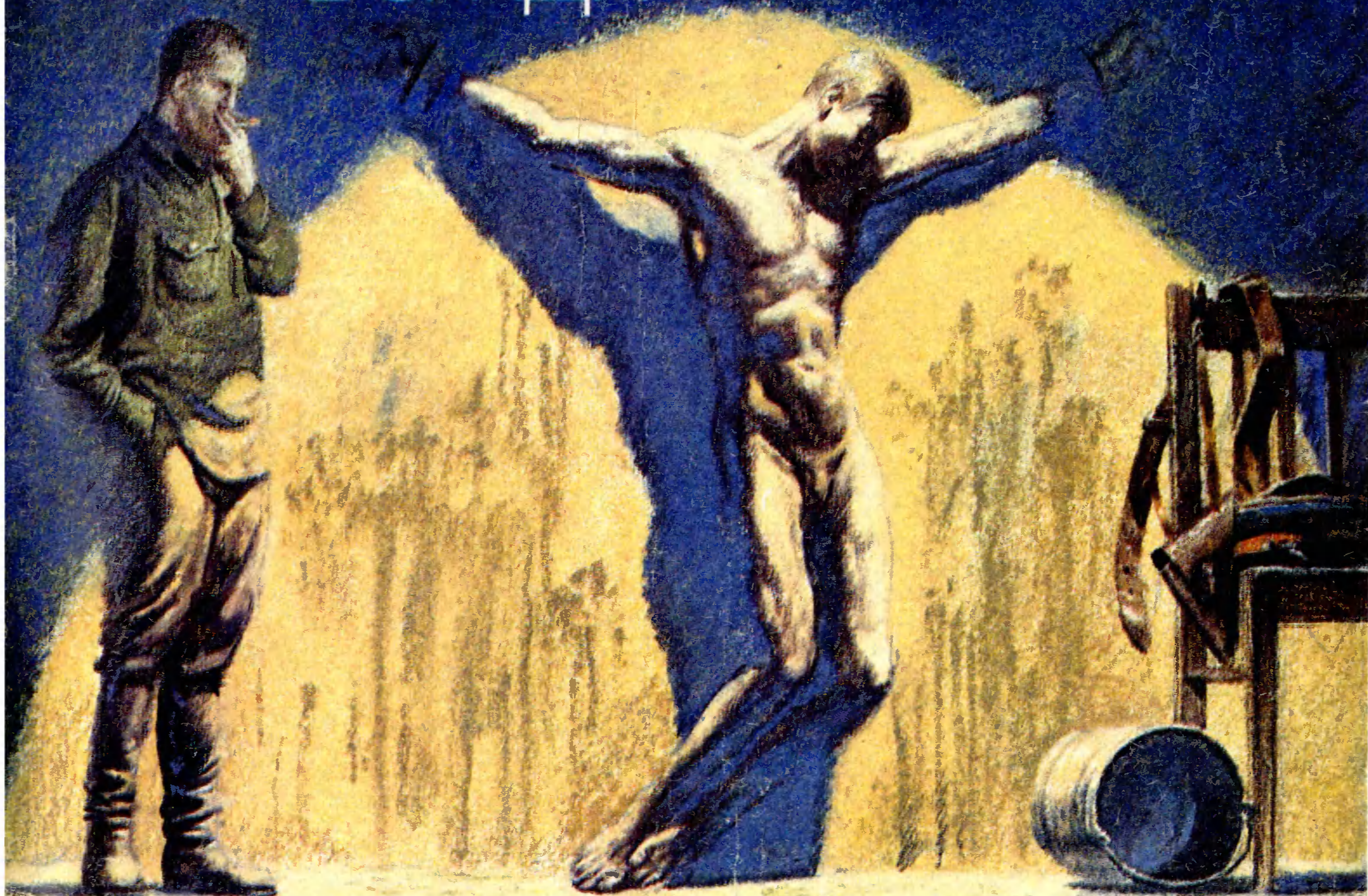


ISSN 0131-6044

РОМАН-8 ГАЗЕТА

(1158) · 1991

Владимир Успенский
·
ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК
ВОЖДЯ





Читатель предлагает, критикует, советует

В редакцию поступают отзывы о книге Дмитрия Волкогонова «Триумф и трагедия». Публикуем выдержки из некоторых писем.

Тов. П. М. Мартынов из Магадана пишет: «Уважаемая редакция! Одолею «Триумф и трагедию» Д. А. Волкогонова. У Дмитрия Антоновича чувствуется выучка высшей школы — запутать в датах события попеременно с порочным и добрым словом до такой степени, чтобы читатель, как это бывает с нами, «пробившись» на горисполкомовский прием по квартирному вопросу, ушел после беседы, не зная, зачем приходил. Даты истории хаотически умышленно смешаны до такой степени, что теряется всякое здравомыслие... Кажется, генерал-полковник превзошел в запутывании политического портрета «вождя» сам себя! Что же мы, дорогие товарищи, преподаем поколению молодежи?»

Читатель В. П. Фадеев из Нижнего Новгорода обращается непосредственно к автору книги: «Уважаемый тов. Волкогонов! В «Литературной газете» № 50 от 9.12.1987 г. Вы писали: «Насколько были сложны условия того времени, настолько сложной оказалась и личность во главе народа и партии». «Будучи честными перед истиной, перед историей, нельзя не признать неоспоримого вклада И. В. Сталина в борьбу за социализм и его защиту». «Во время борьбы за выживание нового строя исключительное значение имела целеустремленность и политическая воля лидера. Здесь, пожалуй, Сталину после Ленина не было равных». Зачем же теперь Вы постоянно обливаете грязью И. В. Сталина?»

Столь же критически отнесся к произведению Д. Волкогонова и читатель Е. Н. Попов из Северодвинска: «Гражданин генерал! Я прочел первую часть Вашего сочинения и по многим коренным вопросам с Вами абсолютно не согласен, несмотря на Ваш высокий чин и разные должности, я рядовой гражданин страны, прожил в ней всю жизнь, не прятался за чужие спины во время войны и не бегал в кусты в мирном труде, я не менял своих убеждений и не изменю, а отсюда

я вправе высказать свое мнение. Если бы меня попросили оценить произведение в целом, то я высказался бы так: это односторонний черный пасквиль на И. В. Сталина, с одной стороны, и, с другой — одновременно хорошо закамуфлированный троянский конь, где под видом защиты В. И. Ленина фактически атакуются основные положения марксизма-ленинизма».

Из Махачкалы пришла телеграмма: «С возмущением прочел Волкогонова «Триумф и трагедия». Книгу сжег. Интересно, за что автор ненавидит Сталина? История должна быть правдивой. Керимов».

Есть и положительные отзывы: «Дорогие сограждане! Прочел Дмитрия Волкогонова. Сама по себе работа уникальна. Это первая и, возможно, единственная такая работа. Я во многом разделяю взгляды автора на деятельность Иосифа Виссарионовича. Но я не согласен, что это явление исторически случайное, что, если бы был другой на месте Сталина, трагедии бы не было. Почва для сталинизма и сейчас благоприятна...» (В. П. Комаров, Московская обл.).

Читатель В. В. Моисеенко из Сумской области пишет: «Произведение Д. Волкогонова «Триумф и трагедия» переменяло у многих людей представление о нашей истории. А не зная прошлого (да и зная в тогдешней интерпретации), трудно понять настоящее. Прошу Вас опубликовать произведение Д. Волкогонова о Льве Давидовиче Троцком».

Читатель Г. Варашев из Москвы, обращаясь к автору книги, пишет: «Жаль, что ученый, историк Волкогонов уступает Волкогонову — функционеру, генералу. Впрочем, понимаю — силы не равные. Итак, Маркс с его фундаментальной дикостью — теорией классовой борьбы и Ульянов с архипорочной государственной однопартийностью сами по себе, а вот Джугашвили... Не кажется ли Вам, Дмитрий Антонович, что ученый-гражданин должен иметь мужество заявить: Сталины при нашей политсистеме — закономерность. Сталин. Это фигура удачно собрала воедино весь букет системы: бездуховность, безжалостность, властолюбие, воинственность...»

РОМАН-8

НАРОДНЫЙ
ЖУРНАЛ
·
МОСКВА

ГАЗЕТА

(1158) · 1991

Основана в 1927 г

Владимир Успенский · ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК ВОЖДЯ

Роман-исповедь

КНИГА ВТОРАЯ

Часть третья

1

Два события предопределили перелом в жизни и деятельности Сталина, в проводимой им политике, в формах и методах руководства. На первый взгляд события эти кажутся совершенно разновеликими и несовместимыми, одно из них сугубо личное, другое — общественное, и все же я думаю, что именно они, вместе взятые, направили Иосифа Виссарионовича на новую стезю.

Кончина Надежды Сергеевны и ее предсмертное поведение, которое Сталин считал предательством, обострили худшие качества Иосифа Виссарионовича, такие как подозрительность, вспыльчивость, жестокость. Он ведь по-своему любил Надежду Сергеевну, даже очень любил, считая ее самым близким, интимно-близким человеком, верил ей, рассказывал о своих делах, колебаниях, срывах. Доверялся, как доверяются дорогой женщине в роднящие минуты общения. А она вдруг оказалась не только плохой супругой, но и (в его глазах) политическим противником. Сталин был выбит из колеи, утратил в ярости какие-то основополагающие ориентиры. Гнев кипел в нем, готовый вылиться на тех, кто мешал ему в работе или хотя бы мог помешать. Много крови, много насилия видел он за свою жизнь (в ссылках, в тюрьмах, в боях), и ни то, ни другое не могло теперь стать для него преградой на пути к важной цели. Уничтожение отдельных вредителей, отдельных врагов уже не удовлетворяло Сталина. Он жаждал больших масштабов, крутых поворотов, только не знал еще точно, на кого и под каким предлогом выплеснуть свою испепеляющую ненависть. Но была бы только ненависть, а предлог найдется.

В начале 1934 года собрался XVII съезд партии, который вошел в официальную историю как «съезд победителей», а в неофициальную — как «съезд смертников». Впрочем, на нем действительно выявилась, а затем надолго утвердилась у власти небольшая, но монолитная группа победителей: сам Сталин и несколько близких ему товарищей. Совершенно произвольно назвав поражения успехами, выдав несомненные конфузии за явные виктории, Иосиф

Виссарионович опрокинул своих оппонентов и еще раз утвердился в простой истине: сила соломѹ ломит. Возражать было некому. Политические противники ошеломлены, а мыслящему тростнику сам бог велел дремать, покачиваясь под теплым ветром, или быть вытоптаннѹм (в случае неуправляемости и своенравия).

О том, что на съезде его ждут большие неприятности, может быть даже полный крах, Иосиф Виссарионович знал заранее. Слишком долго стоял он у руля, вопреки указаниям Ленина, слишком большую власть сконцентрировал в своих руках, перестав считаться с мнением других партийцев. Многих разочаровали последствия поспешной коллективизации, оставившей страну без продовольствия, без сырья для легкой промышленности, принесшей массовые, ничем не оправданные жертвы. Многим претила резкость, категоричность Сталина. Некоторые считали его явно больным, место которому не в Политбюро, а на Канатчиковой даче.

Иосиф Виссарионович, разумеется, учитывал все эти настроения и готовился к самой решительной, бескомпромиссной борьбе. Ему было просто невозможно выпустить бразды правления. Он хотел довести начатое до конца. Он мечтал стать великим деятелем, заметным в мировой истории. С другой стороны, он понимал: у него столько противников, столько людей так или иначе пострадали от него, что тихо, незаметно отойти в сторону невозможно. Его собьют с ног и растопчут. Троцкого не было в стране, но сколько его сторонников оставалось на руководящих постах в высших звеньях партии, государства, карательных органов?! Эти люди не упустили бы своего шанса!

Сместить руководителя — лишь половина дела. Важно, кто займет его место. Тут у противников Сталина не было единомыслия. Назывались фамилии Бухарина, Рыкова, даже Зиновьева, но никто из них не представлял реальной угрозы, каждого могла поддержать какая-то группа, но отнюдь не подавляющее число делегатов. Если кто и пользовался тогда в партии большим авторитетом, почти не уступавшим авторитету Сталина, так это Сергей Миронович Киров. С той разницей, что позиции Иосифа Виссарионовича заметно ослабли, а популярность Сергея Мироновича быстро росла. Все, кто знал Кирова, с похвалой отзывались о его энергичности, широком кругозоре, партийной принципиальности и особенно — о его корректности, заботливом отношении к товарищам, к трудящимся, что выгодно отличало его от Сталина. Вопрос заключался в том, захочет ли сам Киров сражаться за высшую власть, пойдет ли он на неизбежный раскол и разброд в рядах партии. А решиться все должно было на съезде, так как Политбюро поддерживало Иосифа Виссарионовича, даже оказывало на Сергея Мироновича соответствующий нажим. Но не очень сильный. Во-первых, потому, что Киров находился далеко, в Ленинграде, и пользовался там полным доверием мощной партийной организации. А во-вторых, человек он был такой, что на любое действие мог ответить решительным противодействием.

Перед самым началом съезда Сергей Миронович выступил вдруг в северной столице с докладом о работе ЦК ВКП(б), который удивил и привел в замеша-

тельство не только его сторонников, но и противников. Известно, что о деятельности Сталина отзывался Киров достаточно сдержанно, но на этот раз основная часть пламенной речи была посвящена безудержному восхвалению Иосифа Виссарионовича. Никто до той поры не превозносил так Сталина.

Пожалуй, не меньше других был ошарашен речью Кирова и сам Сталин.

— Что это такое? Он считает меня политическим мертвецом?

— Почему? — не понял я.

— Слишком похоже на некролог. Восхвалить и похоронить. Или Киров не уверен в своей победе и отказывается от борьбы?

— А если он искренне выражает свое отношение к вам?

— Нет, дорогой Николай Алексеевич, слишком много патоки. Это обдуманнѹм ход... Оправдываться ему не в чем. Тогда для какой цели такие восторги?

— Берия вообще хвалит вас без зазрения совести, прямо в глаза, но это не вызывает ваших сомнений.

— Лаврентий Павлович льстец. Он прокладывает себе дорогу сюда, в столицу. Его намерения мне совершенно понятны. А Сергей Миронович до элементарной лести себя не унижит.

— Значит, тем более ему ясно, что подобное выступление — и именно сейчас — пойдет, Иосиф Виссарионович, нам на пользу. Киров укрепил позиции наших сторонников, поколебал сомневающихся, отвлек на себя огонь многих критиков. Мы должны быть благодарны ему.

— Сергей Миронович предан делу партии, но все же политика остается политикой, — задумчиво произнес Сталин.

По интонации, по холодному прищурѹ глаз я понял, что в этих словах кроется какой-то особый смысл. Я привык по скупым жестам, по оттенкам голоса угадывать его состояние, представлять ход мыслей.

Он продолжал:

— Бывает облыжное охаивание, а тут можно заподозрить облыжное восхваление. Для какой цели? Если все начинания, все дела партии и государства, все успехи — это прежде всего заслуга Сталина, — значит, и за все неудачи, даже самые мелкие, несет ответственность только Сталин. Указан точный адрес: вот ответчик за все ошибки.

— А разве они были, ошибки-то?

— Не иронизируйте, Николай Алексеевич. Еще Ильич очень правильно говорил, что не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. От себя добавлю: ничегонеделанье само по себе тоже большой порок.

— Ленин добавлял о тех, кто упорствует в ошибках и заблуждениях.

Иосиф Виссарионович не стал возражать. Подумав, усмехнулся невесело:

— Видите, как получается после слов Кирова. Разговор зашел о наших успехах, а потом сполз к ответственности за ошибки. Разве это не политика?! А в политике так: набивают цену, чтобы дороже продать.

И вот — съезд. Иосиф Виссарионович выступил с

тщательно продуманным докладом, подвел итоги достижений социалистического строительства, особенно в области индустриализации. Успехи, бесспорно, имелись.

Интересные доклады были также зачитаны Молотовым, Кагановичем. Сторонники Иосифа Виссарионовича были на первом плане. И все-таки положение Сталина представлялось таким шатким, что я сразу после открытия съезда начал думать о том, где бы нам укрыться на первое время после краха, отсидеться за надежными стенами. Может, на даче Микояна, в его замке, окруженном кирпичным забором?! Уехать из Москвы тихо, никто не догадается, где мы, где искать. А потом махнуть на Кавказ. Я воспитывал бы дочь, Иосиф Виссарионович — своих детишек. Ему тоже пора отдохнуть, пятьдесят пять лет, столько бурь за спиной...

Итак: формально у руля остался Иосиф Виссарионович, но симпатия, доверие съезда и партии были на стороне Кирова. По существу, он стал в партии фигурой самой авторитетной и притягательной. А что важнее в политике? Должность или авторитет?

Сталин не то чтобы добился победы — он с великим трудом избежал поражения. И конечно, сделал для себя категорические выводы. Прежде всего, до следующего съезда ликвидировать всех противников (любых убеждений, любой национальности, любого положения), выступавших или способных выступить против него. Заменить их новыми людьми, самыми простыми, без широких знаний и политического опыта, которые верят ему и будут преданы только ему.

Укрепить свою власть в партии и в государстве — такую задачу поставил он перед собой.

Сразу после съезда на стол Иосифа Виссарионовича легли списки делегатов, где отмечены были все, кто не оказал ему активной поддержки. Таких было много. С них и следовало начать, воздав им должное, чтобы полностью обезопасить себя от встреч с этими людьми в повседневной работе и на следующих партийных форумах. В цифрах это выглядит так: всего на «съезд победителей» прибыло 1966 делегатов, из них 1108 человек были вскоре (в течение трех лет) арестованы и уничтожены.

«Лицемеры, — говорил о них Сталин. — Почему они не критиковали меня с трибуны в своих выступлениях? Это была бы открытая, честная борьба... Но нет, они устраивали овации, они били в ладоши и улыбались, а потом втихомолку голосовали против меня. Это двурушничество! Ми-и не можем, не имеем права доверять им!»

2

В начале тридцатых годов до крайности обострилось в Ленинграде положение с жильем. Да и как ему было не обостриться, ежели новых домов после революции почти не строили, а народа прибавлялось: много прихлынуло руководящих работников со шлейфами своих местечковых родственников (претендовали на самую лучшую жилплощадь), да и крестьяне стремились из голодающих деревень в город, к твердому заработку, к надежным продовольственным карточкам.

Примерно 20 тысяч семей (около ста тысяч человек), считавших себя пролетарскими, настойчиво требовали: даешь фатеру, даешь условия! За что боролись?

Надо было принимать какие-то меры. Начались различные заседания и совещания по этому поводу. Появился проект, на мой взгляд, очень даже обоснованный и толковый — быстро соорудить (или восстановить) возле Ленинграда два кирпичных завода. Обжигать также напольный кирпич. И главное, — сразу же приступить к строительству упрощенных пятиэтажных домов на сто квартир каждый. За два-три года возвести двести таких зданий и выйти из кризиса. Реально ли это? Вполне. Пятьдесят бригад по пятьдесят человек и еще пятьсот человек на кирпичных заводах — всего требовалось три тысячи рабочих. Их и искать не надо, люди слонялись тогда без дела, ждали своей очереди на бирже труда. Только приставь к месту, только дай работу и плати — счастливы будут. И особой техники, особых капиталовложений не требовалось. Лопаты, носилки, мастерки, пилы да топоры. Леса кругом — заготовляй бревна, режь доски, брусья. Создалась бы новая строительная организация со своей базой и действовала бы дальше, разрастаясь и укрепляясь. Но для этого нужно было не на заседаниях языки мочалить, а конкретно руководить, формировать, изыскивать, направлять. Требовались усилия: любое созидание не обходится без напряжения.

К сожалению, в ту пору больше ценились фразы, чем дела, больше верили заявлениям, чем поступкам. К тому же у руководителей еще не исчезла иждивенческая привычка жить за счет «проклятого прошлого». Еще раз «прижать к ногтю» враждебные классы, обеспечив за их счет пролетариев, — это, во-первых, быстрее и проще, без всякой организационной возни, а во-вторых, сие и выглядит революционно, как последовательная, принципиальная, непримиримая борьба со всеми недобитыми элементами. Но поскольку упомянутые элементы «прижимались» уже много раз, квартиры их неоднократно уплотнялись и втискивать новых людей было уже некуда, Сергей Миронович решил разрубить гордиев узел одним ударом: выселить десятки тысяч лиц непролетарского происхождения не только из квартир, но и вообще из города, отправить их в административном порядке в те отдаленные холодные края, где пресловутый Макар не пас своих столь же пресловутых телят. Что и было выполнено с присущей Сергею Мироновичу энергией.

Пострадали не только старухи и старики, бывшие сановники и чиновники, титулованные и нетитулованные граждане бывшего «света» и «полусвета», но в основном пострадала интеллигенция: музыканты и врачи, адвокаты и инженеры, научные работники, искусствоведы. За одни сутки их вышвырнули из квартир и с носильными вещами командировали по назначению. Мужчин, правда, среди них было мало, мужчины или погибли, или давно уже стали таежными лесорубами, землекопами, добытчиками цветных металлов на рудниках. Высылались в основном старики, женщины, дети. Сколько их поумирало в пути, в необжитых местах! Сколько было трагедий!

Иосиф Виссарионович был очень недоволен событиями в Ленинграде. Они получили широкую и неприятную огласку. При огульном выселении пострадали люди, нужные государству: ученые, специалисты высокой университетской квалификации, известные всему миру деятели культуры. Алексей Максимович Горький высказал свое резкое осуждение. Никто из пострадавших не выступал непосредственно против Сталина, — следовательно, Иосиф Виссарионович не видел никаких причин для их изоляции. А теперь что же? Кто уцелел из ученых — удастся ли их использовать для дела, не возненавидели ли они Сталина за те обиды, которые нанес им Киров?

Был момент, когда Иосиф Виссарионович, вспыхнув, хотел вообще отменить незаконную акцию Кирова, вернуть в Ленинград всех высланных. Этим самым и сопернику своему Сергею Мироновичу нанес бы удар. Но такой выпад даже самому Сталину показался тогда слишком резким и несвоевременным. Да и как поймут, воспримут это решение те, кто уже вселился в квартиры: а ведь эти люди в массе своей ближе, дороже, надежнее, чем высланные.

Иосиф Виссарионович ограничился тем, что в разговоре по телефону выразил Кирову свое явное неодобрение. А Вячеслав Михайлович Молотов с оттенком пренебрежения сказал тогда и неоднократно повторял впоследствии: «Киров не политик и не организатор, он лишь умелый пропагандист».

Последний раз я беседовал с Сергеем Мироновичем осенью тридцать четвертого года, приехав в Ленинград по делу, которое в то время считалось совершенно секретным.

Иосиф Виссарионович просил меня составить собственное мнение о положении дел в Особом техническом бюро по военным изобретениям специального назначения — сокращенно Остехбюро. Любопытно, как возникла эта закрытая научно-конструкторская организация. В 1921 году молодой и никому не известный тогда изобретатель Владимир Иванович Бекаури обратился к Владимиру Ильичу Ленину с просьбой принять и выслушать его. Встреча состоялась. Бекаури продемонстрировал несколько своих изобретений, причем одно из них произвело на Ленина особое впечатление. Речь шла об управлении на расстоянии при помощи радиосигналов. Например: Финский залив перегораживается минами, когда к ним приближаются вражеские корабли, подается особый сигнал, и мины взрываются. На сухопутье вдоль границ можно установить такие мины. В узлах дорог, на путях движения вражеских колонн закладываются мощные фугасы, и, когда надо, — противник взлетает на воздух.

Можно было спорить о каких-то частностях, но безусловным было одно: Ленин понял, что перед ним талантливый человек, полный желания искать и творить. Вопрос об изобретениях Бекаури рассматривался на заседании Совета Труда и Оборона, после чего инженеру были предоставлены самые широкие возможности для работы. Создав и возглавив в Питере Остехбюро, Владимир Иванович Бекаури повел дело столь уверенно, умно и напористо, что за несколько

лет превратил свое детище в мощное учреждение не только с лабораториями и мастерскими, но и с заводами, с испытательным полигоном. Это был целый научно-исследовательский комплекс, разрабатывавший одновременно несколько десятков проблем. От создания ночного бинокля до самолетных радиостанций, от новых торпед до прибора по обнаружению металлических масс под водой, от взрывателей до малогабаритных источников электропитания. Охват широчайший. Предупреждая меня об этом, Иосиф Виссарионович посоветовал не вдаваться в технические подробности, а выяснить главные вопросы: какова практическая отдача Остехбюро, не слишком ли разбрасывается оно по тематике? И какая помощь ему нужна. Все это мы обсудили с Владимиром Ивановичем Бекаури, человеком острым и гостеприимным. С ним легко было говорить, он буквально снимал мысль с языка и отвечал незамедлительно, поглаживая машинально свою бритую голову.

Пришли к выводу, что настало время отделить от Остехбюро несколько самостоятельных направлений, сосредоточить силы на решении основных проблем, в том числе на той идее, которая заинтересовала в свое время Владимира Ильича: мощные фугасы, взрывающиеся на значительном расстоянии. Правда, я высказал Бекаури свое сомнение: такие фугасы, безусловно, полезны и нужны, однако существенного значения на ход военных событий они оказать не могут, тем более при условии ведения маневренных действий на большом пространстве. Владимир Иванович ответил, что не смотрит на свою работу узко, дело не только в фугасах, но и в управлении на расстоянии вообще: с помощью радио, звука и других средств — это шаг в будущее.

Чтобы не возвращаться к проблеме, скажу лишь, что в Остехбюро, сменившем свое сложное название на обычный стандарт «Конструкторское бюро № 5» (если не ошибаюсь, с номером), в этом бюро были заложены основы многих достижений техники, которыми долгое время пользовались наши Вооруженные Силы. Особой же заботой самого Владимира Ивановича всегда оставались приборы управления взрывами на расстоянии. В наших инженерных войсках были созданы специальные минные подразделения ТОС — техники особой секретности. Во время Отечественной войны эти подразделения сказали свое слово. Достаточно вспомнить такой факт. Отступая из Харькова, наши саперы заложили большой фугас под одним из крупных зданий города. Когда там обосновались и спокойно обжились гитлеровцы, линию фронта пересек радиосигнал. Взрыватели сработали. В результате вермахт потерял сразу несколько десятков офицеров.

Но это — потом. А тогда у Сталина, отправившего меня в Ленинград, была личная просьба к Бекаури. Имелось у этого разностороннего человека одно увлечение, если хотите знать, даже чудачество: ради собственного удовольствия он создавал негоряемые шкафы различных размеров, и каждый — особой конструкции, исключавшей всякую возможность взлома или подбора ключей. Сталин хотел, чтобы Владимир

Иванович изготовил такой сейф лично для него. Я оговорил разрешение присовокупить свою такую же просьбу. Ведь через мои руки проходили документы, которые представляли особый интерес и для внешних врагов, и для внутренних недоброжелателей. Душа болела, когда оставлял такие бумаги в ящике стола или прятал их на полке среди книг. С сейфом системы Бекаури было бы куда спокойней.

У меня сложилось впечатление, что наши просьбы доставили Владимиру Ивановичу определенное удовольствие. При всех разносторонних дарованиях он больше всего, вероятно, любил свои сейфы, и ему было приятно, что авторитет его в этом деле так высок: сам Иосиф Виссарионович обратился к нему. А может, несгораемые шкафы были особенно дороги Бекаури еще и потому, что творил он их собственными руками от начала и до конца, это были его персональные детища, рассчитанные на долгий срок.

Узнав, что мне предстоит встреча с Сергеем Мироновичем Кировым, собеседник заволновался, чаще поглаживая блестящую желтоватую голову. Сказал: родственники некоторых сотрудников Остехбюро подверглись неоправданным гонениям, выселены из Ленинграда черт знает куда. Это какое-то самоуправство, отсутствие элементарной согласованности. Вот фамилии сотрудников, которых коснулось это несчастье. Он, Бекаури, настаивает на том, чтобы его сотрудникам были созданы нормальные условия для работы. Хорошо, если об этом скажу Кирову и я.

Передаю здесь лишь смысл слов Владимира Ивановича, форма же выражения была очень горячей и резкой. Прозвучала гневная тирада о лицемерах, которые стараются прикрыть классовую борьбой прорехи в собственной голове и собственном сердце.

Я, конечно, изложил Сергею Мироновичу претензии Бекаури, передал список. Для Кирова это, как показалось, не было неожиданностью. Он поморщился недовольно, сунул лист в какую-то папку. И вообще к моему визиту Сергей Миронович отнесся очень даже прохладно. Совсем недавно он беседовал по тем же вопросам с инженером Ощепковым, с заместителем наркома обороны Тухачевским. Это были официальные должностные лица, а я в глазах Сергея Мироновича являлся фигурой, близкой к нулю. Военный специалист, каких много, занимавший в Наркомате обороны какую-то скромную должность. Направлен в Ленинград Сталиным — только поэтому я и был принят в Смольном: визит, не переросший рамок визита вежливости, продолжался всего двадцать минут.

Справедливости ради надо сказать, что Киров был чем-то озабочен, куда-то спешил и, пожимая на прощанье руку, извинился — не мог уделить больше времени. Я ответил: мои вопросы по Ленинграду исчерпаны, мнение составилось, а насколько удовлетворен нашей беседой он сам, какую пользу извлек, — это зависело лишь от него.

После этих слов Киров, человек сообразительный, хотел, кажется, продолжить наш разговор, но было уже поздно.

А с Владимиром Ивановичем Бекаури мне повезло увидеться еще раз, когда были готовы три оригиналь-

ных сейфа разных размеров. Средний из них — для меня, Иосиф Виссарионович был удовлетворен, когда у него появились надежнейшие шкафы. В общем, все были довольны. Но увлечение необычайными сейфами, как ни странно, в конечном счете слишком дорого обошлось Владимиру Ивановичу — он нажил себе такого врага, которого в то время не пожелал бы я иметь никому. Сложные запоры сейфов делали их недоступными для Лаврентия Павловича Берии. Считавший своим долгом знать обо всех, он, увы, не имел доступа к бумагам, хранившимся в нескольких бекауриевских сейфах.

Лаврентий Павлович никогда не осмелился бы вскрыть шкаф Сталина, но он представлял, что хранится у Иосифа Виссарионовича в тайниках: почти все бумаги, почти все документы так или иначе проходили через руки сотрудников Берии. Однако его тревожили наши беседы со Сталиным, длительные прогулки вдвоем. Он очень хотел знать, что же хранится в моем сейфе и еще в одном маленьком несгораемом ящике, который некоторое время находился у меня на квартире и на даче и который Сталин никогда не открывал в присутствии посторонних.

Насколько я знаю, Лаврентий Павлович по меньшей мере два раза сам обращался к Бекаури, просил и требовал дать ему шифр, выложить тайну недоступности сейфов, однако принципиальный и добросовестный изобретатель не считал возможным передать секрет в третьи руки. Более того, он увлеченно работал еще над одним, сверхзамысловатым шкафом. Для Берии это было уже слишком.

Большую пользу принес стране талантливый изобретатель Бекаури и, наверное, мог бы сделать еще очень многое. Но Берия позаботился о том, чтобы выдающийся инженер не затруднял бы его впредь своими неразрешимыми загадками. В 1939 году Владимира Ивановича Бекаури не стало.

3

Киров и Берия — в моем представлении они связаны неразрывно. Понимаю собственную субъективность, но что же поделать: при воспоминании о Сергее Мироновиче сразу всплывает и другое имя.

Было лишь два человека, которые с самого начала и откровенно ополчились против Лаврентия Павловича, едва он возник на большом политическом горизонте. Прежде всего — Надежда Сергеевна Аллилуева. Ненависть ее проявлялась эмоционально, бурно, вне зависимости от конкретных фактов. Может, она инстинктивно ревновала его к Сталину, первой почувствовала то скверное влияние, которое оказывал на Иосифа Виссарионовича лстивый, коварный хитрец?! «Он плохой человек! Он негодяй!» — во всеуслышанье повторяла Надежда Сергеевна. А в последние месяцы жизни еще добавляла: «Он страшный, от него можно ожидать самого худшего!»

Берия опасался безграничной, отчаянной и прямо-таки патологической ненависти Надежды Сергеевны. Она могла бы кошкой броситься на него и выцарапать

маслянистые выпуклые глаза. Лаврентий Павлович избегал ее. А если доводилось встретиться где-нибудь, держался незаметно, исчезал при первой возможности. У Аллилуевой гнев бурлил, а Берия мрачно копил злобу против нее, против всех и всего, что связано с ней. Это выльется наружу, когда Надежда Сергеевна уйдет из жизни и некому будет защищать ее родственников. Вскоре мы увидим, какой особенный интерес проявит к ним Берия.

Вот как бывает: Надежду Сергеевну, не располагавшую никакими компрометирующими его сведениями, Лаврентий Павлович боялся как черт ладана. А вот Кирова, который знал всю темную подноготную, Берия встречал насмешливой полуулыбкой. Если и опасался Сергея Мироновича, то умело скрывал это.

Вражда двух деятелей имела глубокие корни. Сергей Миронович Костриков еще в 1907 году начал работать репортером газеты «Терек», выходившей во Владикавказе, а репортерам известно бывает многое. Имея журналистскую хватку, писал Костриков легко и хлестко, добился популярности и вскоре стал, по существу, редактором этой газеты. Информацию получал разностороннюю. К чести Кострикова, надо сказать, что он выделялся не только как репортер, но и как автор вполне серьезных статей, например о Льве Толстом. А свои критические выступления Сергей Миронович подписывал псевдонимом «Киров». В ту пору и Сталин заметил, оценил его как активного партийного вожака. Во время гражданской войны назвал его «русским знатоком национальных сложностей по Кавказу».

Кирову было доподлинно известно, что представляет собой Лаврентий Павлович Берия, этот, по его словам, «шарлатан и беспощадный авантюрист», сотрудничавший с грузинскими националистами, а в 1919 году в Баку являвшийся агентом мусаватистов (Берия утверждал впоследствии, что сделал это якобы по заданию большевистской партии, а сведения передавал в штаб 11-й Красной Армии опять же Кирову). Кому Лаврентий Павлович служил на самом деле, определить было трудно. Во всяком случае, его разоблачили как вражеского шпиона, арестовав на месте преступления. Велось следствие. Боевая обстановка была сложной, поэтому Киров послал в Москву телеграмму, прося разрешения расстрелять предателя. Такой приказ был отдан. Однако выполнить его сразу не удалось. Берия каким-то образом оказался на свободе (вполне возможно, что об этом позаботился Сталин), нашел себе авторитетных покровителей. А жаль, что тогда не уничтожили ядовитую змею, — это самый большой упрек, который я мог бы адресовать Сергею Мироновичу, да и сам он трагически расплатится за свою промашку.

А ухмылялся Берия при виде Кирова потому, что знал: для Сталина прошлое Лаврентия Павловича не имело отрицательного значения. Даже наоборот. Иосиф Виссарионович был убежден: у Берии положение безвыходное, он будет служить, как самый надежный пес.

Общее между просто бандитами, просто авантюристами и авантюристами политическими состоит в том,

что при неудаче они расплачиваются ссылкой, тюремным заключением, иногда — самой жизнью. А разница такая: в случае успеха, даже очень крупного, бандиты и авантюристы ими же и остаются, разве что только богатыми. А политический бандит, если ему повезет, сбрасывает запятнанную одежду, обряжается в официальный мундир, превращается в руководителя. Его защищают закон и оружие, его превозносят, ему подражают... Лаврентий Павлович своевременно уяснил это, из простого авантюриста «переквалифицировался» в авантюриста политического и преуспел на таком поприще.

В двадцатых годах Сталин лишь изредка, в самых необходимых случаях, пользовался «услугами» Берии, держа в строгой тайне свою связь с ним. Это было очень удобно: Лаврентий Павлович с преданными ему земляками-мингрелами мог устранить любого человека, а Сталин вроде бы не имел к этому никакого отношения. В свою очередь, Иосиф Виссарионович всегда негласно поддерживал Берию, заботился о его продвижении по службе. Стараниями Иосифа Виссарионовича Берия был выдвинут руководителем ГПУ Грузии, хотя тамошние партийные работники были против.

В 1931 году Иосиф Виссарионович отдыхал в Цхалтубо. Туда же по долгу службы, для охраны Сталина, приехал и Берия. Встречались они ежедневно. Это было время, когда Сталин особенно нуждался в надежных, не рассуждающих и небрезгливых исполнителях своих далеко идущих замыслов. Он и Лаврентий Павлович Какуберия настолько хорошо поняли друг друга, что, вернувшись в Москву, Сталин сразу поставил на заседании ЦК вопрос о назначении Берии вторым секретарем краевого комитета партии Закавказской Федерации, в которую входили Азербайджан, Армения и Грузия. Это предложение было встречено в штыки и членами ЦК, и представителями Закавказской Федерации. Орджоникидзе, считавший Берию «продажной шкурой» и подлецом, вообще отказался присутствовать на этом заседании. Все были против, один лишь Лазарь Моисеевич Каганович, который, кстати, и вел заседание, поддержал Сталина, не поспуившись на похвалы Берии. В общем, предложение провалилось (тогда, до XVII съезда партии, мнение членов ЦК было весомым, каждый высказывал то, что считал нужным. Выступавшего с критикой не выбрасывали за борт, как стало потом).

Сталин был раздражен, и я несколько не сомневался в том, что он добьется своего. Он умел бороться за нужных ему людей. Опытный организатор, мастер закулисных комбинаций, Иосиф Виссарионович нашел другой путь к цели. В самый короткий срок партийное руководство Закавказской Федерации было перетасовано в «рабочем порядке», а проще сказать — разогнано. Берия стал вторым секретарем Закрайкома. Более того, еще через несколько месяцев Закавказская Федерация вообще была ликвидирована, а Лаврентий Павлович вознесен на пост первого секретаря ЦК КП Грузии. Иосиф Виссарионович считал, что этим самым он убил сразу по крайней мере двух зайцев: Грузией отныне руководил предан-

ный и послушный ему человек, а противники и оппоненты Сталина убедились, что выступать против него нет смысла, он всегда одержит верх.

Пользуясь полной поддержкой Иосифа Виссарионовича, Берия действовал решительно и беспардонно. Вот только один факт. Менее чем за полгода Лаврентий Павлович сменил первых секретарей в тридцати двух районах Грузии. И знаете, кто стал первыми секретарями райкомов? Начальники районных отделов НКВД! Это не анекдот, это — печальная правда.

Расположение Сталина к Лаврентию Павловичу особенно возросло после того, как тот торжественно преподнес своему покровителю книгу «К вопросу об истории большевистских организаций Закавказья» с трогательной авторской надписью, хотя, если разобратся, к авторству Берия имел весьма косвенное отношение. Книгу эту составил коллектив грузинских историков. Лаврентий Павлович по собственной инициативе зачитал несколько глав рукописи на партийном активе в Тбилиси, сделав таким образом заявку на соавторство. Посоветовал историкам больше внимания уделить Джугашвили-Сталину. А затем и сам приложил руку, приписав Иосифу Виссарионовичу разнообразные заслуги. После бериевского редактирования получилось так, что не будь Иосифа Виссарионовича, и большевистской партии не было бы в Закавказье, а может, и Октябрьская революция не свершилась бы. Грузинские историки не могли возразить против такой передержки, некоторые вообще не узнали о ней: историков одного за другим втихомолку увозили в тюрьму и расстреливали. Вот и остался Лаврентий Павлович единственным «автором» вышеназванного опуса. А Иосиф Виссарионович был доволен: его политическая деятельность на Кавказе была теперь подтверждена солидным научнообразным исследованием.

Итак, отношение Сталина к Кирову неуклонно и заметно ухудшалось, а к Лаврентию Павловичу — наоборот. Отразилась на этом и смерть Надежды Сергеевны. Долго и добросовестно поработав по поручению партии на Кавказе, Сергей Миронович одно время пользовался особым расположением Сталина. К тому же был своим человеком в семье Аллилуевых, а затем и в семье Иосифа Виссарионовича и Надежды Сергеевны. Она и Киров в какой-то мере противостояли влиянию Берии. Но вот не стало Надежды Сергеевны, и Киров лишился своего главного союзника в борьбе с беспринципным и коварным противником. Лаврентий Павлович все чаще приезжал из Тбилиси в Москву, подолгу оставался наедине с Иосифом Виссарионовичем, обзавелся в столице постоянной резиденцией.

Летом 1934 года Сергей Миронович отдыхал вместе с Иосифом Виссарионовичем на юге, но, по-моему, этот отдых не принес удовлетворения ни тому, ни другому. А пока два старых товарища, два вожака, пользовавшихся теперь в партии равным авторитетом, прогуливались по зеленым крымским аллеям, Лаврентий Берия, коему надлежало обретаться в Грузии, почти безотлучно находился в столице, иногда ночевал на нашей общей квартире, где по-

прежнему хозяйничал Николай Власик, быстро нашедший общий язык с Берией, относившийся к нему как к непосредственному начальнику. От Власика мне стало известно, что Берия несколько раз выезжал в Ленинград, проводя там два-три дня.

В декабре было совершено преступление, всколыхнувшее всю страну да и весь цивилизованный мир. Некто Николаев на глазах у многих людей подошел к Кирову и выстрелил в него без всяких помех, будто и не существовало никакой охраны. Николаев был задержан и ликвидирован. Были также ликвидированы все свидетели этого события, все те, кто вел следствие или вообще имел хотя бы косвенное отношение к убийству Кирова, что-то видел или слышал, о чем-то мог рассказать. Были решительно обрублены все нити, ведущие к этому делу. Вот и спорят люди до сих пор: кто, почему и для какой надобности направлял руку стрелявшего?

Я предупреждал читателей, что категорически утверждать буду лишь то, что видел собственными глазами, что знаю с достоверностью, в чем убежден. Все остальное — только размышления и предположения.

Да, Сталин считал Кирова очень опасным соперником — это с особой остротой проявилось на XVII съезде партии. Да, Сергей Миронович во многом мешал Иосифу Виссарионовичу. Хотя бы в уничтожении людей, выступавших против Сталина на упомянутом съезде. В дальнейшем он мог сделаться непреодолимым препятствием на пути осуществления тех планов, которые вынашивал Иосиф Виссарионович. Так что со всех этих точек зрения Сталин был заинтересован, чтобы Сергей Миронович отправился в то путешествие, из которого не возвращаются. Но логическая связь между такой заинтересованностью и самим фактом убийства — это еще не доказательство. А настоящие доказательства были уничтожены настолько продуманно и многоступенчато, как не уничтожались никогда раньше.

Другой аспект. Кому желательна, важна, просто необходима была смерть Кирова? Все тому же Берии. Вопрос стоял так: один из них должен уйти. Исчезнуть совсем! Лаврентий Павлович, рвавшийся к власти, знал, что Киров помешает ему занять высокий пост, даже если того пожелает Сталин. Принципиальности Кирову не занимать, а запугать его невозможно. Понимал Берия и то, что в развернувшейся подспудной борьбе симпатии Сталина на его стороне, молчаливая поддержка Лаврентию Павловичу обеспечена, особенно в случае удачных действий.

Еще не выздоровевший, не окрепший душевно после смерти жены, обиженный и озлобленный поведением делегатов XVII съезда, Иосиф Виссарионович, как никогда раньше, старался выявить и сплотить вокруг себя самых надежных людей, на которых можно опереться без колебаний. В армии таковыми были Ворошилов, Буденный, Егоров. В партии — Молотов, Каганович, Жданов, Хрущев, Андреев. В личных делах, где требовалось исключительное доверие, — я. А в карательных органах, которые приобретали все большую важность, преданным испол-

нителем желаний Сталина мог стать Берия, не опасавшийся замазать себя грязью и кровью хотя бы потому, что и без этого весь был изгваздан ими.

Я не убежден, что трагическая развязка конфликта между Кировым и Берией свершилась по инициативе Иосифа Виссарионовича. Кроме всего прочего, Сталин был слишком осмотрителен и осторожен, чтобы сделать такой шаг. Но жизнь, повторяю, сложна, зачастую определяющими в ней являются не яркие краски, а полутона, легкие штрихи. Находясь при Сталине долгие годы, я не помню случая, чтобы он взял на себя инициативу, распорядившись расправиться с кем-то из бывших соратников, товарищей. Он мог выругать, раскритиковать человека, мог заявить, что такой-то «нам больше не нужен». Случалось, что человек после этого исчезал бесследно, а бывало и так, что после всей критики, после резкой брани, работал и жил, словно ничего не произошло. Я не способен был уловить той грани, на которой кончалась у Сталина просто вспышка гнева и за которой вставал безапелляционный приговор. А вот у Берии был особый нюх, он точно улавливал, когда Иосиф Виссарионович мысленно выбрасывает кого-то сразу из всех списков. Лаврентий Павлович в этом не ошибался, — во всяком случае, не ошибался долго, почти до последних месяцев жизни Сталина. Лишь тогда, совершенно озверев и зазнавшись, Берия, как мы увидим, потерял свое пресловутое чутье.

Мы о многом, да практически обо всем, о самом интимном, беседовали, бывало, с Иосифом Виссарионовичем, но никогда не касались в своих разговорах убийства Кирова. Не желал этого Сталин, хотя я видел, что смерть Сергея Мироновича долго мучила его. Но почему? Может, жалел старого товарища, соратника? Или совесть не давала покоя?

Когда пришла весть об убийстве, Иосиф Виссарионович сразу же в специальном поезде, в сопровождении очень сильной охраны, выехал в Ленинград. Я — при нем. В одном купе со следователем Львом Шейниным, который стал в будущем довольно известным писателем. Этаким компанейский, ухватистый, гибкий — способный выявить и доказать все, что от него требовали. Быстро делал карьеру, проворный...

В нашем вагоне находился и Николай Сергеевич Власик, отвечавший за безопасность Сталина. Очень был тогда встревожен главный охранник. Судя по его возбуждению, можно было подумать, что в Питере стреляют подряд во всех руководителей партии.

На вокзале выстроились для встречи местные ответственные работники, весь руководящий состав ленинградского ГПУ во главе со своим начальником Филиппом Медведем. Едва поезд остановился, из вагонов высыпали прибывшие с нами охранники, молча встали справа и слева от каждого из встречающих, за их спинами.

Медленно, очень медленно спустился на перрон Сталин. Лицо злое, окаменевшее. Холод был сильный, но Иосиф Виссарионович, казалось, не чувствовал этого, не натянул даже кожаные перчатки, нес их в правой приподнятой руке.

Сталин делал шаг за шагом, и мертвая давящая

тишина густела вокруг. Напряжение возросло настолько, что у меня даже дыхание перехватило.

Остановившись возле Медведев, Сталин резко хлестнул его перчатками по лицу. Раз и другой.

Два шлепка. Испуганный, приглушенный выкрик. И в это же мгновение охранники обезоружили всех встречающих и, подталкивая, повели куда-то. Все это без голосов, без сопротивления, как в кошмарном сне.

Безусловно, сия акция, сия сцена были продуманы и подготовлены заранее. Пощечины Сталина — не мгновенная вспышка гнева. Он ударил Медведев так, чтобы видели присутствующие, чтобы об этом знали историки. Продемонстрировал свое отношение.

С вокзала поехали в больницу, в прозекторское отделение, где уже произведено было вскрытие Кирова. Увидели собственными глазами, что он мертв. Там же находилась жена Кирова Мария Львовна Маркус со своей сестрой. Сталин выразил им соболезнование. Затем Иосиф Виссарионович довольно долго разговаривал с врачом — хирургом Юлианом Юстиновичем Джанелидзе, который появился возле Сергея Мироновича через несколько минут после покушения и вместе с профессором-хирургом Василием Ивановичем Добротворским составлял акт о смерти Сергея Мироновича. Обычно Сталин никогда не говорил по-грузински в присутствии посторонних, но на этот раз изменил своему правилу, хотя Джанелидзе хорошо знал русский язык. Вероятно, были какие-то важные обстоятельства...

Начальник Ленинградского ГПУ Филипп Медведев не был сразу отстранен от обязанностей, некоторое время он еще оставался на посту вместе со своим помощником И. В. Запорожцем. Этого помощника незадолго до покушения направил в Ленинград лично Ягода. Последний раз я видел Медведев в Смольном, в кабинете Кирова, когда он, Ягода, Молотов, Ворошилов и Жданов, в присутствии Сталина, допрашивали Леонида Васильевича Николаева, который стрелял в спину Сергея Мироновича. Убийца показался мне безвольным жалким человечком, а не твердым решительным террористом, убежденным в своей правоте. Какая там убежденность: Николаев бился в истерике на полу. Она даже не узнал Сталина, не понял, кто перед ним. Кричал что-то несвязное, можно было разобрать только одну повторяющуюся фразу: «Что я наделал! Что я наделал!» Допрос пришлось прекратить. Николаева увели, точнее — вытащили под руки. -

В отличие от Николаева, его жена Мильда Драуле держалась спокойно, ссылаясь на то, что ничего не знает. Говорили мы и с другими свидетелями. Меня интересовали некоторые факты, не получившие впоследствии огласки. Например, когда второй секретарь Ленинградского обкома партии М. С. Чудов по кремлевской «вертушке» связался с ЦК ВКП(б), чтобы сообщить о покушении на Кирова, у телефона оказался почему-то Л. М. Каганович — первый секретарь Московского областного и городского комитета партии. Он спокойно выслушал известие, сказал, что разыщет Сталина, и повесил трубку. А Иосиф Виссарионович позвонил в Ленинград минут через десять.

Еще странность: все товарищи, переносившие Кирова из коридора, с места покушения, в кабинет, единодушно утверждали, что первым на место происшествия прибыл профессор-кардиолог Георгий Федорович Ланг, пытался оказать Кирову помощь. Однако фамилия профессора не была даже упомянута в официальном документе. Так что же, находился он возле Кирова или нет?

Вслед за Николаевым и Драуле комиссия намеревалась допросить Борисова, охранявшего в трагический час Сергея Мироновича, но почему-то отставшего в самый ответственный момент. Члены Политбюро ждали десять, пятнадцать минут — Борисова не было. Иосиф Виссарионович наливался свинцовым спокойствием, не предвещавшим ничего хорошего. Ягода нервничал, суетился, у него подергивалась левая щека: этакий растерянный местечковый провизор.

В комнату вошел, а вернее ворвался Власик с выпученными глазами, с прилипшей к потному лбу челкой. Что-то быстро, горячо шептал на ухо Сталину — Иосиф Виссарионович, обладавший острым слухом, даже отстранился. Затем, подавив своим тяжелым сардоническим взглядом вопрошающие взгляды присутствовавших, произнес:

— И этого сделать не сумели... Свидетель Борисов, которого везли к нам, только что попал в автомобильную катастрофу на углу улицы Воинова. Он почему-то вывалился из машины и почему-то разбился насмерть... Борисов погиб и не сможет дать нам показаний. Товарищ Власик говорит, что обстановка в Ленинграде неблагоприятная во всех отношениях. Опасная обстановка. Местное руководство не может или не хочет принять соответствующие меры,— ударил он взглядом Медведя.— Придется поручить другим товарищам навести здесь порядок.

Вот и все. Члены Политбюро отбыли в Москву: их безопасность в северной столице не была якобы гарантирована. Все сотрудники Ленинградского ГПУ были отстранены от «дела Кирова». Следствие возглавил вызванный из Москвы заместитель начальника ГПУ СССР С. А. Агранов. Ему активно и охотно помогал мой знакомый Лев Шейнин. Совместными усилиями они быстро добились от Николаева «признания» в том, что он являлся участником подпольной антисоветской, троцкистско-зиновьевской группы: эта группа поручила ему убить Кирова в отместку за разгром зиновьевской оппозиции... Считаю нужным отметить, что физические воздействия на арестованных тогда еще не применялись.

Потом были разные другие признания. Мутная, в общем, история. Медведь давал одни показания, Запорожец — другие, Ягода (после ареста) третьи, его личный секретарь П. П. Буланов — четвертые. Темная вода...

Убийство Кирова послужило сигналом к началу «большого террора» 1935—1940 годов. Это общеизвестно. Я же хочу направить луч света на С. А. Агранова. И вот почему. Сам по себе он ничего особенного не представляет, фигура скользкая, ныне почти совсем затерявшаяся в дебрях истории. Но ведь это, повторяю он, начиная с 3 декабря 1934 года, возглав-

лял следствие по убийству Кирова. Как вел, в чьих интересах — это другой вопрос. Факт тот, что Агранов доподлинно знал, как и что произошло, он располагал всеми материалами. Даже спекулировал на этом, набивая себе цену.

Агранов — бывший эсер. С 1915 года — в партии большевиков. С 1919 по 1921 год ни много, ни мало — секретарь Совнаркома. Затем, вплоть до 1937 года, занимал ответственные должности в системе ГПУ — НКВД. Оставаясь в глухой тени, готовил и проводил такие операции, которые не должны были получать никакой огласки. Он знал слишком много и догадывался, что рано или поздно его уберут те, для которых подобные знания опасны. Агранов прятал в тайниках материалы, которые, как он считал, помогли бы ему в нужный момент поторговаться за свою жизнь.

Когда Агранов стал лишним и опасным в сложной игре, его исключили из партии «за систематическое нарушение социалистической законности», — какая великолепная формулировка, не правда ли?! И, естественно, расстреляли.

Тайники Агранова были вскрыты агентами Берии. За исключением одного, самого важного: тайник с документами об убийстве Кирова так и не был обнаружен. Остались только вторичные бумаги. А где основные? Этот вопрос постоянно мучил Лаврентия Павловича, не давал покоя Сталину. Вдруг — всплывет нежелательное?! Этим, частично, и объясняется их постоянное, неослабевающее желание искоренить всех, кто хоть что-то знал о смерти Сергея Мироновича, стремление найти, разыскать исчезнувшие документы. Поторопились они с Аграновым. А бумаги так и не были найдены. Может погибли во время войны, может лежат себе полеживают до сих пор?

4

Из Грузии поступило сообщение о том, что старая мать Иосифа Виссарионовича слабеет с каждым часом и хочет попрощаться с сыном, со всей родней. Сталин виделся с матерью очень редко (переезжать в Москву она отказалась), но относился к ней с глубокой почтительностью — это была последняя ниточка, связывавшая его с детством, с далеким прошлым. Про сапожника Виссариона Джугашвили, погибшего от ножа в пьяной драке, он никогда не вспоминал, по крайней мере вслух, никогда не называл его отцом, хотя вообще-то у грузин очень развита уважительность к старшим, а к старшим родственникам — особенно.

Весть была невеселая, но я обрадовался ей, надеясь использовать как предлог для того, чтобы оторвать Сталина от напряженной работы: ему требовался отдых, требовалась смена обстановки, новые впечатления. Иосиф Виссарионович буквально ходил по краю пропасти, рискуя сорваться в темную пучину полного психического расстройства. Нервное переутомление, несколько сильнейших неприятных потрясений и непрерывный труд доконали его. Днем — оперативные дела, совещания, заседания, встречи, беседы,

а вечером, ночью — обдумывание, писание статей, выступлений. Спал он мало, не соблюдая режима. Ложился то в два, то в три, то в четыре часа, иногда даже в шесть, а в одиннадцать, во всяком случае к полудню, вновь был на ногах. Время от времени появлялся вдруг несвойственный ему алчный аппетит, в такие периоды он много ел. Даже специально сшитый китель не мог скрыть выступавший живот.

Когда-то в детстве, играя со сверстниками, Иосиф сильно разбил руку. Она воспалилась. Местная знахарка долго лечила какими-то мазями. Помогло. Однако рука плохо сгибалась и разгибалась в локте. Когда я познакомился со Сталиным, сие не очень бросалось в глаза. Но со временем рука становилась все менее подвижной, была чуть согнута. Это раздражало его.

Стареть начал Иосиф Виссарионович. Заметно поседели и поредели волосы, углубились морщины, одрябли веки. Слово бы усохли, осели десны. Полуболезненное состояние и сознание постепенного угасания часто в этом возрасте делают людей вспыльчивыми, капризными. У Сталина и раньше проявлялись эти качества, а теперь — возросли. Очень нужно было дать ему разрядку. Он и сам понимал, что это необходимо, и когда появился веский предлог, не стал возражать, принялся собираться в дорогу.

Глубокой ночью к пустынному перрону Курского вокзала подошел короткий спецсостав из вагонов международного класса. Эти деревянные, коричневые с красноватым оттенком вагоны в большом количестве выпускались еще до мировой войны, до четырнадцатого года, и, по-моему, ничего лучшего вагоностроители не достигли до сей поры. У них был мягкий, бесшумный ход. Над ступеньками подножек — аркообразная крыша. Медные, как на кораблях, поручни. Внутри отделаны красным деревом, на полах — ковры. Оборудованы были эти вагоны в соответствии с тем, для чего или для кого предназначались. У Сталина — большой салон для совещаний, кабинет, спальня с туалетной комнатой, в которой можно было принять горячую ванну. А вагон, в котором ехал я, состоял из просторных одно- и двухместных купе. Между каждой парой купе — туалет со всеми удобствами, но без ванны.

Очень хорошо было жить и работать в таких вагонах, особенно, если поездка затягивалась надолго. На любой станции, в любом городе можно было сразу подключиться к телефонной и электросетям, к железнодорожному телеграфу.

Во время Великой Отечественной войны в таких вагонах часто размещались крупные штабы, вплоть до фронтовых. Многие вагоны были брошены при отступлении или разбиты бомбами. Уцелели лишь несколько десятков. Но и после войны эти ветераны долго еще несли свою службу, удивляя выносливостью и радуя комфортом. Во всяком случае, Иосиф Виссарионович начиная с тридцатых годов ездил только в таких вагонах.

Наш спецсостав шел к югу на невысокой скорости, без спешки. Днем остановки были редкими и короткими,

только для смены паровоза. Но с наступлением темноты, особенно после полуночи, поезд задерживался на каждой крупной станции. Иосиф Виссарионович выходил гулять обычно со мной. Разумеется, перрон в такие минуты был совершенно безлюден, даже охранники, оцепившие его, умело маскировались, поэтому прогуливаться было приятно. Мы с Иосифом Виссарионовичем каждый раз вспоминали, как и что было у нас тут во время гражданской войны, особенно когда гнали Деникина. А если Сталину случалось бывать на какой-то станции без меня, он подробно и охотно рассказывал, что делал здесь. Я радовался: поездка, хоть и очень затягивавшаяся, уже приносила пользу его здоровью.

Вообще говоря, Иосиф Виссарионович не очень-то стремился на Кавказ, с большим удовольствием отдыхал в Крыму или в центральной полосе России, на одной из своих дач. Его раздражало навязчивое внимание земляков, помпезность встреч, бурное проявление эмоций. Не любил он пылких речей, шумных застолий, когда все взгляды сосредоточивались на нем. Поэтому если и бывал на Кавказе, то лишь в совершенно изолированных местах, чаще всего на берегу моря. В Тифлис, а уж тем более на родину, в село Диди-Лило и в Гори, его совершенно не тянуло. Но в тот раз мы побывали там.

Захудалый домишко сапожника Джугашвили был заботами Берии окружен роскошным мраморным павильоном, дабы «сохранить первую обитель великого вождя на вечные времена», — как выразился сам Лаврентий Павлович. По этому поводу Сталин ничего не сказал, но молчание его можно было воспринимать как одобрение.

Стараниями все того же предусмотрительного Берии мать Иосифа Виссарионовича занимала в Тбилиси бывший губернаторский дворец с прекрасным большим парком. Собственно, занимала она лишь одну комнату, да еще в нескольких комнатах обосновались ее приживалки, такие же древние старухи, все в черном, словно монахини. Будь они способны играть в прятки, получали бы большое удовольствие от этой игры в пустынном дворце и в парке. Но им, по-моему, было не очень уютно на таком просторе, они постоянно держались тесной кучкой. Мать Иосифа Виссарионовича ничем не выделялась среди них, разве что множеством крупных веснушек, усыпавших все, что только можно усыпать. Особенно заметны они были на лице, не по-южному бледном, лишенном загара. Волосы совершенно седые, только сзади, на шее, сохранили еще рыжеватость: это становилось видно, когда она снимала черный платок.

По-русски старая женщина не говорила и почти ничего не понимала, поэтому, вероятно, Василий и Светлана не пользовались ее вниманием, она смотрела на них равнодушно, а беседовала только с Яковом, который когда-то жил вместе с ней. Ну и особенно, конечно, довольна была сыном Иосифом, уважившим ее своим приездом. Причем мать совершенно не радовалась тому, что он занимает какую-то высокую, не очень понятную ей, должность. Наоборот, была огорчена тем, что Иосиф надолго останется в России,

и повторяла: «Лучше бы ты возвратился домой и нашел себе спокойную уважаемую работу...» Растроганный словами матери, Сталин слушал ее с доброй улыбкой, какой я не видел уже давно. Хотелось надеяться на перемены. Вот приедет он в Москву совершенно здоровым, кончится темная полоса подозрительности, метаний.

Может, сказал кто-то старухе или сама она догадалась, что я особенно близок к Иосифу Виссарионовичу. Тот же Берия мог сообщить. Так или иначе, но мне передали ее желание увидеться и поговорить. Я охотно согласился и пошел за позвавшей меня женщиной, столь же сухой и аскетичной, как и другие дворцовые старухи, но более быстрой, с резкими движениями. Она достаточно хорошо изъяснялась по-русски.

Мать Сталина начала расспрашивать, как живет ее сын, кто о нем заботится, чем и когда кормит, кто стелет постель, стирает белье, ухаживает при болезни. Я объяснил, упомянув при этом Валентину Истомина, появившуюся в квартире Иосифа Виссарионовича вскоре после кончины Надежды Сергеевны.

— Она красивая? — спросила старуха.

— Она очень мила, приятна, обходительна.

— Эта женщина любит Иосифа?

— Не знаю, — пожал я плечами. — Она ведет все хозяйство.

Старуха помолчала, потом произнесла со вздохом:

— Передай ей мою просьбу. Пусть она заботится о моем сыне как мать и жена. Больше некому о нем заботиться. Дети Иосифа живут для себя, а я скоро умру. Скажи ей, что я буду молиться за нее и здесь, и на том свете...

— Хорошо, передам все слово в слово.

— И о тебе тоже буду молиться, — продолжала она. — Вижу, что ты любишь Иосифа, и буду просить Господа нашего, чтобы он дал тебе здоровья и счастья.

Я поклонился ей.

На следующий день, прощаясь с матерью, Сталин пообещал снова приехать при первой возможности. А она в ответ благословила его и сказала:

— Ах, Иосиф, как жаль, что ты не стал священником и живешь так далеко!

Это были последние слова, которые Сталин слышал от матери. В 1936 году она скончалась, прожив ровно восемьдесят лет. Иосиф Виссарионович был весьма огорчен утратой, хотя, конечно, понимал ее неизбежность.

Молитвы старой грузинки, вероятно, дошли до Всевышнего, Валентина Истомина оказалась как раз той женщиной, которую каждая мать хотела бы видеть возле своего сына. Скромная, вроде бы незаметная, но полная энергии, считавшаяся эконожкой, она взяла на себя все заботы о быте Иосифа Виссарионовича, и заботы эти были ей не в тягость, а в радость. Одежда, еда, лекарство — да мало ли еще что нужно стареющему человеку. Валентина любила его, почти двадцать лет оставалась при нем, и этим сказано все. Сталин нашел в ней как раз ту доброту и то понимание, которого так не хватало ему в других женщинах. В том числе и в тех, которые появлялись уже при Вален-

тине. Вероятно, остается лишь сожалеть, что подобная встреча не произошла раньше.

К чести Валентины Истоминой, она никогда не пользовалась тем особым положением, которое занимала, вела образ жизни тихий и скрытный. У нее не было врагов и завистников, всем приятна была ее улыбка, и те, кто хорошо был знаком с ней, ласково и уважительно называли ее Валечкой.

И еще — о матери. Вскоре после того, как почтенной старой женщины не стало, распространился слух: перед самой смертью она якобы сказала, кто настоящий отец Иосифа. Подчеркиваю слово «якобы», мне ведь не довелось самому беседовать с кем-либо, кто слышал это непосредственно из ее уст. В те годы опасались говорить о родословной Иосифа Виссарионовича, и все же новость разошлась довольно широко, особенно на Кавказе. Поскольку в начале повествования упоминалось, что отцом Иосифа Виссарионовича одни считали местного князя, другие — путешественника Пржевальского, объективность заставляет меня упомянуть и вновь появившуюся версию, тем более что многие горийцы, например, до сих пор убеждены в ее достоверности.

Ну вот: названа была фамилия богатого торговца Эгнатошвили, который, дескать, и позаботился о том, чтобы Иосифа приняли в духовное училище, а затем в духовную семинарию. Надо сказать, что у Эгнатошвили имелось два законных сына, к которым, кстати, Сталин относился весьма благожелательно. Василий Эгнатошвили занимал пост секретаря Президиума Верховного Совета Грузинской ССР, а другой брат (имя запомнил) заслужил звание генерала, я несколько раз встречал его в Кремле.

Сразу встает вопрос: было ли общее в облике братьев Эгнатошвили и Иосифа Виссарионовича? Если и да, то не бросалось в глаза. При большом-то желании между грузинами всегда можно обнаружить какое-то сходство. Но уж если говорить о сходстве, то, с моей точки зрения, Иосиф Виссарионович фигурой, осанкой и даже некоторыми чертами лица больше все же напоминал знаменитого путешественника. А сам Сталин, повторяю, никогда и ничего не говорил о своем отце.

5

После Отечественной войны, особенно после неблагоприятных событий в Китае, у нас все реже стали говорить о собственной культурной революции тридцатых годов. И это правильно, так как подобное выражение, прикрывавшее действия, далекие от всякой культуры, звучало иногда просто издевкой. Возможно, кому-то сие и нравилось, возможно, мое мнение покажется спорным, однако самый верный способ познать истину — это выяснить все точки зрения.

Если же всерьез говорить о преобразованиях в области культуры, то начались они вместе с преобразованиями октябрьскими и наиболее заметны, наиболее ощутимы были в первые годы, в первое десятилетие советской власти. Перед всеми трудящимися распахнулись двери музеев, театров, концертных залов,

не говоря уже о клубах, избах-читальнях. Великие произведения искусства разных видов и жанров стали доступны всем: смотри, читай, любуйся, впитывай! И школа для всех — только учись! Для рабочих — рабфаки, особые привилегии при поступлении в учебные заведения, их брали в любые техникумы и вузы, закрыв доступ детям «лишенцев» и разных там «бывших». Под руководством Михаила Ивановича Калинина старая русская интеллигенция (хоть и подвергавшаяся гонению в то время), российские учителя совершили буквально подвиг — за несколько лет полностью ликвидировали безграмотность в стране, приобщили к интеллектуальной жизни многие миллионы рабочих, особенно крестьян. И это все, и многое другое, прошу заметить, произошло в двадцатые годы. Так что говорить о какой-то особой культурной революции тридцатых годов было бы просто смешно, однако людям, пережившим ту трудную пору, совсем не до смеха.

Для Иосифа Виссарионовича, в совершенстве овладевшего умением маскировать правильными, привлекательными фразами свои решения и действия, термин «культурная революция» имел двойной и тройной смысл. Первый, общедоступный для широких масс: создание новой по содержанию социалистической культуры, которая будет служить делу партии, приобщение к этой культуре рабочих и крестьян. А из наследства прошлых поколений взять то, что полезно для нас. Вся эта работа, начатая Октябрем, продолжалась, шла своим чередом. Однако любая революция, в том числе и культурная, не только создает и утверждает, но прежде всего отрицает, низвергает, отбрасывает. Как раз эта сторона вопроса была особенно важна Иосифу Виссарионовичу. Он говорил мне про два зуба, которые будут постоянно болеть и мешать, если их не вырвать самым решительным образом. Это, разумеется, образное сравнение, но Сталин действительно усматривал две обширные группы, вернее, две составные части нашего общества, которые требовалось «выключить из игры».

Первая группа — руководящие работники, главным образом те, кто давно в партии, давно занимаются партийной или государственной деятельностью, кто работал с Лениным, привык к ленинскому стилю и принципиальности, кто знал истинные возможности Сталина, а не только стороны, которые демонстрировал народу и партии сам Иосиф Виссарионович. Эти люди понимали его просчеты, были способны на резкую критику — они были опасны. Многие из них (вместе с сотрудниками, сторонниками, родственниками) уже числились в особых списках.

Другая нежелательная Сталину группа была более обширной, расплывчатой, разнообразной. Это — и служащие, и врачи, и инженеры, и военные деятели, и ученые, и педагоги — представители интеллигенции, сохранившие вольнолюбивые традиции, зародившиеся еще у декабристов, в среде разночинцев, весьма окрепшие к концу девятнадцатого — началу двадцатого века. Дух бунтарства, если хотите, внедренный постепенно интеллигенцией в народные массы, и привел оные массы к революции. Эти люди не могли

принимать идеи на веру, слепо выполнять указания и директивы, они привыкли думать, сравнивать, высказывать свои соображения. Такую свободомыслящую прослойку нельзя было оглушить громом речей, ослепить яркими лозунгами, увлечь лубочными картинками прекрасного будущего. Они сомневались сами и высказывали сомнения других. Подчинить, подкупить таких трудно, практически невозможно. Лучше — убрать. И не частями, а по возможности сразу в большом количестве. Заменить их надежными людьми, самыми простыми, элементарными, черепные коробки которых наполнены не знаниями вообще, а только тем, что необходимо знать исполнителям. Такой человек, поднятый из низов, будет счастлив оттого, что сидит в президиумах, что хоть и по складам, но все же читает с трибуны речь, подготовленную для него. Получив некоторые материальные блага, он будет дорожить ими, своим положением, с трепетной благодарностью станет взирать на тех, кто выделил его из общей массы.

Иосифу Виссарионовичу требовались не мыслители, а надежные помощники, проводники его идей, его воли. Но очистить место для них желательно было без борьбы на баррикадах, без винтовочных залпов, без крови на улицах. Произвести такую замену, такую революцию надо было расчетливо, твердо, но не поднимая шума. То есть «культурно».

XVII съезд убедил Иосифа Виссарионовича, что откладывать задуманную акцию больше нельзя. Или он добьется своего, прочно укрепит на вершине власти, или его сомнут, скинут, и тогда придется отвечать за все допущенные ошибки. До сих пор он удачно перекладывал собственные грехи на других и ни в коем случае не желал принять на себя неблагодарную роль козла отпущения. Добиться успеха любой ценой — такую задачу он поставил перед собой. И при этом верил, что именно его единовластное руководство принесет наибольшую пользу стране.

Предлогом для официального начала массовых репрессий послужило убийство Сергея Мироновича Кирова. Значит, враги подняли голову, сделали нам вызов. Мы вынуждены принять его и открываем встречный огонь по нашему противнику.

В партии началась кампания по проверке, по упорядочению хранения документов, а по существу — элементарная чистка. Ну, а когда лес рубят — щепки летят! Тут уж, мол, ничего не поделаешь. При этом в хаосе летящих щепок несведущему человеку трудно было даже уяснить, какие деревья рубят. Изолировали одного высокого руководителя — с ним связан десяток подчиненных. Брали этот десяток — за каждым тянулась ниточка еще к дюжине. Покатившийся ком стремительно нарастал.

С горечью, с сердечной болью воспринимал я гибель знакомых товарищей, не всегда веря, что они действительно стали «врагами народа». Но как было разобраться в событиях?!

Трудно вообще осуждать человека, к которому дружески расположен, который делал для тебя что-то хорошее. А ведь я к тому же знал, что Иосиф Виссарионович ведет давний принципиальный бой с троцкистами-сионистами, настолько ожесточенный,

что перемирия быть не может. И еще одно обстоятельство смущало меня. Ведь не Иосиф Виссарионович начал практику судебного преследования политических противников, и даже не противников, а тех, кто не соглашался с проводимой в каком-то конкретном случае линией партии. Не Сталин сформулировал термин «враги народа». Появился этот термин давно, в конце восемнадцатого века, во времена Великой французской революции. Еще тогда якобинцы объявили врагами народа тех, кто «способствует замыслам объединенных тиранов, направленным против республики». Вот кому принадлежит пальма первенства.

В Советской стране этот термин впервые прозвучал 28 ноября 1917 года, когда на заседании Совета Народных Комиссаров Владимир Ильич Ленин внес предложение об аресте (как записано в протоколе) «виднейших членов ЦК партии врагов народа и передачи их суду революционного трибунала». Необходимо только уточнить: речь шла не о большевиках, а об аресте членов ЦК партии кадетов, которые организовали в тот день контрреволюционную демонстрацию. А за демонстрацию — к ответу. Это предложение было принято единодушно, за него голосовали Менжинский и Красиков, Бонч-Бруевич и Троцкий. Против ареста и отправки в трибунал голосовал только Иосиф Виссарионович Сталин — посчитал несправедливым. Оказавшись в одиночестве, он затем, чтобы не разрушать единства, наряду с другими поставил свою подпись под декретом, который был написан Лениным. Мало кто знал об этом случае, но я-то знал и помнил.

Один факт, один случай — это еще не показатель. Но вот — Кронштадтский мятеж 1921 года. Когда на Политбюро обсуждался вопрос, что делать с восставшей крепостью, Сталин выступил против штурма, против кровопролития. Нужна, дескать, выдержка. Если мятежников не трогать, они сами сдадутся через две-три недели. Совсем иную позицию занял Троцкий. Упрекнув Сталина в мягкотелости, он потребовал выжечь каленым железом (одно из любимых его выражений!) очаг контрреволюции. И по собственной инициативе принял на себя полную политическую ответственность за сей акт.

Мятеж был подавлен с таким варварством, что даже многие сторонники отшатнулись от Льва Давидовича. По распоряжению Троцкого была учинена форменная резня. Кровь текла по улицам Кронштадта, смешиваясь с весенними ручьями. Были уничтожены не только восставшие моряки, но и многие женщины, проживавшие в крепости (семьи бывших офицеров, чиновников, сверхсрочников). Истреблено почти все население. Это была дикая, свирепая вакханалия, которой нет никаких оправданий.

Не с лучшей стороны проявил себя и Тухачевский, руководивший штурмом крепости. Когда ему впоследствии напоминали о кронштадтской резне, отделялся короткой фразой: «Я выполнял приказ». Правильно, выполнял распоряжения Троцкого. Но разве не мог Тухачевский запретить расстрел пленных, разве не в его силах было приостановить грабежи, насилия, уничтожение мирных жителей?! Одного слова было достаточно,

чтобы пресечь вакханалию. Ведь в штурме крепости, наряду с другими войсками, участвовала 27-я стрелковая дивизия, с которой он проделал боевой путь от Урала до Омска, разгромив Колчака: бойцы этой дивизии были преданы Тухачевскому, это была чуть ли не его личная гвардия. Однако Михаил Николаевич своего веского слова не произнес. Почему? Считал, что Троцкий «проводит в жизнь» решение Политбюро? Или опасался, что его, как и Сталина, обвинят в мягкотелости?

До самой своей смерти отражал потом Лев Давидович упреки в жестокости, в иезуитской аморальности. По поводу кронштадтских событий он писал: «Я готов признать, что гражданская война — отнюдь не школа гуманизма. Идеалисты и пацифисты вечно обвиняют революцию в «крайностях». Но суть вопроса в том, что «крайности» проистекают из самой природы революции, которая и есть «крайность» истории. Пусть те, кто хотят, отвергают (в своих журналистских статейках) революцию по этой причине. Я же ее не отвергаю».

Сталин, разумеется, хорошо знал как деяния, так и теоретические изыскания Троцкого. И учился кое-чему у заклятого врага, пополняя свой арсенал.

И вот — тридцатые годы. Чистки. Из рядов ВКП(б) выбрасывали даже с такой расплывчатой формулировкой, как «за неактивность». Подобный ярлык можно было навесить кому угодно. Больше всего я переживал за тех товарищей, которых выгоняли, учитывая их происхождение. Ну разве виноват человек, что родился в дворянской семье, или в том, что его отец был купцом, профессором, фабрикантом?! Да ведь такого человека вдвойне, втройне надо было ценить! Он отказался от сословных благ ради общих целей, он порвал со своим кругом, осознал важность идеи и пошел бескорыстно служить ей во имя освобождения угнетенных. Большинство таких товарищей начали работать в партии еще до революции, не испугавшись тюрем, ссылок. А те, кто вступил в партию, когда белогвардейцы приближались к Москве, когда Советская власть держалась на волоске?! Партийный билет тогда можно было приравнять к мандату, дававшему право на самые страшные муки в деникинских застенках, на право быть повешенным в числе первых! Около двухсот тысяч человек записались тогда в партию и пошли на фронт. А теперь многих из них исключали. И кто? Да те самые, за освобождение которых сражалось старшее поколение большевиков. У этих «новых», возглавивших чистки, было одно преимущество — пролетарское происхождение. Следовательно, предполагалось и особое чутье, помогавшее им враз распознавать «гнилую сущность» тех, кто чем-то отличался от них.

Уверен, что люди, ставшие коммунистами по убеждению, более надежны, более непоколебимы, чем те, чье сознание определяется главным образом бытием. Такие готовы не отдавать, а приобретать. Они пойдут туда, где им выгодней.

Репрессии в партии захватывали все новые и новые круги. В газетах появлялись подробные отчеты о судах над врагами народа. Особенно запомнился мне процесс над большой группой подпольных контрреволюционеров, в которую входили такие известные в пар-

тии деятели, как Зиновьев, Каменев, Евдокимов и десятки других весьма высокого уровня. Процесс этот был наиболее шумным (тогда многих судили открыто, освещая в печати), был рассчитан на то, чтобы показать публике: все, кто причастны к убийству Кирова, караются с беспощадной суровостью.

В обвинительном заключении говорилось: такие-то и такие-то, все бывшие члены ВКП(б), обвиняются «в том, что большинство из них являлись участниками подпольной контрреволюционной группы — «московского центра», а другая часть принимала активное участие в деятельности подпольных контрреволюционных групп в Москве и Ленинграде, что имело своим последствием убийство 1 декабря 1934 года члена Президиума ЦИК СССР, члена Политбюро ЦК ВКП(б) и секретаря ЦК и ЛК ВКП(б) тов. С. М. Кирова,— то есть в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 17, 58—8 и 58—11 УК РСФСР.

Вследствие изложенного и в соответствии с постановлениями Центрального Исполнительного Комитета СССР от 10 июля и 1 декабря 1934 года, вышеназванные лица подлежат суду Военной коллегии Верховного Суда Союза ССР».

Подписали обвинительное заключение заместитель прокурора Союза ССР А. Вышинский и следователь по важнейшим делам при прокуратуре Союза ССР Л. Шейнин, начавшие тогда делать свою карьеру. Утвердил заключение Прокурор Союза ССР И. Акулов.

С Военной коллегией, как известно, шутки плохи, там суд твердый и быстрый. Настораживало то, что постановления ЦИК, согласно которым обвиняемые передавались в руки военных, были словно специально приняты перед смертью Кирова и даже прямо в день его гибели. Экое, понимаете ли, совпадение.

Более того, обвинялись-то арестованные не в чем-нибудь, а в тягчайшем преступлении, в политическом убийстве. Поэтому и подлежали суду Военной коллегии. Но в том же самом заключении, несколькими абзацами выше, говорилось буквально следующее:

«Следствием не установлено фактов, которые дали бы основание предъявить членам «московского центра» прямое обвинение в том, что они дали согласие или давали какие-либо указания по организации совершения террористического акта, направленного против т. Кирова. Но вся обстановка и весь характер деятельности подпольного контрреволюционного «московского центра» доказывают, что они знали о террористических настроениях членов этой группы и разжигали эти настроения».

Нет, не сходились тут концы с концами. За что же все-таки судить эту группу, если не установлено фактов, которые дали бы основание предъявить прямое обвинение? Убийство или разжигание настроений — огромная разница! Вообще эмоций в заключении было много, но факты почти отсутствовали: состряпано кое-как, на скорую руку. В спешке, при всеобщем ажиотаже это могло сойти, но для людей думающих подобное обвинение не было убедительным. Я обратил на это внимание Иосифа Виссарионовича.

— Они враги,— сказал Сталин.

— Чьи враги?

— Нашей партии. Они выступали против линии, проводимой ЦК.

— Вели борьбу внутри партии?

— Вот именно. И очень давно.

— Значит, и решать их участь нужно партийным, а не государственным судом. Они же не выступали против советского строя, против государства?

— Их обвиняют в убийстве.

— Иосиф Виссарионович, я хорошо знаю подлинное лицо Зиновьева и Рыкова, я хорошо знаю, что они вели борьбу против вас, против ЦК за власть в партии. Не собираюсь оправдывать их. Но то обвинение, которое им предъявлено, не выдерживает серьезной критики. Оно заставит сомневаться сейчас всех разумных людей, историков в будущем. Зачем это?

— Они враги,— упрямо повторил Сталин, и по его тону я понял: это единственное, что имеет значение в данный момент, и что участь группы бесповоротно предрешена еще до суда. А Иосиф Виссарионович, подумав, добавил: — За совет спасибо. Я велю составителям, чтобы впредь обвиняли весомо и убедительно.

— Да уж, не сочтите за труд распорядиться,— как тут было не обойтись без черной иронии! — Они выполняют! Бесхребетные чиновники любую бумагу составят, любой приговор подпишут. Сегодня — одним, завтра — другим, а послезавтра — нам с вами. Им все равно. У кого нет принципов, тому нельзя доверять.

— Это не новость,— усмехнулся Сталин.— Успокойтесь тем, что большинство людей всегда служат сильным. Причем делают это охотно, потому что подчинение чьему-то известному авторитету снимает ответственность с их собственной совести. Так что давайте сохраним нашу силу и станем еще сильнее...

Всего-то и пользы от разговора: очередные выводы на будущее, очередной лозунг — это теперь все больше нравилось Иосифу Виссарионовичу. Но я старался добиться другого. Я упрекал Сталина в субъективности, в поспешности, в нежелании побороть некоторые стороны своего характера, такие, как нетерпимость к чужому мнению, злопамятство. Он, возражая, ссылаясь на высшие интересы — советского народа и мирового пролетариата. Партия, дескать, укрепляется тем, что очищается от всякой скверны. И государство тоже. А я пытался напомнить о порядочности, о том, что любое сокрытие или сознательное искажение истины развращает толпу, ведет к упадку нравов, к деградации общества.

Отличительная черта демократии, между прочим, состоит в том, что она учитывает и осуществляет желания и стремления не одного какого-то слоя, а всех слоев населения. Демократия в спорах, в референдумах выясняет, что необходимо для всех, и на этой основе вырабатывает общую программу действий. В нашей же стране такой политической школы не было, мы не научились терпению, уважению чужих интересов. Слабое, колеблющееся Временное правительство не в счет. А наша революция перешагнула буржуазный парламентаризм, разом отринув все его атрибуты. Но, может, демократизма нам как раз и не хватало в сталинские времена?!

В этой главе было уже несколько цитат. Позволю себе привести еще три.

«Нынешняя великая пролетарская культурная революция является совершенно необходимой и весьма своевременной в деле укрепления диктатуры пролетариата, предотвращения реставрации капитализма и строительства социализма».

И другая выдержка:

«Надо ниспровергнуть горстку самых крупных лиц в партии, стоящих у власти и идущих по капиталистическому пути... Некоторые из этих людей пролезли в партию, захватили руководящие посты. Они поддерживают и защищают всякого рода нечисть. Все они карьеристы, лжеблагородные люди, представляющие класс эксплуататоров».

И последняя:

«Сейчас наша задача состоит в том, чтобы во всей партии и во всей стране в основном (полностью невозможно) свалить правых, а пройдет семь-восемь лет — и снова поднимем движение по выметанию нечисти: впоследствии еще надо будет много раз ее вычищать».

Думаете, это слова Сталина? Да, они вполне могли бы принадлежать ему, но написал их в 1966—1967 годах не кто иной, как Мао Цзедун. Одни и те же термины, одинаковая интонация, единая суть. Подобные высказывания китайского вождя заставили меня еще раз подумать, что же все-таки перевешивает: объективная закономерность развития или особенности характера того или иного руководителя? Ну возьмем, например, наш XVII съезд и аналогичный ему, самый представительный, самый торжественный 8-й съезд Китайской компартии. Этот китайский форум объявил о строительстве социализма в стране, подвел итоги побед и свершений. Как и у нас, почти один и тот же сценарий. Но на этом форуме мало почтительности было проявлено к Мао, и он сразу начал преследование, искоренение делегатов, ликвидацию всего, что связано с этим съездом. Как и Сталин, он принялся укреплять свою личную власть. Три четверти делегатов были убиты или оказались в тюрьме. Развернулась «культурная революция» с массовым избиением старых кадров, с выдвижением на первый план молодых, необразованных, послушных хунвейбинов.

Не является ли подобный процесс обязательным для любой крупной, самостоятельной страны, в которой на определенном этапе революционного развития диктатура класса перерастает в диктатуру партии, а затем — в диктатуру вождя, в культ сильной личности? Поразмыслить бы над этим теоретикам. В Китае, где все делалось по восточному образцу, более жестоко и откровенно, суть так называемой «культурной революции» проявилась обнаженнее и непригляднее.

Так что же все-таки такое «культ личности»? Случайность или закономерность определенного этапа развития в определенных условиях?

6

Среди партийных руководителей, близких к Сталину, одним из самых порядочных, одним из наиболее благородных (не только по дворянскому происхождению,

но и по натуре своей) был, без сомнения, Григорий Константинович Орджоникидзе. Внешне похожий на Сталина (такой же нос, такие же усы, даже манера разговаривать), он отличался тем, чего так не хватало Иосифу Виссарионовичу: был доброжелателен, вежлив, умел не одергивать собеседников, а убеждать их, без всякой обиды, вескими доводами. Энергии, организаторского таланта — в достатке. Он был человеком конкретных дел, далеким от болтовни, от закулисных интриг. Наше машиностроение, наша тяжелая индустрия развивались стремительными темпами — и в этом немалая заслуга Григория Константиновича. Новые электростанции, новые заводы и шахты — всюду вносил он лепту. Его деяния по заслугам оценивал Иосиф Виссарионович.

Вспоминаю светлый летний день на Дальней даче, негромкий, успокаивающий шум ветерка в шатрах высоких сосен. Заехали мы за детьми Сталина, потом гурьбой отправились в гости к Микояну, в его замок, окруженный зубчатой краснокирпичной стеной. На поляне возле речки Медвенки по мановению ока раскинулась скатерть-самобранка с коньяком, винами, фруктами, восточными сладостями. Здесь были только свои, близкие. Иосиф Виссарионович возлежал на циновке, с удовольствием потягивая любимый мускат «Красный камень», доставленный из Массандры.

Дети шалили, играли в лесу, плескались в мелководной речушке. Воспользовавшись тем, что мы остались втроем, Орджоникидзе произнес негромко и вроде бы полушутя:

— Знаешь, Сосо, сегодня в «Правде» двенадцать раз упомянуто твое имя.

— Вот как? — насмешливо прищурился Иосиф Виссарионович. — Может, ты скажешь, сколько раз было вчера?

— И это скажу. Вчера было девять, и ни разу не упоминалось слово «партия».

— Разве это так важно, Серго?

— Излишества никогда и ни в чем не приносят пользы. Это похоже на слишком громкий крик о самом себе.

— Это не крик, Серго, — деловито и спокойно, как о давно обдуманном, сказал Сталин, доставая из коробки папиросу. — Это такой тон, к которому следует привыкнуть самим и приучить других.

— Разве необходимо? — Разговор шел доверительно, самым интимным образом.

— Да, страна огромна, в ней десятки разных языков, сотни разных обычаев, несколько вероисповеданий.

— Мы создаем единую социалистическую культуру...

— Совершенно верно, Серго. У нас есть замечательные ученые, у нас есть большие писатели, есть хорошие инженеры и музыканты, но огромная масса людей находится еще на очень низком уровне развития. Это и русское и грузинское крестьянство, это кочевой казах, и узбек в пустыне, и оленевод-якут. Совсем по-разному живут и думают эти люди. Подавляющее большинство их совершенно не понимает оттенков и тонкостей нашей борьбы. И не обязательно понимать. Но как объединить их? — Сталин словно бы

начертал в воздухе знак вопроса резким движением правой руки.— Нужны простые идеалы, простые слова, доступные для всех. Нужна не Советская власть вообще, не партия вообще с ее органами и организациями, нужен конкретный человек, который воплощал бы высшую власть, к которому можно обращаться, называть по имени, слова которого звучали бы как закон. В любой пирамиде нужна завершающая фигура.

— Царь? Самодержец? — спросил Орджоникидзе, обескураженный рассуждениями Иосифа Виссарионовича.

— Народ столетиями привык выполнять волю властелина, и отвыкнуть от этого сразу невозможно,— продолжал Сталин развивать свою мысль.— Тем более сейчас, когда в стране много хаоса, много безответственных болтунов, когда нам угрожают враги извне и внутри: сейчас люди тем более жаждут твердой опоры, людям требуется власть, воплощенная в одном лице. И это не самодержавие, товарищ Орджоникидзе,— повысил голос Иосиф Виссарионович,— это необходимая мера, чтобы навести в партии и в стране строгий порядок. Хватит политического фразерства. Пора выбросить весь балласт и сосредоточить усилия на развитии нашей экономики, нашей армии.

— В твоих словах много правды,— сказал Григорий Константинович.— Но руководство партии нельзя подменить одним человеком, он не может объять необъятное. Даже такой человек, как ты.

— Речь идет о конкретной фигуре, которая видна всем и отовсюду.

— Я понимаю, но и ты пойми: сразу найдутся приспособленцы и подхалимы, которые будут служить не идее, не партии, а только этой фигуре. Подхалим ничего не хочет делать, подхалим не желает трудиться, но он громче всех кричит: «Да здравствует товарищ Сталин!» И этим он обеспечит себе карьеру.

— Преувеличиваешь, товарищ Орджоникидзе. Бездельников и приспособленцев мы выведем на чистую воду. Не с такими справлялись,— усмехнулся Иосиф Виссарионович, наливая себе вина.

Подобные малоприятные разговоры, я бы даже сказал — словесные стычки, вспыхивали между Сталиным и Орджоникидзе все чаще, они были следствием расхождения во взглядах по многим вопросам. И взаимное охлаждение этих друзей шло на пользу прежде всего Берии: он коварно, исподволь раздувал их взаимную неприязнь.

После смерти Кирова Орджоникидзе был последним барьером на пути Берии, последней стеной, отделявшей Лаврентия Павловича от Сталина, от большой власти в Москве. Формально Берия все еще считался секретарем Компартии Грузии, но это была лишь вывеска для непосвященных. Почти все время Берия находился теперь возле Сталина, не жалея медовых слов для восхваления «самого величайшего из грузин», внушая ему самоуверенность, в которой Иосиф Виссарионович так нуждался в часы депрессий, вдалбливая мысль о том, что гению, ведущему народ к счастью, дозволены в борьбе все средства и методы.

Лаврентий Павлович вошел в такое доверие, что фактически ведал всей охраной Сталина и Кремля.

А главное — негласно контролировал весь карательный аппарат, все репрессивные органы государства. Ягода, а затем Ежов, непосредственно возглавлявшие репрессии, были лишь высокопоставленными марионетками, приспособленными загребать жар. При этом Сталин, не желая пачкать кровью и грязью себя, стоял словно бы в стороне от событий, лишь подсказывая через Берию, что и когда требуется предпринять. В любой момент, в случае крайней необходимости, Иосиф Виссарионович мог прибегнуть к своему испытанному способу: возложить всю ответственность на неразумных деятелей, на перегибщиков. А те из деятелей, которые знали слишком много, постепенно убирались со сцены. В свой срок полетел в ад Ягода. Предусмотрительные черти готовили там местечко и для наркома Ежова, не сомневаясь, что и он будет вскоре отправлен к ним коротать время, оставшееся до Великого Суда.

Берия очень нужен был Сталину, без его молчаливого понимания и быстрой, беспощадной исполнительности Иосиф Виссарионович остался бы как без рук. Сталин желал вообще держать Берию всегда при себе, но для этого требовалось отсечь, забыть сомнительное прошлое фаворита. Кое-кого по собственному выбору Берия убрал сам, но как поступить с Орджоникидзе, которому были известны все темные места биографии Лаврентия Павловича? Возникла мысль поменять их местами, дать Орджоникидзе руководство Компартией Грузии, а Берию перевести в Москву. Но Лаврентий Павлович не хотел этого, от подобной перестановки он ничего не выигрывал. Где бы ни находился Орджоникидзе, опасность разоблачения не уменьшалась. Поэтому и доказал Берия Иосифу Виссарионовичу, что Григорий Константинович не имеет права стоять во главе грузинской или какой-нибудь другой коммунистической партии. Почему? Да потому, что это партия пролетариата, рабочих и крестьян, которая борется против всех эксплуататоров, в том числе против помещичьей знати. А Орджоникидзе — бывший дворянин, одним своим присутствием он подрывает доверие к руководству пролетарской партии. Неужели нет других достойных людей из рабочих и крестьян, из трудовой интеллигенции?

Довод был хоть и формальный, но логически правильный, вполне классовый, и Сталин принял его к сведению. Да и самостоятельность, принципиальность Григория Константиновича все больше раздражала Иосифа Виссарионовича. Теперь Орджоникидзе представлялся ему не столько надежным помощником, сколько помехой на пути к желанным целям.

Взрыв назревал исподволь. Я обратил внимание на некоторые малозаметные, но характерные детали. Когда отмечался Женский день, члены Политбюро собрались вместе с женами. То ли в Большом театре, где давали новую грузинскую оперу, привезенную из Тбилиси, то ли где-то на торжественном заседании. Не в этом суть. Они сидели на почетных местах вот в каком порядке: Орджоникидзе, затем его располневшая, раздобревшая Зинаида Гавриловна, потом Сталин, далее жена Андреева Дора Моисеевна и другие. Так вот, Иосиф Виссарионович придвинул свой стул ближе к

Доре Моисеевне: между Сталиным и четой Орджоникидзе образовался заметный промежуток. Несколько раз Иосиф Виссарионович заговаривал с Андреевой, улыбался, но ни одного взгляда не бросил в сторону Орджоникидзе. Слово их и не было.

Григорий Константинович намеревался выйти из партии, которая, по его словам, перестала быть ленинской, большевистской. Подобный демарш нанес бы тяжелый удар по престижу Сталина. Не знаю, какой выход из создавшейся ситуации нашел в конечном счете Иосиф Виссарионович, какое решение предложил он Григорию Константиновичу. Известна лишь развязка. В один отнюдь не прекрасный день — 18 февраля 1937 года — они очень долго беседовали с глазу на глаз на квартире Сталина. Всегда бодрый, жизнерадостный Орджоникидзе на этот раз возвратился домой, как говорят, «не в себе». Был мрачен, удручен. Закрылся в кабинете и писал что-то. Потом позвал своего помощника Александра Петровича Головкина, передал ему два пакета. Один — в Наркомтяжпром. На другом, красном, пакете было написано: «Иосифу Джугашвили от Орджоникидзе». Попросил отправить немедленно. А вскоре после того, как Головкин вышел из кабинета, грянул выстрел. Зинаида Гавриловна бросилась туда, закричала: «Серго убили!». Набрала номер сталинского телефона: «Серго убит!»

Нет, убийство исключается. Никого из посторонних ни в доме, а тем более в кабинете не было. Благородный человек сам ушел из жизни, не изменив своим идеалам, принципам. Понял, вероятно, что не способен влиять на развитие событий, все больше отклонявшихся от ленинской линии.

Первым на квартиру Орджоникидзе прибыл Иосиф Виссарионович. Пытливо всмотрелся в лицо встретившего его Головкина. Сказал:

— Не выдержало сердце?

— Да, — поколебавшись, ответил Головкин. — Разрыв сердца.

— Вы умный человек, — произнес Сталин. — Вам нужно занимать высокий пост. Я думаю — в органах НКВД.

И прошел в кабинет к мертвому.

На следующий день в «Правде» появилось сообщение, набранное крупным шрифтом: **«Товарищ Орджоникидзе Г. К. страдал атеросклерозом с тяжелыми склеротическими изменениями сердечной мышцы и сосудов сердца, а также хроническим поражением правой почки, единственной, после удаления в 1929 году...»** Ну, и так далее. За подписью наркома здравоохранения и медицинских светил.

7

Теперь в стране оставался лишь один общественный деятель, с чьей независимостью, с чьим международным авторитетом Иосиф Виссарионович вынужден был считаться. От этого совершенно самостоятельного человека в любое время можно было ожидать бесконтрольных выступлений, критики, разоблачений. Закрывать ему рот не имелось возможности, и Сталин, по-

баиваясь его, старался расположить к себе, привлечь на свою сторону. Речь идет об Алексее Максимовиче Горьком. Прославленный пролетарский писатель после многолетних зарубежных странствий вернулся с благословенных курортов Италии к нам в бурлящую, много перестрадавшую Россию и поселился с семьей своего сына Пешкова в Москве у Никитских ворот в роскошном особняке, который принадлежал до революции миллионеру С. П. Рябушинскому.

Надобно отметить, что Иосиф Виссарионович, уроженец второй половины романтического для нашей страны XIX века, принадлежал к той плеяде образованных людей, которые сохранили глубокое, трепетное уважение к писателям, к их необычному труду, сливающему воедино прошедшее, настоящее и будущее.

Как быть с Максимом Горьким, который находился в зените мировой славы?! Скажет слово — и раскатится оно по всей стране и по всей земле. Не получилось бы, как при Романовых было некоторое время: два царя в России, один в Петербурге, другой — в Ясной Поляне, и не понять, кто авторитетней для мировой общественности. Горький-то, к примеру, совсем не зависел от Сталина и был вроде бы неуязвим: самим фактом присутствия, существования держал в постоянном напряжении Иосифа Виссарионовича, заставляя опасаться огласки, тщательно скрывать некоторые решения и дела, даже откладывать их. При нем «культурная революция» не могла бы получить желаемого размаха.

Повторяю еще раз: Алексей Максимович был для Сталина не только и не столько талантливым писателем, но прежде всего влиятельнейшей политической фигурой мирового масштаба.

Убрать Горького? Слишком рискованно. Малейшая неудача, малейший срыв — и разразится невероятный скандал. Лучше без крайностей. Надо попытаться «приручить» Горького, используя его разрекламированную приверженность к пролетариату, его заступничество за всех сирых и немощных.

Вскоре после того как Горький вернулся в Союз и принялся разбираться, что здесь хорошо, а что плохо, Иосиф Виссарионович пригласил писателя к себе на Дальнюю дачу. Ритуал, разумеется, был продуман заранее. Все просто, естественно, очень даже по-человечески. На обед — русские щи, а для желающих — уха. Гречневая каша опять же по желанию — с маслом или мясной подливкой. Компот, чай, яблоки. Обычный обед Сталина без всяких излишеств и кулинарных ухищрений.

После обеда — неторопливая беседа на открытом воздухе, возле клумбы, где пахло цветами, порхали бабочки, пролетали пчелы. Был здесь старый большевик Сергей Аллилуев, давнишний знакомый Горького, известный ему своей честностью и порядочностью. Была Ольга Евгеньевна Аллилуева, сохранившая значительную долю прежней красоты и полностью — стремление нравиться мужчинам. В искусстве обольщения она была столь опытной и изощренной, с такой точностью улавливала слабые, податливые струнки избранного объекта, что и на Горького произвела заметное впечатление. Глаза его поблескивали, когда

смотрел на молодое лицо, на рельефно обтянутую платьем фигуру с умело подчеркнутыми формами.

Был здесь угловатый, дичившийся подросток Вася, была очаровательная в своем белом платье рыжеватая девочка Светлана с простодушным любопытством на лице. Была моя дочка, очень застенчивая, с трудом отрывавшаяся от отцовской руки. А занимался с детьми, развлекал их легендарный красный нарком Ворошилов, весь в ремнях, в блестящих поскрипывающих сапогах, очень непосредственный и веселый. Он к месту рассказал, как приобщился в детстве к пению в церковном хоре, каким хорошим музыкантом и воспитателем был их регент, Климент Ефремович до сих пор благодарен ему — музыка, особенно опера, — это высочайшее наслаждение.

Слова Ворошилова умилили Алексея Максимовича чуть ли не до слез. Он заговорил о том, сколь много на Руси самородков, талантливых людей из народа, как трудно им было в прежние времена и как мудро поступает Советская власть, открыв доступ широким массам ко всем шедеврам настоящего искусства.

И была еще там нянька — Шура Бычкова, воспользовавшаяся случаем поглядеть на великого писателя через щель полуприкрытой двери и ненароком выдавшая свое присутствие: дверь распахнулась, Шура чуть не упала, вызвав общее оживление и веселый смех. Она была тут же представлена Горькому, как его читательница и почитательница.

В общем, побывал Алексей Максимович в крепкой, дружной семье, где господствует взаимопонимание, где растут обычные дети, где никто не способен на коварство, жестокость и прочие мерзости. Именно такое впечатление и сложилось у Горького.

Деловые вопросы обсуждались во время прогулки по проселочной дороге, бежавшей по краю леса к Москве-реке. Когда Алексей Максимович заговорил о неурядицах в стране, о том, что буржуазная печать всячески раздувает и умело использует в своих целях наши недостатки, Сталин охотно поддержал его. Да, жить и работать нам нелегко. У партии, у рабочего класса не было никакого опыта в строительстве социализма, отсюда и неизбежные ошибки, перехлесты. Ведь мы первые, мы прокладываем путь всему человечеству, и не в спокойной обстановке, а под злобный вой врагов, преодолевая их козни, их сопротивление. Но у нас большие успехи, очень большие успехи, сообщения о них появляются в печати, однако пропагандируются недостаточно. Серьезные писатели проходят мимо нашей повседневной борьбы, повседневных достижений.

— Бранить, подмечать недостатки всегда проще, — сказал на это Алексей Максимович. — О положительном писать труднее. Требуется глубокое знание дела, мастерство, терпение.

— Было бы желательно сосредоточить внимание литераторов на наших успехах, — продолжал Иосиф Виссарионович. — Это будет очень полезно. Наш опыт необходим пролетариям всего мира.

По этому поводу расхождений между Сталиным и Горьким не оказалось. Алексей Максимович обещал подумать о создании специального журнала, который

освещал бы достижения молодой советской республики для нашего и зарубежного читателя. И сам, дескать, напишет серию очерков, сравнивая дореволюционную жизнь трудящихся с той, которая расцветает теперь.

Затем Алексей Максимович пожаловался на то, что его весьма беспокоит разобщенность писателей, которые разделились на враждующие группы, вместо того чтобы единым фронтом выступать под знаменем революции. И опять Сталин поддержал Горького, заявив: в Политбюро тоже встревожены столь ненормальным положением, но до сей поры не было авторитетного человека, большого, всеми уважаемого мастера, который мог бы объединить литераторов в одну творческую организацию и возглавить ее. А теперь приехал Алексей Максимович, это ему по плечу, и было бы очень хорошо, если бы он принял нелегкий труд на себя. Со своей стороны он, Сталин, обещает конкретную поддержку Политбюро. Будет принято соответствующее решение. Можно собрать наиболее видных писателей на организационное совещание, выслушать их мнения и предложения.

— Устроим такую встречу у меня дома, — сказал Горький. — За чашкой чая. Порассуждаем без протоколов и стенограмм.

— Можно и так, хотя не совсем понятно...

— Напуган писатель, дорогой Иосиф Виссарионович. И не только писатель, многие интеллигенты напуганы, и актеры, и ученые наши. Молчат они или, чувствую, говорят не совсем то, что у них на уме, а это худо, — вслух размышлял Горький. — Целую, знаете ли, заповедь выработали, совершенно противную открытой русской натуре. И ядовитая заповедь... Не думай! Вот первое правило... Подумал — не говори!.. Сказал — не пиши!.. Написал — не подписывай!.. Если подписал — откажись!.. А лучше — не думай!.. Вот оно как. Не надобно нам такого, совершенно не надобно! Совесть и откровенность на первом месте должны быть.

— Заповедь трусливого обывателя, — нахмурился Сталин.

— Плохая заповедь, — кивнул Горький. — Но худо и то, что возникла надобность в ней. Существуют, значит, у нас фискалы, доносчики, и безвинно пострадавшие есть. Посему в доме своем я строгий порядок завел: никаких стенограмм, никаких записей. Каждый волен открыто выражать свои мысли, говорить о чем хочет, что хочет — и без всяких последствий.

— Разумно, — согласился Иосиф Виссарионович. — Давайте соберемся у вас. И чем скорее, тем лучше.

Так и порешили. Однако быстро лишь сказка сказывается. Потребовалась значительная работа, прежде чем такое совещание стало возможным. 23 апреля 1932 года появилось постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций», которое ликвидировало ассоциацию пролетарских писателей (РАПП), другие литературные группы и поставило в повестку дня вопрос о создании единого Союза советских писателей. Но и после этого требовалось еще согласовать платформы различных группировок, найти общую для всех линию. Лишь в октябре того же года Алексей Максимович известил Сталина:

все готово для большого принципиального разговора, срок назначен, милости просим.

С утра у Иосифа Виссарионовича начался легкий насморк, первейший признак его напряженности, загнанного вовнутрь волнения. Как всегда в такие часы, он был особенно сдержан, особенно спокоен, каменно-невозмутим: готовил себя к беседе с писателями, продумывал варианты, возможные выпады против него.

Члены Политбюро приехали на Малую Никитскую в девять вечера и сразу проследовали в просторную столовую, окна которой были наглухо закрыты шторами. Громоздился здесь объемистый буфет, вдоль стен были расставлены столы и стулья. Писатели рассаживались без чинов и званий, где придется. Некоторых я знал в лицо. Михаила Шолохова, недавно громко заявившего о себе «Тихим Доном»; художавого деловитого, озабоченного Александра Фадеева; удивительного мастера слова Александра Малышкина. Еще — Леонида Леонова, Федора Гладкова, Всеволода Иванова. А всего набралось человек пятьдесят.

Председательствовал, естественно, хозяин квартиры. Он начал беседу довольно казенными фразами:

— Сегодня мы собрались, чтобы обсудить вопросы литературы... Трудрами рабочих и крестьян создано в нашей стране громадное количество дел. Меняется даже география... Литература не справляется с тем, чтобы отразить содеянное...

Все слушали Горького с заметным напряжением, вызванным необычностью обстановки, и Сталин, поняв, что нужно разрядить атмосферу, подал несколько шуточных реплик. Умел Иосиф Виссарионович, когда нужно и независимо от собственного настроения, выглядеть обаятельным, простым, добродушным, умел очаровывать собеседников.

Кто-то из писателей сказал:

— У нас в России сеять разумное, доброе, вечное — это лишь половина работы. Посев надо полить кровью, чаще всего собственной.

— Вы имеете в виду наше время? — всем корпусом повернулся Сталин.

— Так было всегда, — последовал уклончивый ответ.

— Значит, такая у нас почва. Слишком тяжелая почва, — иронически развел руками Иосиф Виссарионович, и, хотя речь шла об очень серьезном, многие заулыбались, оценив быстроту и точность сталинских слов.

На этом заседании, затянувшемся до утра, были заложены основы будущего Союза писателей. Разнородное, непокорное, капризное литературное племя самоохватывалось теперь определенными рамками, получало собственную организацию, способную защищать интересы пишущих. Ну и управлять такой организацией сверху, наблюдать за ней было гораздо легче, нежели за разрозненными, расплывчатыми группировками.

Много говорили, спорили в ту ночь о творческом методе. Упоминались разновидности реализма: «пролетарский», «монументальный», «революционно-социалистический» и даже «критический» реализм. В конце концов большинство присутствовавших сошлись на термине «социалистический реализм». Признаюсь, мне было не совсем понятно, что такое творческий метод, каким

методом пользовались, к примеру, Гомер, Рабле, Пушкин? В этом вопросе я чувствовал себя профаном, так как по-дилетантски ценил в искусстве, в литературе простое триединство: эстетическое наслаждение, воспитательно-познавательное значение и увлекательность, без которой любое произведение становится скучным. А где начинается скука, там пропадает искусство. Но в тот раз свое мнение я держал при себе. А суть социалистического реализма представлялась мне стремлением к так называемой «третьей действительности». То есть: показывать жизнь, явления, события, характеры не такими, какими они были, не такими, какими они являются, а такими, какими они должны быть. Значит хорошее возвышать, делать примером, а скверное, соответственно, представлять в самом неприглядном, отталкивающем виде. Для воспитания масс, только что потянувшихся к высотам культуры и знаний, такой подход, упрощенный для общедоступности, мог быть полезным на каком-то этапе.

А Иосиф Виссарионович молодец! Он принял живейшее участие в дискуссии о социалистическом реализме, ни в чем не проигрывая при этом писателям-специалистам. Особенно когда речь зашла о том, что включает в себя этот метод. Некоторые товарищи были против термина «народность», сие, мол, входит в понятие партийности искусства. А Иосиф Виссарионович возразил, что понятие «народность» гораздо шире, чем «партийность». «Витязь в тигровой шкуре» никак не назовешь партийным произведением, но оно прекрасно, так как выражает извечное стремление народа к счастью и справедливости. Поэтому, отказавшись от народности искусства, мы обедним себя, зачеркнем многие шедевры прошлого, подорвем важные корни, традиции...

На этом же совещании была сделана попытка определить роль и место писателей в новом обществе. Сталину хотелось, чтобы была четкая, ясная, уважительная формулировка. Слова Алексея Толстого о том, что писатели есть каменщики крепости невидимой, каменщики души народной — эти слова Иосифа Виссарионовича не устраивали, казались ему расплывчатыми. «Инженеры человеческих душ» — такое определение почему-то больше нравилось Сталину. Да и сами писатели, как мне показалось, были довольны¹.

Итак, Горький приставлен был к конкретному делу, загружен большой и полезной работой по консолидации литературных сил. Однако потенциальная опасность, исходившая от Алексея Максимовича, не уменьшилась, и Сталин постоянно помнил об этом. По его указанию, Горького усиленно снабжали по разным каналам информацией об успехах на стройках и в колхозах, о развитии малых народностей, о новых школах и вузах, о враждебных происках империалистов, о том, что враги готовятся напасть на нас и мы должны быть бдительными, чтобы дать сокрушительный отпор любому агрессору. Вся эта информация, естественно, была аб-

¹ Воспоминания участников встречи в каких-то деталях, подробностях расходятся между собой и с моими впечатлениями, но это естественно: каждый смотрел со своей точки зрения, воспринимал и оценивал факты по-своему. (Примеч. Н. Лукашова.)

совершенно достоверной и не могла не воздействовать на впечатлительную душу писателя. Но не могли укрыться от Горького и массовые репрессии, беззаконие и жестокость, захлестывавшие страну. Исчезли его старые знакомые, честнейшие люди, представители славной русской интеллигенции, исчезали коммунисты — создатели партии, бойцы ленинской гвардии. Как? Зачем? Почему? Человек очень чуткий к справедливости, Алексей Максимович начал выражать свое недовольство. Пока еще в частных разговорах. Он приглядывался, размышлял, прежде чем перейти к поступкам.

Учитывая такое положение, Иосиф Виссарионович со свойственной ему тщательностью принялся готовиться к новой встрече со знаменитым писателем. При этом ставились две главные цели. Убедить Алексея Максимовича, что усилившаяся борьба с внутренними врагами всех мастей — это суровая необходимость, которая в интересах пролетариата. Затем осторожно, без нажима, довести до Горького такую мысль: через несколько лет Сталин будет отмечать свое шестидесятилетие, взялся бы Алексей Максимович за книгу о нем, о ведущем деятеле мирового революционного движения! Поучительная, полезная могла бы получиться книга. Вот Барбюс уже пишет. Хорошо это, разумеется, но все же Барбюс далек от нашей жизни, от нашей реальной действительности. И обидно, что за рубежом-то работают, создают, а у нас пока нет.

Сумеет Сталин заинтересовать такой идеей Алексея Максимовича — будет убито сразу несколько зайцев. Дела Иосифа Виссарионовича прославит гений, творения которого переживут века. Да и общая работа над книгой связала бы их одной веревочкой, окончательно перетянула бы Горького в сталинский лагерь.

Иосиф Виссарионович еще раз перелистал основные произведения Горького, освежил в памяти факты его биографии. Но была в этой подготовке и негативная сторона: меня очень беспокоило, что к столь деликатному вопросу был подключен Берия, никогда не приносивший удачи тем людям, в чью сторону обращалось его внимание. На этот раз Лаврентий Павлович готовил секретное досье, отражавшее различные стороны личной жизни писателя. В частности, его любвеобильность, не раз вызывавшую семейные неприятности. Алексей Максимович и теперь, несмотря на солидный возраст, много времени уделял своей обаятельной снохе Надежде Алексеевне Пешковой, жене сына Максима. Вел с ней продолжительные беседы об искусстве, ездил в театры, в музеи, подолгу уединялись они на втором этаже, в ее комнате, где Надежда Алексеевна повесила портрет Горького собственной работы. И хотя хозяйство семьи вела другая энергичная красивая женщина — Олимпиада Дмитриевна Черткова, беспредельно преданная Горькому, все же главенствовала в доме Надежда Алексеевна. Не видевшись день, Алексей Максимович начинал скучать о ней. А сын Максим, человек разносторонне одаренный, быстро увлекавшийся и остывавший, то пускался в дальние странствия на самолетах и пароходах, то развлекался и охотился с друзьями, то всецело отдавался своим излюбленным автомобилям, сделавшись весьма хорошим водителем. Сам возился с двига-

телями, обожал скоростную езду и гонял до изнеможения.

Ко всему прочему, Максим не отличался хорошим здоровьем — слабоват он. Случались даже обмороки. А сам Горький, хоть и покашливал, хоть и слыл чахоточным, болезнь свою залечил, оказывается, еще до революции, был физически крепок и бодр.

Берия показал схему дома, на которой была изображена лестница, ведущая от Горького вверх, к Надежде Алексеевне. И утверждал, что этой, мало кому известной лестницей пользуется в особых случаях та и другая сторона. Не в этом ли одна из причин того, что Максим охладел к семье?

Я возмущен был предположениями Берии и сказал, что обсуждать такие подробности просто непорядочно и что любая попытка шантажировать Горького обречена на провал: даже намек на подобные обстоятельства вызовет со стороны Алексея Максимовича гнев, действия самые решительные, которые навсегда поссорят его со Сталиным, оттолкнут от нас. Иосиф Виссарионович согласился со мной, сказав: «Не следует ворошить чужое белье». Согласился потому, что понял мою правоту. Горький — не та фигура, которую можно сломать, запугать. Ну, а Берия — тому хоть плюй в его выпуклые бесстыжие глаза, ему все равно божья роса. Да и глаза-то спрятаны под толстыми стеклами, не попадешь...

В ту пору Лаврентий Павлович официально еще не работал в Москве, а посему с особым усердием угадывал и исполнял невысказанные или высказанные лишь наполовину пожелания Сталина. К концу разговора Берия позволил себе еще раз привлечь внимание Иосифа Виссарионовича к сыну Горького.

— Это самое больное место, это самое уязвимое место писателя, — сказал он. — При любом происшествии Горький будет переживать за сына сильнее, чем за себя самого.

Сталин кивнул и велел Лаврентию Павловичу убрать досье. Берия аккуратно завязал белые тесемки коричневой папки и ушел, осторожно прикрыв за собой дверь.

К Горькому поехали среди дня на трех легковых машинах. Охранники заняли посты в воротах, в подъездах, подчеркнув тем самым, какой опасности со стороны классовых врагов подвергаются всюду руководители партии. Сталин тогда был нездоров, лицо желтоватое, заметнее выделялись оспинки. Набухшие нижние веки на треть скрывали глаза. Горький сразу понял состояние Иосифа Виссарионовича, помягчел, пропала резкость, звучавшая в его голосе, смотрел на гостя с явным сочувствием. Сам Горький был в простой голубой рубашке и с феской на голове.

Два радетеля за интересы неимущих беседовали долго, закрывшись в библиотеке. Томясь ожиданием, я листал какие-то альбомы на столике и думал о том, что, при всем желании, при всем преклонении перед талантом Горького, я не могу поставить его рядом с Толстым. Почему? Вот Лев Николаевич хоть и граф, а ближе к народу, сильнее любил народ, гордился им и верил в него. За границей, что ли, долго пробыл Алексей Максимович, перестал понимать некоторые осо-

бенности нашей жизни. Словно бы не знает, что он единственный, кто может служить противовесом Сталину во всей стране, влиять на Иосифа Виссарионовича своим авторитетом... Но на этот раз я, кажется, ошибся в своих рассуждениях. Вышли они оба хмурые, явно неудовлетворенные разговором. Горький глухо закончил фразу, начатую еще в библиотеке:

— ...согласиться никак не могу. И уж извините, буду выступать против неразумного насилия...

— Если враг не сдается, его уничтожают,— это ваши слова,— напомнил Сталин.

— Врага — да! Но прежде всего надобно убедиться, что перед нами действительно беспощадный враг. А если человек ошибается, если думает не так, как я,— его не убирать, а переубеждать требуется. И самому к его доводам прислушаться, чтобы понять, за кем правда. А вдруг он прав?

Иосиф Виссарионович не ответил. Простились они вежливо, спокойно, взаимно пожелав доброго здоровья. Я понял, что Сталин даже не намекнул Горькому о своем предстоящем юбилее. Не та была обстановка.

После этого посещения забота о Максиме Горьком не только не уменьшилась, но и значительно возросла. Делалось все, чтобы жизнь его протекала спокойно и благополучно. Когда знаменитый писатель отправлялся на отдых в облюбованный им дворец в Горках Десятых, туда сразу прибавляли соответствующий обслуживающий персонал. С продуктами в ту пору было трудно, одному Горькому представлялась возможность не нуждаться ни в чем.

Как еще ублажал Сталин знаменитого писателя? Был, например, создан под руководством А. Н. Туполева удивительный по тем временам самолет, на котором испытатель М. М. Громов 17 июня 1934 года совершил первый полет. Представьте себе зарю авиации, когда наиболее развитые страны радовались появлению десятиместных машин. А у нас поднялся в воздух цельнометаллический самолет с фюзеляжем длиной 32,5 метра, общая площадь «жилых мест» в котором превышала 100 квадратных метров! 8 членов экипажа и 72 пассажира! Ничего себе, а? Лишь после войны мировая гражданская авиация достигнет такого уровня!

Мы были впереди!

Стоял вопрос: как назвать самолет-гигант? В Политбюро было мнение дать самолету имя «Иосиф Сталин». Но Иосиф Виссарионович почему-то был против. Или не считал эту машину абсолютно надежной (не дай бог, «Иосиф Сталин» потерпит аварию!), или знал, что могут появиться машины и лучше. А может, была очередная политическая интрига: он спросил, кто является самым великим человеком в нашей стране? Я ответил: пролетарский писатель Максим Горький. Масштаб достижения авиаторов соответствует масштабу его всемирной славы.

Так и получила эта машина свое название. Алексей Максимович был польщен. Естественно: и ему не чужды были простые человеческие ощущения. Но при всем том напряженность между ним и Сталиным продолжала возрастать. И я, не менее Иосифа Виссари-

оновича, боялся, что струна лопнет со звоном и треском, со всеми эмоциями, свойственными писателям, и мы обречем в лице Горького такого яростного и талантливого обличителя, какого и свет не видывал.

Наверное, по незнанию обстановки я волновался даже больше Сталина. Я ведь не догадывался о той непоправимой утрате, которая вскоре постигнет Алексея Максимовича. 1 мая 1934 года он вместе с сыном был на Красной площади, оба восторгались парадом и демонстрацией (даже Максим, несмотря на определенный скептицизм, был доволен). Затем сын уехал в Подмосковье на весеннюю охоту. Вернувшись, заболел воспалением легких и скоропостижно скончался.

Сын умер, отец был убит горем, состарился сразу на много лет. Событие потрясло его, однако не настолько, чтобы он перестал понимать ситуацию. Когда сразу же после смерти Максима (не прошло и двух часов) к нему прибыли члены Политбюро, чтобы выразить сочувствие, он нашел в себе силы усмехнуться и сказать: «Это уже не тема. Не будем возвращаться к этому разговору».

Очень скоро выяснилось, что Горький не сломлен. Он продолжал переписываться с корреспондентами во всем мире, он действовал, мыслил, мог додуматься и, высказать черт знает что! Но уже новый удар ожидал его.

На мой взгляд, не меньше смерти сына отразилась на писателе гибель самолета «Максим Горький». 18 мая 1935 года гигантская машина поднялась над Ходынским аэродромом, над Ходынским (нынче Октябрьским) полем. В тот день должны были «катать» ударников с московских предприятий. А в первый полет над окраинами столицы пошли инженеры и рабочие — непосредственные создатели этой машины. Рядом с «Максимом Горьким» (для контраста, что ли, чтобы подчеркнуть размеры) крутился истребитель И-5, выделявая в опасной близости всевозможные фигуры. Летчик-истребитель Благов был мастером своего дела, но все же зачем такой риск? Лавры Чкалова не давали покоя? А чем руководствовались те, кто разрешил Благову «резвиться» в воздухе?! Пассажиры, ожидавшие на аэродроме своей очереди, ахали, наблюдая за его пируэтами. Но вот истребитель, пытаясь совершить петлю вокруг крыла «Максима Горького», врезался в него, и обе машины, большая и малая, понеслись к земле, разваливаясь на куски.

Нечто символическое узрел во всем этом писатель. Дух его был подавлен.

— Всему конец,— сказал тогда Алексей Максимович. И не ошибся. Выпрямиться, воспрянуть он больше не смог.

Восемнадцатого июня 1936 года я, по просьбе Сталина, находился в Горках Десятых, где в старом дворце с колоннами лежал Алексей Максимович, страдавший «катаральным изменением в легких и явлениями ослабления сердечной деятельности», как указывалось в медицинском бюллетене. Возле Горького дежурили врачи, которым доверяли Сталин и Берия. Собственно, ночевал-то я в другом месте, неподалеку от Горок Вторых, на Дальней даче, а рано утром приехал во дворец к писателю — по Успенскому шоссе это близко.

Воскресное утро было на редкость душным, все

говорило о приближении грозы. В 11 часов 10 минут, когда сердце Горького сделало последний удар, буквально секунда в секунду, раздался сильнейший раскат грома, само небо треснуло, расколосось, забрав к себе в огненном фейерверке молний душу гения, составляющую, вероятно, частицу всеобъемлющей души всеобъемлющего Творца.

Ураганный ветер пронесся над тем клочком земли, пригнул вершины деревьев, ломал их, разрушал стены, сбивал с ног людей, окропляя все и вся слезами дождя. Затем, в затихающем грохоте, в удаляющемся сверкании молний, хлынул сильнейший, но короткий, успокаивающий и целительный ливень.

Горький ушел от нас. Я был одним из тех, кто стоял у его гроба. Приезжал и Иосиф Виссарионович. Он был спокоен и озабочен какими-то другими делами.

В огромном творческом наследии Алексея Максимовича осталась крылатая фраза, уже упомянутый мной лозунг: «Если враг не сдается — его уничтожают». В принципе это верно. Только о каком враге речь: о враге государства или своем личном неприятеле по квартире, по цеху, по партии? Сей лозунг допускал широкие толкования и был особенно дорог тем, что подарил его Иосифу Виссарионовичу самый большой гуманист нашей эпохи. Вручил индульгенцию, пригодную для самых разнообразных случаев.

Началось следствие, чтобы выяснить, в какой мере к смерти Горького причастны тайные и явные противники нашей партии и правительства. «Судебные процессы показали, что эти подонки человеческого рода вместе с врагами народа — Троцким, Зиновьевым и Каменевым — состояли в заговоре против Ленина, против партии, против Советского государства уже с первых дней Октябрьской социалистической революции. Провокаторские попытки срыва Брестского мира в начале 1918 года; заговор против Ленина и сговор с левыми эсерами об аресте и убийстве Ленина, Сталина, Свердлова весной 1918 года; злодейский выстрел в Ленина и ранение его летом 1918 года; мятеж «левых» эсеров летом 1918 года; намеренное обострение разногласий в партии в 1921 году с целью расшатать и свергнуть изнутри руководство Ленина; попытки свергнуть руководство партии во время болезни и после смерти Ленина; выдача государственных тайн и снабжение шпионскими сведениями иностранных разведок; вредительство, диверсии, взрывы; злодейское убийство Менжинского, Куйбышева, Горького — все эти и подобные им злодеяния, оказывается, проводились на протяжении двадцати лет при участии или руководстве Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина, Рыкова и их прихвостней — по заданиям иностранных буржуазных разведок...

Эти ничтожные лакеи фашистов забыли, что стоит советскому народу шевельнуть пальцем, чтобы от них не осталось и следа. Советский суд приговорил бухаринско-троцкистских извергов к расстрелу.

НКВД привел приговор в исполнение».

Цитата взята из книги «История ВКП(б). Краткий курс». Сей опус увидел свет в 1938 году, а сотворен был самим Иосифом Виссарионовичем с помощью не-

скольких ближайших помощников, в том числе и Лаврентия Павловича Берии.

Если кому и было справедливо воздано должное на одном из судилищ, на процессе по делу «право-троцкистского блока», так это человеку, который причинил много зла, но имя которого почему-то остается в тени. Я имею в виду Генриха (Гершеля) Ягоду, который «проходил» под номером три, сразу после Бухарина и Рыкова. Что мы знаем о нем? Нижегородский фармацевт. Настоящая фамилия Иягуда (Иуда). В партии с 1917 года. Женат на племяннице Якова Мовшевича Свердлова. С января 1920 года работал в ВЧК. Когда умер Менжинский, возглавил в 1934 году ОГПУ, затем его назначили наркомом внутренних дел, генеральным комиссаром государственной безопасности. Первым он был в новом наркомате и закладывал, так сказать, фундамент этой организации. При нем значительно расширилась в стране сеть лагерей, которые надо было кем-то заполнять. Он разработал и внедрил систему доносов, насадил повсюду секретных сотрудников. Опыт у него — до революции имел контакты с царской охранкой. А внешне, кстати сказать, выглядел весьма добропорядочно. Был вежлив, обходителен, деловит, аккуратен. И, сам в конце концов будучи арестован, испытал на себе «работу» бездушного механизма, созданию которого отдал много сил. От допросов «с пристрастием» до смертной казни.

На процессе «право-троцкистского блока» в 1937 году Генрих Ягода признал себя виновным в самых страшных грехах. Он, оказывается, был польским шпионом и агентом гестапо, он подготовил убийство Кирова и отравил Горького и Куйбышева. Я так и не мог понять: лгал он или нет? А если лгал, возводил на себя напраслину, то зачем? От кого отводил подозрения?

8.

В период массовых репрессий был один человек, которого особенно ненавидели Ягода, Ежов, Гоглидзе, Кобулов, Берия и другие выдающиеся экспериментаторы в деле «преобразования лиц высокопоставленных в лиц далекоотправленных» — сия циничная фраза принадлежала верному соратнику Берии, его помощнику Гоглидзе. С каким восторгом они свалили бы этого человека, растоптали бы за то, что он пытался вмешиваться в их «деятельность». Да и самому Сталину доставлял он немало хлопот.

Речь идет о главе нашего государства, о Председателе ЦИК СССР, с января 1938 года Председателе Президиума Верховного Совета СССР — Михаиле Ивановиче Калинин. Он тогда, пожалуй, был единственным государственным деятелем высшего звена, который возражал против необоснованных арестов и казней, делал попытки восстановить справедливость. Вот тридцать седьмой год. Арестованы Шотман, Правдин, Тухачевский, Енукидзе. И сразу последовал резкий протест Калинина. Он просил Сталина принять для беседы жену Шотмана, которую Иосиф Виссарионович хорошо знал. Еще бы не знать: в 1912 году она переправ-

ляла его из Финляндии через границу. И все же Сталин наотрез отказался беседовать с кем-либо по поводу арестованных.

В тридцать восьмом взяты были Блюхер, Крыленко, Рудзутак. Узнав об этом, Михаил Иванович настоял все же на разговоре со Сталиным. Я не присутствовал. Знаю только, что Калинин ушел настолько расстроенным, что даже заболел и слег в постель. А Иосиф Виссарионович на мой вопрос о результатах этой встречи сказал сухо:

— Он всегда был либералом.

Итоги подобных «стычек» между Сталиным и Калининым были не в пользу последнего. Являясь главой государства, Михаил Иванович почти не обладал реальной властью, и чем дальше, тем больше ограничивал его в этом отношении Иосиф Виссарионович, забирая все бразды правления в собственные руки. Система расправы с ведущими гражданскими и военными деятелями упрощалась. НКВД готовил предложения по приговорам (проекты приговоров), Сталин утверждал их. После этого никто и ничто не могло изменить, переиначить. Дела проштамповывал суд Военной коллегии, решения его не подлежали обжалованию даже в Президиуме Верховного Совета. И все же Калинин не прекращал борьбы, так раздражавшей бериевскую рать. Он не имел возможности влиять на решения Сталина, но ведь и помимо этого были сотни, тысячи судебных дел по всей стране; волна репрессий, начавшаяся в центре, катилась к окраинам. В Приемную Верховного Совета шли письма с просьбой посодействовать, разобраться, восстановить истину. Вот лишь один из многочисленных ответов Калинина — он обращается к коменданту стрелковой охраны Смоленска:

«У вас в детском приемнике в течение двух лет работала воспитательницей беспризорных гр. Прудникова Ф. А. В январе месяце она вами была уволена с работы в связи с тем, что муж ее был исключен из партии и выслан.

Считаю увольнение гр. Прудниковой только по этой причине необоснованным. Считаю возможным оставление ее на работе, если за ней лично нет порочащих фактов».

Когда в стране господствует беззаконие, то хоть собственным авторитетом помочь человеку!

Нет, Калинин не мог, конечно, своим вмешательством в отдельные судьбы изменить общий ход событий, и все же этот пожилой большевик с седой бородкой в своем упрямом стремлении к справедливости (учитывая его высокий пост) был явной помехой для бериевской компании и представлял существенную опасность. Ведь фортуна изменчива! Несведущие люди могли только удивляться, почему же Сталин терпит Калинина. Совершенно необязательно было арестовывать Михаила Ивановича, затевать судебный процесс — Берия со своими умелыми «экспериментаторами» располагал большими возможностями и разнообразными средствами для того, чтобы проводить назначенную кандидатуру в последний путь. От автомобильной катастрофы до внезапной кончины от разрыва сердца в собственной постели. Но к Михаилу Ивановичу

никто не мог подступиться. Суть в том, что Калинин необходим был Сталину. Прежде всего как очень удобная ширма. Кто стоит во главе рабочекрестьянского государства, что за личность? Пожалуйста: выходец из крестьян, тесно связанный с деревней, к тому же и сознательный питерский пролетарий, двадцать лет работавший у станка, — что еще нужно?!

Теперь вторая сторона. Государство наше все еще оставалось в основном крестьянским, подавляющее большинство населения жило в деревнях, крестьяне со времени революции привыкли, что на самом высоком верху стоит «свой человек», мужик, защитник их интересов Михайло Иванович Калинин. Простой и доступный. В него верили. Кому еще пожалишься, ежели не ему? И Сталин очень хорошо понимал настроение масс, ни в коем случае не хотел лишаться столь надежного, понятного народу, прикрытия. Союз Серпа и Молота: наш Калинин был буквальным символом, живым гербом Советского государства. Ограничить возможности Михаила Ивановича — это да. Но остаться без него — ни в коем случае. Для огромной массы населения Советская страна без Калинина — будто Новый год без Деда Мороза.

Кстати, о новогоднем празднике и новогодней елке. Широкая молва приписывает восстановление давнего народного обычая, запрещенного после Октября, одному лишь Михаилу Ивановичу. Люди говорили: «Калинин вернул праздник». Или — детям, увидевшим наряженную елку: «Вот подарок дедушки Калинина». А это не совсем так. Первым выступил за возвращение праздника Секретарь ЦК ВКП(б) Павел Петрович Постышев.

Эту идею сразу же горячо поддержал Калинин, помнивший, сколько радости приносит людям новогодняя елка. Было принято соответствующее решение. И зажглись повсюду веселые новогодние огоньки на зеленых красавицах... А затем наступила та пора, когда имена Постышева, Блюхера и многих других «восточников», которых Сталин знал мало, которые представлялись ему слишком самостоятельными и малопочтительными, были вычеркнуты из всех списков, вымарывались тушью в исторических книгах. И все, что связано было с возвращением новогодней елки, приписывалось лишь Калинин, его доброте и заботливости. Это не его вина. И в общем-то, спасибо ему за возрожденный праздник.

В тот период, когда я особенно сблизился с Михаилом Ивановичем, положение его было двойственным, сложным. Мне импонировали его совестливость, отвращение к хитростям, интригам, стяжательству. Его скромность и доброта. Он был одним из немногих, кто ничего не искал для себя и своих близких, всей душой верил в святость марксистско-ленинских идей, искренне радовался успехам Советской власти.

В ту пору Михаил Иванович болезненно переживал разрыв с родной деревней. Ездил он туда, в свою избу, всю жизнь, примерно года до тридцать пятого. Лучший отдых в милых сердцу лесах и лугах, в доме, согретом ласковой улыбкой матери. Агитировал земляков в колхоз вступать. А потом увидел, что дела в кол-

хозе идут скверно, его поддержка, материальная помощь не помогают, а, наоборот, усугубляют положение. Крестьяне отходят от дел и забот, ленятся, перекадывают работу друг на друга, становятся лодырями, захребетниками, иждивенцами государства. Перестал ездить туда, лишив себя лучшего отдыха. Говорил: надобно что-то менять, перестраивать, заинтересовать мужиков, вернуть тягу к работе. Но вносить какие-либо изменения он был не в силах, так как сложившаяся структура руководства, прямого подчинения с самого верха до самого низа, вполне устраивала Иосифа Виссарионовича.

Как я уже отмечал, Сталин имел незаурядную способность привязывать к себе нужных ему людей, очаровывать их своей эрудицией и обаянием, подогреть самолюбие, идти на некоторые уступки, постепенно затягивая человека в круг своих интересов, своего бытия, своих правил, превращая его в соучастника, ответственного за события наряду с Иосифом Виссарионовичем. Что касается Калинина, то можно вспомнить случай прямо-таки парадоксальный. Михаил Иванович всегда был против «памятников при жизни»: распространения портретов, присвоения имен предприятиям, населенным пунктам. За исключением Ленинграда. В этом случае он не возражал, тем более что переименование произошло после смерти Владимира Ильича.

У меня есть текст выступления Михаила Ивановича на открытии Дома крестьянина в Кимрах. Когда земляки предложили переименовать этот город в честь Михаила Ивановича, он заявил: «Я считаю совершенно излишне переименовывать уезд моим именем... Я решительно возражаю; это нецелесообразно практически — раз, и, наконец, это доказывает нашу чрезмерную спешку, наше неуважение, до известной степени, к прошлому. Конечно, мы боремся с прошлым строем, это верно, но все, что было ценного в прошлом, мы должны брать. Вот когда мы умрем, и пройдет лет пятьдесят после нашей смерти, и наши потомки поймут, что мы совершили что-то заслуживающее внимания, тогда они могут вынести решение, а мы еще молоды, мы, товарищи, не можем себя оценивать. Слишком самоуверенно думать, что мы заслужили переименования места нашим именем».

Вот ведь сколько весомых, правильных доводов привел Михаил Иванович — и совершенно в соответствии со своей натурой. Его доводы не устарели и для дальнейших переименователей, тем более когда переименовывали города и районы, не спрашивая жителей. Но как же получилось, что через десяток лет Михаил Иванович подписал Указ о присвоении своего имени не какому-то заштатному городишке, а старинной Твери, сыгравшей немалую роль в истории государства Российского, вошедшей с таким названием в народную память?!

Свистопляску с переименованиями начали Троцкий, и Зиновьев. Вскоре после революции Лев Давидович потешил свое самолюбие, добившись того, что город Гатчина превратился в Троцк. Такое же название обрела Юзовка на Украине, после Октября, дабы укротить претензии украинских националистов, по велению

Ленина переданная из состава Российской Федерации в распоряжение Украинской республики. В то же время Елизаветград стал Зиновьевском. «Очень скромные люди, — саркастически говаривал тогда Сталин. — Позаботились о собственном величии».

Прошло время, и двух «Троцков» Льву Давидовичу показалось мало. Их на карте-то не найдешь, эти городки. Не соответствуют величию! Да и позавидовал Лев Давидович тому, что имя Ленина увековечено в названии северной столицы. И Яков Мовшевич Свердлов удостоен высокой чести: его фамилию дали крупнейшему городу на Урале, бывшему Екатеринбург. А он, Троцкий, чем хуже? Зачем ждать смерти, когда есть возможность теперь же похлопотать о себе?! На Москву, конечно, замахиваться не надо, это не пройдет, а вот областной центр — вполне. И начал добиваться Лев Давидович, чтобы город с явно «контрреволюционным» названием — Царицын — получил новое наименование.

Иосиф Виссарионович, естественно, был взбешен. Что там ни говори, а это ведь он в самые трудные месяцы руководил обороной Царицына, сумел сохранить для республики важнейший Южный форпост. Этому городу как раз и носить бы имя Сталина, а не гастролера, который раз или два съездил туда в комфортабельном поезде. Явная несправедливость! Надо принять решительные, быстрые меры. И вот 10 апреля 1925 года форпост на Волге обрел звучное наименование — Сталинград, с коим и вошел навеки в историю, по крайней мере в историю войн.

Лиха беда — начало. Вскоре появились на географической карте Сталинабад, Сталинск, Сталинир и так далее. Ну и других руководителей, членов Политбюро, нельзя обижать. Возникли Ворошиловград, Киров, Молотов и Молотовск, Каганович, Куйбышев. А Нижний Новгород стал городом Горьким; еще в 1932 году, при жизни пролетарского писателя. Экая, право, скромность... А Михаил Иванович, глава государства, почему в стороне? Как выглядят на его фоне другие товарищи? Нет уж, раз ты из нашей когорты, будь любезен, не нарушай общих порядков... Напор был столь сильным и стремительным, что Калинин не устоял, «поднес» свое имя древней Твери, оказался «завязанным» в общий круг соискателей прижизненной славы. В смысле психологического срыва это было почти равносильно отказу от собственных убеждений, подписанию себе смертного приговора. Что-то сломалось в Калининне — сие особенно важно было Иосифу Виссарионовичу, стремившемуся «приручить» Михаила Ивановича, сделать его податливым и послушным. Однако, несмотря на надлом, до этого было еще далеко.

Сталина беспокоили не столько хлопоты Михаила Ивановича по защите отдельных пострадавших граждан, сколько его публичные выступления. Не считаясь с укоренявшимся тогда правилом читать заранее подготовленные и согласованные речи, Калинин по старинке, как в ленинские времена, выходил к любой аудитории и говорил, как хотел, что считал нужным. При своей искренности такое мог сказать, что потом не исправишь. Вот назовет всенародно Сталина

нарушителем законов, заварит бучу на весь мир... Контролировать надобно такого оратора, но как?

Иосиф Виссарионович без обиняков заявил мне: он спокоен лишь в том случае, если на ответственные выступления вместе с Калининым еду я... Надеюсь на мою рассудительность и решительность, учитывая мое возрастающее влияние на Михаила Ивановича. Спросил меня: верно ли, что Калинин, выступая, беседуя, не избегает самых острых вопросов, а потом просит своего помощника: «Ты там приведи в порядок стенограмму, добавь шаблона в начале и в конце, тогда и в печать можно...»

— А что особенного? — удивился я.

— Шаблон — это наши лозунги, призывы, руководящие указания? — нахмурился Сталин.

— Они же действительно бывают шаблонными, набивают оскомину частым употреблением. А Михаил Иванович говорит о том же, проводит ту же линию, только по-своему, интересно, применительно всякий раз к конкретному случаю.

— Я бы не хотел поучать уважаемого человека, — со значением произнес Сталин.

— Ну, хорошо, хорошо... Скажу ему, что слово «шаблон» не очень уместно.

— Вас он послушает, — удовлетворенно кивнул Иосиф Виссарионович.

Каюсь, насчет этого слова я ничего не сказал Михаилу Ивановичу, случай не подвернулся.

...Через некоторое время с глазами у Михаила Ивановича стало совсем скверно. Вопрос стоял так: или операция, или полная слепота. Калинин нервничал и в конце концов согласился на операцию. Прошла она благополучно. Михаил Иванович уехал в Сочи, чтобы укрепить здоровье. Туда же отправилась и жена его Екатерина Ивановна Калинина-Лорберг, давняя подруга еще со времен первой революции.

Состояние Михаила Ивановича улучшалось. Я слышал, как Лаврентий Берия, уже окончательно обосновавшийся в Москве, говорил Сталину: скоро «беспокойный староста» вернется с Кавказа и опять будет совать ему, Берии, палки в колеса. Надо, мол, чтобы он твердо знал границы своих возможностей.

И вот в один отнюдь не прекрасный день в Сочи пришла телеграмма: Екатерину Калинину срочно вызывали на работу. Нечто подобное случилось и прежде, Екатерина Ивановна быстро собралась и отправилась в путь.

Поезд пришел в Москву вечером. В учреждении уже никого не было, а дежурный не смог объяснить женщине, кто и зачем вызывал ее, кому позвонить. Отложив заботы на завтра, она отправилась домой. А в полночь, когда Екатерина Ивановна уже собралась спать, на квартиру явились двое в штатском. Очень вежливые, предупредительные, они сказали, что товарищ Берия просит ее приехать немедленно, чтобы посоветоваться по некоторым вопросам.

Связавшись по телефону с дочерью Лидой, Екатерина Ивановна договорилась встретиться с ней пораньше, еще до работы, и ушла из дома. Надолго. На семь лет. С пребыванием в холодном северном городе Воркуте. «Основанием» для высылки

послужил клеветнический донос, который даже не проверялся и не расследовался.

Жена Михаила Ивановича оказалась в числе «врагов народа». Поверил ли этому Калинин или нет, я не знаю, но удар, во всяком случае, был страшный, точно и коварно рассчитанный. Попробуй-ка теперь, Михаил Иванович, выступить в защиту лиц, арестованных по политическим мотивам! Со своей женой не разобрался, в своем доме змею не разглядел, куда уж ему в другие-то дела лезть! Короче говоря, и здоровье, и дух Михаила Ивановича были надломлены непоправимо. Он сник, затих, стал совсем незаметен. Много времени проводил дома, с удовольствием читая книги по истории государства Российского. Если и доводилось ему теперь выступать, то не речи произносил, а читал, как и все, по бумажке проверенный и отредактированный текст. Работа свелась в основном к подписанию заготовленных Указов Верховного Совета да вручению орденов награжденным. При этом специальный сотрудник предупреждал, чтобы не жали сильно его руку. Но в пылу благодарности почти все отмеченные забывали об этом, а народ-то был здоровый — полярники и шахтеры, летчики да моряки. И таких человек пятьдесят за один прием. У Михаила Ивановича постоянно болела правая рука от пальцев до самого плеча.

Встряхнула Калинина только война. Но не надолго. Он был уже слишком болен и слаб. Скончался Михаил Иванович вскоре после нашей победы.

9

Рассказывая о явлениях скверных, я отнюдь не забываю о том хорошем, что было у нас в тридцатых годах, о достижениях и свершениях. Мое желание — внести в мозаику истории свои фрагменты участника и очевидца, по возможности правдивые и объективные. Как бы там ни было, но Иосиф Виссарионович занимался не только упрочением своих политических позиций, не только борьбой за власть, но, главным образом, укреплением экономики страны, повышением уровня жизни народных масс.

Политические репрессии мало касались простых людей, обывателей, зато перемены к лучшему были сразу заметны. Наступило явное облегчение, особенно ощутимое после страшной голодовки периода коллективизации. Кончилась в деревне неразбериха, обрабатывались колхозные земли, росли урожаи. Появились в достаточном количестве хлеб, овощи. Перестали быть редкостью мясо, масло, яйца. После 1934 года были отменены продовольственные карточки. В магазинах можно было приобрести одежду, утварь, скобяные изделия.

Европу и Америку терзал экономический кризис, рабочие не знали, куда приложить руки. А у нас совершенно не осталось безработных, все были при деле, имели возможность зарабатывать на пропитание. Промышленность развивалась быстрыми темпами. Мы сами выпускали трактора, автомашины, аэропланы. Четко действовал транспорт. В Москве строилось метро,

создавались прекрасные подземные дворцы для общенародного пользования. Даже старые москвичи, ворчавшие по поводу сношения Триумфальной арки или Сухаревой башни, теперь приумолкли. Одно с лихвой замещалось другим.

В декабре 1936 года свершилось событие, очень укрепившее позиции Иосифа Виссарионовича во всей стране. Была принята новая Конституция, которую тут же начали именовать Сталинской конституцией. Многим людям она принесла радость и облегчение. Была наконец отменена самая мерзкая разновидность дискриминации — дискриминация по происхождению, существовавшая с октября семнадцатого года. Нынешние люди послевоенного поколения даже не представляют себе, что такое «лишенцы». А ведь это было! Бывшие аристократы, купцы, предприниматели, офицеры, чиновники, служители культа, часть интеллигенции, а главное — члены их семей, их дети были лишены гражданских прав, как и члены семей «врагов народа», кулаков и подкулачников. Все они не имели права голоса на выборах, их не принимали на службу в государственные учреждения, не допускали учиться в специальные и высшие учебные заведения. Сколько талантливых девушек и юношей остались за стенами вузов! Какой-нибудь пропойца столяр мог безнаказанно облить помоями (в прямом и переносном смысле) детей царского офицера (совершенно невиновных, что родились в такой семье, как негр невиновен в том, что у него черная кожа). Воинствующий атеист, не боясь ответственности, мог дергать за бороду священника или переколотить стекла в его окнах. И тому подобное. А «лишенцев»-то у нас в стране были миллионы, два десятилетия чувствовали они себя недочеловеками, унижаемыми и беззащитными. Теперь Сталинская Конституция давала им политические права, они могли избирать и быть избранными во все органы Советской власти. Они могли учить своих детей. Их как равноправных граждан защищал суд. В лице этих людей, большей частью образованных, думающих, деятельных, Иосиф Виссарионович обрел надежную опору. Во всяком случае, превратил их из противников в активных или пассивных сторонников. И утвердил мою приверженность к нему.

Обрадовала Конституция и самостоятельных, крепких хозяев, энергичных мужиков, вчерашних кулаков и подкулачников, которые во множестве были выселены на Север. Умелые, хваткие работники, они быстро и основательно обжились в новых местах, трудились на многочисленных стройках, на заводах, на новых шахтах и рудниках. И по труду, в отличие от лодырей, получали хорошие деньги, числились в передовиках производства. Да плюс еще теперь гражданские права! Значит, детей поднять можно! Многие не жалели о том, что их силком оторвали от тяжелой, полуголодной крестьянской доли. Предложили бы ехать назад — не согласились. Они осваивали далекие богатые края, принося выгоду государству. Но русская деревня навсегда потеряла самых цепких, предприимчивых, неутомимых тружеников. Это было ощутимо и невосполнимо. А сейчас-то я хочу сказать, что даже зна-

чительная часть кулаков, пострадавших от Советской власти, связывала отныне с именем Сталина свою политическую реабилитацию, свое растущее благополучие.

Все достижения в стране, все улучшения жизни исходили от Иосифа Виссарионовича. А от кого же еще? Пропагандисты, как говорится, били в одну точку. Доверчивые добросовестные наши люди читали газеты, слушали радио. А там везде — Сталин, Сталин... С середины тридцатых годов восхваление Иосифа Виссарионовича по всем официальным каналам шло таким нарастающим путем, что мне иногда было даже неловко за него. стыдно ведь слушать, если при тебе о тебе говорят, какой ты умный, талантливый, добрый, сердечный. Остановить бы надо такого оратора, извиниться перед слушателями за его нескромность. Увы!

Частенько вспоминался мне приведенный ранее разговор Сталина с Орджоникидзе насчет концентрации, персонификации власти. Сотни лет, из поколения в поколение росла и крепла в народе вера в царя и в бога. Эта высшая сила решает все, руководит всем, в конечном счете отвечает за все. Просто и ясно в душе человека, когда он знает, что на небе есть бог, а на земле царь. Ты только делай свое дело, не переступай установленные заповеди, надейся на лучшее, и все зачтется тебе — если не на этом, то на том свете.

И вдруг народ остался без царя, без бога, без привычных жизненных правил. Советская власть — это, конечно, хорошо, да только уж очень расплывчато, неопределенно. Какие-то «цики», «вцики», «цека», «вчка», наркомы, совнаркомы — поди разберись. А кто же главный хозяин? Кто принимает решения, отвечает за их выполнение, наказывает нерадивых, защищает обиженных?! Кто могуч и справедлив, кому можно пожаловаться? Что уж говорить, даже образованным, демократически настроенным людям надоела тогда сложность, запутанность управления, надоело так называемое коллективное руководство, когда не найдешь концов: кто принял решение, кто его выполняет, с кого спросить за ошибки. Проголосовали, разошлись — решение есть, а спрашивать не с кого. Коллективная ответственность — это полная безответственность. А Сталин был реальным человеком, олицетворявшим власть. Он дал клятву у гроба Ленина идти намеченным курсом, так и шел, заботясь о простых людях, обо всех вместе и о каждом в отдельности. И как только времени хватает ему знать все, думать обо всем!

Людям нужен был новый кумир, новый символ. Осточертели споры, дискуссии, колебания, отсутствие определенности. Людям свойственно не только рассуждать, но и верить. И тяга к вере особенно сильна в переломные периоды истории, когда нарушены традиции, привычные связи, когда человек мечется, пытается определить свое место в происходящих событиях. Вот тут-то и нужен кумир, за которым можно идти без колебаний, с полной уверенностью в том, что он выведет в светлое царство. А другого политического деятеля такого масштаба, другого светоча такой силы, как Сталин, тогда не имелось. И если

требовался бог, то Иосиф Виссарионович был первым кандидатом на эту роль. И, понимая это, он старался делать все возможное, чтобы окружить себя соответствующим ореолом. Но и работал он с таким напряжением и самоотречением, с каким редко трудятся обыкновенные смертные. Он действительно старался вникать во все — от самого большого до самых малых подробностей быта. Трудно мы жили перед войной, после нее — многого не хватало, но строгий порядок был во всех звеньях. Сталин сам не оставался равнодушным к недостаткам и в людях не терпел безынициативности, лени, отсутствия горения. Он мог, например, снять трубку городского телефона, позвонить наркому связи:

— Здравствуйте. Вы читали сегодня газету «Труд»? Не читали? Вот как! Может быть, ваших работников каждый день критикуют в печати, а вы не обращаете на это внимания?.. Ах, обращаете... Почему у вас плохо работает справочное бюро? Почему телефонистки вашего коммутатора разговаривают грубо? Наведите порядок и доложите. Желаю вам спокойной ночи.

В результате можно было не сомневаться.

Я удивлялся широте познаний и интересов Сталина. Сегодня, например, заслушивался вопрос о снабжении продовольствием Дальстроя, осваивавшего Магаданскую область, золото Колымы. Сталин говорил о том, сколько стоит перевозка пуда хлеба морем через Владивосток, во что обходится доставка килограмма моркови или яблок. Называл фамилии агрономов, которые выращивают в условиях Колымы (в совхозах НКВД) лук, картошку, карликовые огурцы. Указывал на резервы оленеводства и рыболовства, на возможность создания птице- и свиноферм. Такое впечатление, что он всю свою жизнь занимался лишь этим делом. На столе в его кабинете я видел подшивку тоненького журнала, издававшегося в Магадане, стопку местных газет, пачку писем с Колымы.

На следующий день Иосиф Виссарионович столь же обоснованно, аргументированно говорил об Артеке, о необходимости превратить его в интернациональный пионерский лагерь. Еще заседание: он ставит на обсуждение вопрос о строительстве новых сахарных заводов на Украине. Об укреплении южной границы. И так далее, и тому подобное. Я не намереваюсь рассказывать об этой, достаточно известной стороне деятельности Иосифа Виссарионовича. В архивах сохранились, наверное, соответствующие протоколы, решения. Добросовестный исследователь может найти и использовать их. А мой долг — говорить о том, что не отражено в бумагах, что забывается или уже забыто: о той подводной части айсберга, о той стороне жизни Иосифа Виссарионовича, которая была скрыта для посторонних, о которой зачастую даже не знали близкие к нему люди.

Еще раз хочу повторить: он был великолепный труженик, он работал на износ. Работал и днем, и ночью. По какому-то делу он пригласил меня в полдень. Я поразился, увидев его. Бледное, испитое лицо, словно неподвижная маска: одутловатые щеки, опухшие глаза. Иосиф Виссарионович стоял у окна какой-то

кособокий, изломанный, несчастный. Каждый человек в минуты усталости, духовного упадка может выглядеть очень скверно. А Сталин выглядел так не минутами, а часами и днями. Я тогда подумал мимолетно, что его надобно одеть в жесткий, подтягивающий, выпрямляющий военный мундир. А вслух сказал:

— Прошу подойти к зеркалу.

Он послушно подошел. Диковато, удивленно разглядывал себя. Провел пальцами по щеке, а в глазах было удивление: неужели это он?

— На кого вы похожи? — укоризненно произнес я.

— На ночное страшилище?! — усмехнулся он. — На бледного вурдалака?

— Ответы оставьте при себе, Иосиф Виссарионович. Вам нужен немедленный отдых. По праву старого друга беру командование на себя. Все в сторону! Едем за город. Там скучает моя дочка. Едем немедленно.

Сталин молча, удрученно последовал за мной.

Чудесно провели мы день в лесу за Калчугой. Собирали землянику. Очень много было черники. Попадались какие-то ни ему, ни мне не известные грибы. Иосиф Виссарионович обнаружил возле дороги высокий удивительный боровик и минут пять любовался, сидя возле него на траве, пока не надоели комары. На краю леса, откуда открывался вид на Знаменское, мы подремали в стогу свежего сена. Потом прошли до Москвы-реки, поднялись на Катину гору, не спеша вернулись по вечернему лесу домой. Поужинали с сухим вином. В двадцать три Иосиф Виссарионович лег спать и — чудо! — отдыхал до одиннадцати часов утра. Такого еще не бывало. Он ограничивался обычно шестью часами.

Каким бодрым, веселым, полным сил и юмора был он на следующий день! И как я жалел, что нет у него любимой и любящей женщины, способной установить нормальный режим, берегающий его здоровье, сохраняющий его психику! Ах, сколько вреда он не принес бы в таком случае, какую пользу людям сослужил бы его талант!

В повседневной работе Иосифа Виссарионовича мне хочется отметить две особенности. Это, как я уже говорил, тщательная, всесторонняя подготовка к любому вопросу. Он чувствовал себя хозяином всей страны, опасался чего-либо не учесть, пропустить, ошибиться. Уж если речь шла об освоении Северного морского пути, то Сталин знал не только историю этой великой эпопеи, ему известны были все основные экспедиции, все полярные станции, фамилии многих радистов, летчиков, капитанов и штурманов северных судов. Он держал в памяти технические данные ледоколов, количество потребных грузов, горючего... Я часто жалел, что по всем другим вопросам у него нет такого надежного, абсолютно доверенного советника, такого специалиста, каким был я в военных делах. Я разгружал в этой важнейшей работе его память, снимал напряженность. Но если у него появился бы еще один такой же тайный советник, я бы, вероятно, не смог справиться со своей ревностью. Вообще-то я знал, что Сталин советуется по многим другим вопросам с различными людьми. Но с тем, что было особенно дорого и важно ему, что не должно было

получить огласки, он обращался только ко мне. И я ценил это превыше всего.

Так вот. Сам, в общем-то, дилетант (никто не может охватить все), Иосиф Виссарионович терпеть не мог дилетантизма у специалистов. Уж если ты обязан знать свое дело, так знай его досконально. Если Сталин видел, что специалист не готов давать четкие и ясные ответы — горе такому верхогляду, как бывало при Петре Первом. Никакие помощники, замы, референты не способны были помочь такому руководителю. Не знаешь, не можешь — катись ко всем чертям! На Колыму, пустую породу снимать с золотоносных жил! Вот поэтому и ответственность во всех линиях была высока, и государственный аппарат работал четко, без сбоев. Надо сделать — будет выполнено в лучшем виде, — вот и весь разговор. Когда и как — категории третьестепенные.

Сталин охотно выслушивал мнение знающих специалистов, даже если оно не совпадало с его мнением, с его замыслами. Взвешивал шансы «за» и «против», исследовал, изучал ситуацию с разных точек зрения. Учитывая при этом, что выгодно ему, а что не надобно. Потом выносил решение, которое являлось категорическим, окончательным, хотя, может, и не всегда правильным. Но кто способен сказать, какое решение верное, а какое ошибочное, пока не пройдет много лет, пока не восторжествует объективная истина? Хуже нет, если решения и постановления, даже самые правильные, не осуществляются или осуществляются наполовину. Это разлагает всех, и народ, и исполнителей законных решений, давая возможность сомневаться, варьировать, делать снисхождения.

Я знал много, очень много людей, занимавших высокие государственные и партийные должности. Чем они поражали меня? Своей обычностью, заурядностью, даже ограниченностью. Заурядность — это вообще всемирная болезнь руководящих деятелей нашего времени. Никто не хочет, чтобы правила яркая личность, все желают, чтобы у руля находился средний человек, выполняющий задания избранной благоденствующей группировки, стоящей за его спиной.

Конечно, Иосиф Виссарионович был менее образован, менее интеллигентен, менее умен и гибок, в хорошем понимании этого слова, чем Ленин, но он, во всяком случае, не был заурядным, выделялся широтой интересов, эрудицией, работоспособностью среди других партийных и государственных деятелей. Меня он, например, просто удивлял иногда совершенно неожиданными вопросами и поручениями. В июле тридцатого года пригласил к себе:

— Николай Алексеевич, выезжайте завтра в Воронеж. Там намечено провести первое десантирование наших парашютистов. Будут сброшены двенадцать человек и упаковки с вооружением, вплоть до ручных пулеметов.

— Я не очень разбираюсь в том, что связано с авиацией.

— И я не специалист по воздухоплаванию, — сказал Сталин. — А это значит, что мы с вами смотрим и воспринимаем одинаково. У авиации большое будущее, Николай Алексеевич, особенно в военном деле.

Обратите там внимание на конструкцию парашюта. Он должен быть прост, доступен для массового использования и надежен. Подумайте о возможных действиях парашютистов в тылу противника.

Пришлось ехать. В подобных случаях, в зависимости от обстоятельств, я был либо в составе комиссии, либо рядовым членом инспектирующей группы — кем угодно, только не посланцем Сталина. Мне надлежало видеть и знать не парадную, показную, а реальную, будничную сторону дел. Иосифа Виссарионовича интересовало это, а не торжественный отчет, материал для газет.

Испытания под Воронежем прошли нормально. Погода стояла ясная, безветренная. Одна группа десантников выбросилась с высоты триста метров, другая — пятьсот. Все были вооружены наганам. Затем с трех самолетов сбросили на парашютах груз, бойцы разобрали карабины, гранаты, пулеметы, патроны. На мой взгляд, все делалось быстро, организованно. Только пулеметы были облегченные, старой системы, которые использовались в кавалерии. Требовалось увеличить огневую мощь десантников, ведь им предстояло действовать изолированно, без поддержки соседей. Об этом я и доложил Иосифу Виссарионовичу в присутствии наркома обороны Ворошилова. Должен заметить, что Климент Ефремович без всякого энтузиазма отнесся к новшеству. Однако 24 октября того же года Реввоенсовет страны, по предложению Сталина, разослал на места приказ о развитии воздушно-десантного дела.

Или вот год 1933. Иосиф Виссарионович, пригласив меня, поздоровался и указал на кресло, а сам продолжал телефонный разговор с Ленинградом, сделав жест: «слушайте». Скоро я уяснил суть. В кругах белоэмигрантов за рубежом, особенно в Польше, распространялись слухи о том, что в Ленинграде, в склепе Казанского собора, погребен лишь бальзамированный труп фельдмаршала Кутузова, а сердце его, дескать, осталось в Бунцлау (по-польски — Болеславец), где замечательный полководец скончался и где родственники поставили ему памятник. Теперь в западной печати замелькали снимки этого памятника с подписями: «Здесь лежит сердце Кутузова», «Сердцу патриота не место в Совдепии» — и тому подобные пропагандистские мерзости. Иосиф Виссарионович посоветовал Кирову создать авторитетную комиссию во главе с известным ученым В. Г. Богораз-Таном, вскрыть склеп и выявить истину. Сделать это без огласки. Важно иметь точные, неопровержимые данные.

Я не входил в состав комиссии, но с одним ленинградским чекистом присутствовал при обследовании саркофага. Вместе с группой ученых (пять-шесть человек) и тремя рабочими спустились в подвал Казанского собора, в подземелье, где воздух был сухим, чистым. Совершенно не ощущалось запаха плесени или тлена. Рабочие разобрали с одной стороны кладку склепа. Посреди его оказался невысокий постамент, на котором и покоился саркофаг.

Очень осторожно была сдвинута крышка. Два ощущения боролись во мне. Было чудом, великим счастьем увидеть останки человека, чье имя чтит вся

Россия, которого весь мир знал, как победителя Наполеона. И страшно: а вдруг останки Кутузова за сто с лишним лет настолько истлели, что рассыплутся, обратятся в пыль от нашего вмешательства?..

Тело, несмотря на бальзамирование, действительно истлело, это был прах, слежавшийся настолько, что еще сохранил первоначальную форму. Зато цилиндрический серебряный сосуд в изголовье совершенно не поддавался времени, металл лишь потемнел.

Наверное, это было кощунством: без предварительной подготовки, без дезинфекции вскрыть сосуд. Но никто из нас не решился бы изъять его из захоронения, отнести в лабораторию, привлечь к исследованию новых людей — могла нарушиться секретность. Да и любопытство подталкивало нас. Один из ученых взял сосуд в руки, с очень большим трудом отвернул крышку. Внутри была прозрачная жидкость, а в ней — хорошо сохранившееся сердце, почти не потерявшее естественный цвет.

Все по очереди заглянули в сосуд, стараясь недохнуть туда. Потом завинтили крышку, опустили сосуд на прежнее место. Рабочие восстановили положение саркофага, заложили стену склепа.

Акт вскрытия был составлен немедленно и подписан членами комиссии. Было два или три экземпляра, и все с подписями. Один из этих экземпляров я положил на стол Иосифа Виссарионовича, высказав при этом пожелание не ввязываться в грязную кампанию, которую подняли наши противники за рубежом. Недостойное это дело — спекулировать памятью великого полководца. Пошумят — и умолкнут. А наши руки должны быть чистыми.

— Согласен, — сказал Сталин. — Мне это тоже не по душе... Только в случае крайней необходимости...

Насколько я помню, такой необходимости, к счастью, не возникло, акт о вскрытии не был обнародован. Если кто знает о нем, то лишь специалисты-историки, занимающиеся изучением Кутузова.

Это — прошлое. А вот случай с Мамлакат. Помните известную фотографию: улыбающийся Иосиф Виссарионович, этакий добрый, заботливый папаша, вместе с круглолицей смуглой девочкой, у которой косички были заплетены по таджикскому обычаю, на груди — орден Ленина. Всю нашу страну, все другие цивилизованные страны облетел этот снимок. Светлана Сталина говорила как-то, спустя время, уже будучи студенткой: «Какой он тут радостный, а со мной ни одного хорошего снимка нет!» Тон был шуточный, но горечь улавливалась.

Одиннадцать лет было Мамлакат, девочке из многодетной семьи, когда она стала стахановкой. Школьники ходили собирать хлопок, пионерское звено создали, помогая взрослым. Детям даже удобнее было собирать: сорта низкорослые, наклоняться не нужно. Так вот, если дяди и тети брали за день по пятнадцать — двадцать килограммов, то проворная Мамлакат, приспособившись работать двумя руками, успевала собирать по восемьдесят килограммов! Люди не верили, приходили смотреть, из соседних колхозов приезжали, из столицы республики. А она заявила: буду собирать по сто килограммов в день, и добились-таки

своего, феноменальная девочка! Слава пришла к ней. А она продолжала наращивать темпы и установила рекорд, собрав руками за рабочий день триста килограммов хлопка! Ее возили в Москву, в Ленинград, в Артек, она стала первой в стране пионеркой-орденоносцем!

Все это хорошо, да только отразилось перенапряжение на здоровье девочки. Лучшие врачи Таджикистана сделали ей операцию. А Иосиф Виссарионович, обеспокоенный состоянием Мамлакат, попросил меня проследить за дальнейшей жизнью ударницы. Потом время от времени, даже в военные годы, вспоминал и спрашивал о ней. Мамлакат училась в лучшем интернате республики, овладевала в институте иностранными языками. Все у нее шло нормально. А Иосиф Виссарионович уже незадолго до смерти, перебирая в разговоре события минувших лет, поинтересовался, чем занимается Мамлакат, вышла ли замуж, есть ли дети.

Я успокоил его.

Были такие вопросы, задавать которые кому-либо, кроме меня, Сталин считал по каким-то причинам неудобным, может быть — не этичным. Незадолго до войны он обратился ко мне:

— Николай Алексеевич, выясните без лишних разговоров, где и кем служил Гитлер в шестнадцатом году, в ту пору жизни, когда я был мобилизованным ополченцем.

Надо сказать, что наша заграничная разведка тогда работала гораздо лучше контрразведки, избалованной и ослабленной избиением собственных кадров, не скрывавшихся и не оказывавших сопротивления. Так что нужные сведения я получил быстро.

— Австриец Адольф Шикльгрубер-Гитлер не желал служить в австрийской армии, в конце шестнадцатого года поступил добровольцем в шестнадцатый пехотный полк шестой баварской дивизии, которая размещалась в западных районах Германии и в восточных районах Франции. Отмечено пристрастие к политическим разговорам и к пиву. По неподтвержденным данным, в районе дислоцирования остался его ребенок. Позже Гитлер иметь детей не мог в связи с ранением в мошонку. Кроме того, в восемнадцатом году он был отравлен французским газом, на некоторое время утратил зрение...

— Какого пола ребенок? — проявил интерес Сталин.

— Не выяснено.

— Какое звание имел Гитлер?

— Ефрейтор.

— А я был рядовым. Невелика разница, — усмехнулся Иосиф Виссарионович, думавший о чем-то своем. И вдруг произнес: — Исторические параллели опасны, очень опасны.

Я так и не понял, зачем ему потребовались эти сведения и это сравнение. Ну, вообще-то, чем больше знаешь, тем лучше.

Примерно в то же время или немного раньше, в тридцать восьмом году, меня срочно вызвали вечером в Кремль, на квартиру Сталина. Поднялся к нему на второй этаж, оставив шинель в небольшой, отделанной деревом прихожей. Он вышел встретить,

пригласил не в кабинет, а в спальню — был нездоров, простужен. Вероятно, принял лекарство: на столике лежали таблетки и стоял почти пустой стакан. Поверх серого френча набросил на плечи одеяло, сняв его с койки. Знобило, значит. Я мысленно выругал Валентину Истомину, оставившую Иосифа Виссарионовича без догляда. Ей больше нравилось хозяйничать на Дальней даче, где находились дети. Но там и без нее народу было достаточно.

Много говорилось о пуританском образе жизни Сталина. Это, в общем-то, верно. Одевался он скромно, полувоенно, носил солдатскую шинель. Старая сибирская шуба была у него от одной германской войны до другой. Спал на жесткой койке, мебелью пользовался самой необходимой, в пище не был требовательным, капризным. Но шло ли это от его натуры? Не всегда. Он и поесть любил вкусно, и бутылочку муската «Красный камень» мог осушить с удовольствием, и вареньем из грецких орехов лакомился с удовольствием. Пока жива была мать, она часто присылала из Грузии фрукты и это варенье, особенно нравившееся ему. Дары щедрого края не переводились у Иосифа Виссарионовича и потом, когда не стало матери, но он как-то охладил к ним. Не из родных рук — вкус, что ли, был не тот?

Из русских блюд любил уху и щи. Но, занятый делами, размышлениями, питался нерегулярно, когда и как придется, нарушая режим. Ел ночью, перед сном, что считается вредным. Валентина Истомина просто не способна была навести порядок в этом отношении.

Поразительный факт: человек, который мог иметь все, к услугам которого была целая страна, являвшийся в определенном смысле самым богатым в мире, — этот человек не имел тех элементарных удобств, той заботы и уюта, какие есть почти у каждого семейного гражданина. А Сталин с молодых лет не знал семейного уюта, мало видел ласки и постепенно привык к этому, выработал свои правила и привычки, от которых ему трудно было бы отказаться даже в случае необходимости. Но и ее, необходимости этой, не возникало. Валентина Истомина едва успевала «держаться» кремлевскую квартиру, Кунцевскую и Дальнюю дачи, вести обширное хозяйство, заботиться о детях Сталина, об их учебе. Да и родственники Надежды Сергеевны еще требовали внимания, особенно ее мать. Вот и носилась Валентина за город и обратно. А других женщин Иосиф Виссарионович не допускал тогда в свои дела и в свою личную жизнь.

Итак, Сталин в тот вечер был нездоров и явно раздражен чем-то. Едва поздоровавшись, сказал:

— Вы артиллерист. Не помните ли такую фамилию — Никитин?

— Полковник Никитин? — спросил я, собираясь с мыслями. Время было такое, что одно неаккуратное слово могло причинить кому-то большие неприятности. — Полковник Никитин весьма порядочный человек, из потомственной офицерской семьи. Десять поколений Никитиных служили в полевой артиллерии, а это значит — воевали на передовой.

— В этом и есть его особая порядочность? — усмехнулся Сталин.

— Корни, Иосиф Виссарионович, на многом отражаются. Вот вам факт, получивший среди артиллеристов широкую известность. Полковник командовал на германском фронте двадцать третьей артбригадой. А его сын, подпоручик Владимир Никитин, закончивший Михайловское артиллерийское училище, по воле случая был направлен командиром огневого взвода как раз в эту бригаду. И что вы думаете, отец выделял сына, создал ему какие-то условия? Он всегда и неукоснительно ставил взвод Владимира на самый ответственный рубеж. Отцу тяжело было испытывать судьбу, но совесть его чиста. Кстати, и отец, и сын сражались потом в Красной Армии.

— Да, — сказал Сталин, — полковник Никитин возглавлял после революции воздушную оборону Петрограда. Но меня интересует молодой Никитин — инженер, кораблестроитель. — Иосиф Виссарионович тронул какие-то листки на столе.

Выслушав мои похвальные отзывы о Никитиных, Иосиф Виссарионович подобрел, ослабло его раздражение. Словно продолжая спор с каким-то оппонентом, начал говорить о том, как важно нашей стране иметь свой «большой флот». Кто имеет армию, имеет одну руку; кто имеет армию и флот, у того две руки, — привел он известный афоризм. А мы должны, мы обязаны иметь все для своей защиты.

Я высказал полное согласие.

— У нас мало средств, у нас очень мало средств, это верно, — продолжал Сталин, кутаясь в одеяло. — И все же есть такие заботы, на которые мы не можем жалеть денег. Сэкономим, недоедим, по копейке соберем среди народа, а «большой флот» создадим! Немцы строят мощные линкоры «Тирпиц» и «Бисмарк». Очень сильные линкоры, но нам они не страшны. У нас заложен и строится «Советский Союз» — самый могучий линейный корабль в мире. Он преградит путь «Тирпицу» и «Бисмарку». Но что мы будем делать с линейными крейсерами Гитлера? У них сильное вооружение и очень большая скорость. Нам нужен такой же тяжелый крейсер, даже сверхтяжелый крейсер, который будет способен догнать германские крейсера и потопить их... Спроектировать и построить его необходимо в самый короткий срок. За несколько лет. Наша промышленность выдержит теперь такую нагрузку. А проектировать и строить тяжелый крейсер «Кронштадт» мы поручим вашему потомственному артиллеристу Владимиру Никитину.

— Не знаю, какой он конструктор, — сказал я.

— Вы что, как некоторые сверхбдительные товарищи, возражаете против этой кандидатуры?

— Ни в коей мере. Но я могу рекомендовать Никитина только как артиллериста и честного человека.

— Он давно уже стал кораблестроителем. Он создал очень хорошие сторожевые корабли типа «Ураган», и они теперь надежно служат на всех флотах. Под его руководством создан самый быстроходный в мире лидер «Ленинград». Сорок три узла на ходовых испытаниях. На шесть-семь узлов больше, чем

лучшие зарубежные корабли этого класса с подобным вооружением. И такого человека хотели заменить другим только потому, что тот, другой — от станка... Черт знает что делают, — вновь начал злиться Иосиф Виссарионович.

Чтобы успокоить его, я поторопился сказать:

— Ну, если дело в надежных руках, значит — с богом!

— Да, начнем. К сорок пятому году Страна Советов будет иметь свой «большой флот»! — твердо и даже торжественно произнес Сталин.

Через несколько дней конструктор был вызван к Иосифу Виссарионовичу. Я пораился, когда увидел стройного, с хорошей выправкой человека средних лет. Владимир был так похож на отца, что у меня сдвинулось ощущение времени и я едва удержался, чтобы не обратиться к инженеру как к давнему хорошему знакомому. Штатский костюм — вот что удержало меня. Старшего-то Никитина я знал только в форме.

Впервые, пожалуй, пожалел я тогда, что нет у меня сына, такого вот продолжателя моих дел и замыслов.

Ну а корабли строились. Причем хорошо и быстро. Увы — война помешала спустить их на воду. А окажись они в море, ни один вражеский корабль не смог бы тогда соперничать с «Советским Союзом» и «Кронштадтом».

Хорошо, конечно, иметь сыновей-наследников, но опять же смотря каких. Иосиф Виссарионович редко и весьма сдержанно говорил о своих отпрысках. Яков Джугашвили, живший в Ленинграде, успел дважды жениться, и оба раза неудачно: второй раз — особенно неудачно, с точки зрения Сталина. После первой свадьбы быстро выяснилось, что любви нет, что брак — ошибка, молодая чета распалась тихо и безболезненно. Вполне возможно, что Яков тогда не поборол еще в себе память о Надежде Сергеевне, всех других невольно сравнивал с ней, и сравнения эти были не в их пользу. Надежда Сергеевна, конечно, была женщина незаурядная, да ведь еще и ее опыт, и то почтение, которое испытывал к ней Яков...

Если к первому браку сына Иосиф Виссарионович отнесся равнодушно, то вторая женитьба встревожила его, вызвала сомнения и подозрения. Дело в том, что танцовщица Юлия Исааковна Мельцер была видной, красивой еврейкой. Чем прельстил ее щуплый, мешковатый Яков, почему пошла за него, развалив благополучную семью, бросив мужа? Позарилась на то, что отец занимает высочайший пост: обеспеченность, не мытьем, так катаньем внедриться в святая святых, проникнуть в высший эшелон власти?!

Иосиф Виссарионович не был юдофобом, у меня язык не повернется назвать его так. Он ровно, одинаково относился ко всем нациям и народностям, никого не выделяя и не охаявая. Но надо уяснить вот какой оттенок. Почти всю свою сознательную жизнь Сталин вынужден был сражаться с троцкистами, с другими оппортунистами и ревизионистами, пытавшимися захватить господствующие посты в партии и государстве. Сталин, характер которого не отличался гибкостью, считал всех этих людей такими же вра-

гами, как и приверженцев буржуазного строя. А подавляющее большинство троцкистов были евреями.

В семнадцатом году Троцкий и его компаньоны, примчавшиеся на готовенькое из-за рубежа, шустро понасажали всюду своих людей, оттеснив членов партии, работавших в подполье в собственной стране. Таких, как Сталин, Калинин, Андреев, Ворошилов, и многих-многих других: они оказались вроде бы чернорабочими или подмастерьями в революции. Давайте посмотрим, что представлял собой **Совнарком** в первые месяцы Советской власти. Русских — 2 (Ленин и Чичерин), армянин — 1, грузин — 1, евреев — 18... **Военный комиссариат**, возглавляемый Троцким. Русских — нет, латыш — 1, все остальные (34 человека!) евреи. **Наркомат внутренних дел** (карательные органы) — все евреи. **Наркомат финансов**. Из 30 человек 26 евреев. **Наркомат юстиции** — 18 евреев.

Скажите, можно было считать такое положение нормальным? Что это, если не экспансия мирового сионизма?! Вполне естественно, что когорта Сталина вела ожесточенную войну с Троцким и троцкизмом за право народов, населявших Россию, самим определять свою судьбу. Хочу подчеркнуть, борьба велась не с евреями, нет! Каждый человек воспринимался по своим достоинствам, у многих товарищей, у Куйбышева, Ворошилова, Молотова, Андреева, Кирова жены были еврейками. Это ничего не значило. Война шла с сионизмом, который проявлялся в деятельности троцкистов, и прежде всего в устремлениях и поступках самого Льва Давидовича. Вопрос, как мы помним, все более обострялся: у власти либо Сталин со своими соратниками, представителями разных народов страны, либо Троцкий с сионистским шлейфом, расширявшимся за его спиной до всемирных масштабов. Третьего пути не было.

Иосиф Виссарионович вроде бы одержал победу над Троцким. Но был ли успех полным? Отнюдь. Многотысячная масса тайных и полуявных сторонников Льва Давидовича сохранилась в партии, они пронизывали государственный аппарат, цепко поддерживая друг друга, влияли на хозяйственное, научное, культурное развитие. Если сделать срез самого высокого руководящего звена, то картина вырисовывалась весьма занятная, не очень-то изменившаяся по сравнению с первыми послереволюционными месяцами. В 1936 году из числа 115 членов **Совнаркома** неевреев было лишь 18. **ЦК ВКП(б)** евреев — 61, неевреев — 17, с неустановленной национальностью — 7 человек. В **Госплане** евреев — 12, неевреев — 3. **Печать** — все двенадцать центральных газет и журналов возглавляли евреи. Удивительное, ни с чем не сравнимое, я бы сказал — потрясающее положение сложилось в органах ГПУ, затем НКВД, особенно при Гершеле Ягоде. В 1936 году в составе высшего руководства этого ведомства было 14 евреев и лишь 6 представителей других национальностей.

В личном сейфе Иосифа Виссарионовича хранился список (не знаю, кем составленный) руководящих работников карательных органов того периода, когда этот орган возглавлял Ягода. Особо подчеркивалось, что почти весь начальствующий состав — выдвиженцы

Ягоды. И почти против каждой фамилии пометка — еврей. Рано или поздно все становится известным. Ради справедливости люди, пострадавшие в годы репрессий, или их потомки должны узнать фамилии тюремщиков, насильников, палачей. Вот они (все — сионисты).

Непосредственные помощники Ягоды по его ведомству. Цитирую: начальник хозяйственного отдела — Миронов Л. Г. Начальник особого отдела — Гай М. И. Начальник заграничного отдела — Слуцкий А. А. Начальник транспортного отдела — Шанин А. И. Начальник антирелигиозного отдела — Иоффе И. Л. Начальник уголовно-следственного отдела — Вуль. Начальник главного управления внутренней безопасности — Могилевский Б. И.

В главном управлении лагерей и ссыльных пунктов ГПУ (НКВД) работали: начальник Управления — Берман Я. М., его заместитель — Фирин С. Я. Начальник по Украине — Кацнельсон С. Б. Начальник лагерей Карелии — Коган С. Л. Начальник лагерей Северной области — Финкельштейн. Начальник лагерей Соловецких островов — Серпуховский. Начальник лагерей в Казахстане — Полин. Начальники лагерей в Западной Сибири — Шабо, Гогель. Начальник спецлагеря в Верхнеуральске — Мезенец. Начальник лагеря в Ленинградской области — Заковский. Начальник лагеря в Азово-Черноморском районе — Фридберг. Начальник лагеря в Саратовской области — Пиляр. Начальник лагеря в Сталинградской области — Райский. Начальник лагеря в Горьковской области — Абрампольский. Начальник лагеря на Северном Кавказе — Файвилович. Начальник лагеря в Башкирии — Зелигман. Начальник лагеря в Восточно-Сибирской области — Троицкий. Начальник лагеря в Дальневосточном районе — Дерибас. Начальник лагеря в Среднеазиатском районе — Круковский. Начальник лагеря на Украине — Белицкий. Начальник лагеря в Белоруссии — Леплевский (в его ведении находилось урочище Куропаты).

Тут, конечно, неполный список. Всего около 95 % лагерных начальников были лицами еврейского происхождения. Эти должности приносили огромные доходы взятками с родственников заключенных за улучшение режима, за начисление зачетов, за досрочное освобождение и т. п. Не говоря уж о том, что сии лица выполняли истребительные обязанности, предусмотренные всемирным Сионом.

Много времени спустя, в шестидесятых годах, когда появились термины «культ личности Сталина» и «сталинизм», я, вспомнив этот список и деяния троцкистов, еще раз подумал о том, что неправильно валить на Иосифа Виссарионовича всю вину за массовое избиение руководящих кадров. Кто больше повинен в этом: сталинизм или сионизм? Во всяком случае, именно сионисты создали пресловутый ГУЛАГ, «прелести» которого им самим потом довелось испытать.

Еще показательный нонсенс. В тридцатых и сороковых годах более половины преподавателей русского языка, литературы и истории в городских школах европейской части РСФСР были иудеями. Вы мо-

жете представить себе: в школах Тбилиси историю Грузии, грузинский язык и литературу преподают, скажем, русские, или украинцы, или казахи? Я не могу. Да и зачем? Лучше всех знают и любят свою историю, свой родной язык в Грузии грузины, в Узбекистане — узбеки. Это естественно. Так почему же, для чего преподавать русским детям русскую историю и русский язык брались представители совершенно иного народа, не имевшие ничего общего с русской культурой? Да потому, что язык, литература, история — это идеология, это нравственный фундамент общества. Как направишь людей с малолетства, так они и пойдут. История есть политика, опрокинутая одной стороной в прошлое, а другой нацеленная в будущее... «Оккупировав» русские школы, сионисты готовили покладистые, разоруженные поколения, которые послужат им в будущем. И не ошиблись. Служат. Увы, — посмотри на себя!

Народившееся у нас тогда же искусство кино оказалось почти полностью в руках сионистов. Господствующие высоты удерживали они и в музыке, в журналистике. Видный деятель народного просвещения Луначарский наставлял педагогов: «Пристрастие к русскому языку, к русской речи, к русской природе... это иррациональное пристрастие, с которым, быть может, не надо бороться, если в нем нет ограниченности, но которое отнюдь не нужно воспитывать». На практике это означало: забыть о Родине, о патриотизме. Многие последователи Луначарского этим и руководствовались, зачеркивая, охаивая все русское. Вот и выросли целые поколения, лишенные национальных корней, национального самосознания, способные продаться за красивые тряпки, готовые плясать под одуряющий грохот дешевой западной музыки.

Правильно сказано: какие песни слышишь в детстве, такие поешь всю жизнь!

Сионисты-троцкисты, не изменив своей сущности и своих целей, приспособились к новой обстановке, ожидая момента, чтобы проявить себя. Если бы Сталин покачнулся, они бы свалили и добились его. Вызывали бы из дальних палестин своего кумира Льва Давидовича, а уж он огнем и кровью истребил бы сторонников Сталина, повернул бы государство на свой курс. Во всяком случае, так считал Иосиф Виссарионович, постоянно, почти физически ощущавший существование Троцкого. Не мог Сталин оставаться спокойным, пока главный соперник обретался в подлунном мире: везде и всюду чудились его козни.

Сталин знал, что одним из способов проникновения в руководящую верхушку государства, надежным средством, открывающим доступ к богатству и силе, сионисты считают смешанные браки. Еврейки должны выходить замуж за аборигенов, облеченных высокой властью. Вообще — за хозяйственных, военных, политических работников, деятелей культуры. Будут влиять на них соответствующим образом. Пусть евреи женятся на девушках из семей местной элиты и сами становятся членами этой элиты. Ребенок еврея будет носить фамилию отца. Он свой. А дети, рожденные еврейкой от любого брака, — свои не только по духу,

но и по крови. Они — лучшие проводники сионизма в странах обитания.

Примерно к тому же сроку относится добросовестная, хоть и несколько наивная попытка Сталина радикально решить у нас еврейскую проблему. Почему местное население обычно недолюбливает евреев? Да потому, что они не сеют, не пашут, не стоят у станков, то есть не создают материальных ценностей, зато активно пользуются ими и «распределяют» их, занимаясь торговлей, спекуляцией, администрированием, развлечением доверчивого народа. Вот и решил Сталин дать евреям возможность полностью сравняться с коренным населением наших республик, организовать для иудеев то, чего они были лишены многие века — землю обетованную.

Далеко на Амуре, никому не в ущерб, была выделена обширная территория с плодородной почвой, с неплохим климатом. Пожалуйста, отправляйтесь в Биробиджан, в Еврейскую автономную область, селитесь там, выращивайте хлеб, стройте заводы, производите материальные ценности, живите в свое удовольствие, сохраняя национальную культуру, традиции, язык. Издавайте свои журналы, газеты, книги.

Справедливо это? С точки зрения Сталина — да. Но подавляющему большинству евреев такая инициатива пришлась не по вкусу.

Поехали в Биробиджан некоторые энтузиасты, поехали неудачники, желавшие обрести постоянное пристанище. Но таких оказалось немного, Иосиф Виссарионович намеревался принять некоторые меры, чтобы увеличить поток переселенцев, однако тут произошел казус, охладивший стремление Сталина. Распространилось известие о том, что японцы тоже намерены создать или уже создают некое подобие еврейского государства в оккупированной ими Маньчжурии, на противоположном берегу Амура. Приглашают туда еврейские семьи со всего мира, обещая очень хорошие условия.

Не дай бог такого соседства! Для чего понадобилось японцам выделять территорию, расходовать средства, добавлять себе лишние заботы? В чем подвох? Поразмыслив, Иосиф Виссарионович пришел к выводу: существование двух еврейских республик (или областей) выгоды нам не принесет. Это опасно. Со временем они могут потребовать слияния, отделения. И вообще, взаимопроникновение у евреев с трудом поддается контролю, связи у них прочны и незримы. Они, как невидимые частицы, пробивают любые преграды, образуя отверстия в любой пленке. Тут тебе и шпионаж, и контрабанда, и утечка ценностей — целый букет непредвиденных последствий.

Рассудив таким образом, Иосиф Виссарионович перестал заботиться о дальнейшем заселении Биробиджана. Кто уехал, тот и остался там. Даже фильм был снят о том, как дружно ловят они рыбу на Амуре. И песня в фильме была: «На рыбалке, у реки, тянут сети рыбаки...» Однако ни кино, ни оптимистическая песенка не могли привлечь новых переселенцев.

Охладели к своей идее и японцы. Может, не нашлось иудеев, желавших селиться в далекой

Маньчжурии, может, помешали военные события в Китае и на Халхин-Голе. В общем, еврейское государство на Дальнем Востоке так и не появилось. Оно возникло лишь после второй мировой войны, возобновившись там, где существовало много веков назад — на берегу теплого Средиземного моря.

Вернемся, однако, к детям Иосифа Виссарионовича. Женитьба Якова на Юлии Мельцер отнюдь не способствовала улучшению взаимоотношений между Яковом и отцом. Иосиф Виссарионович, как мы уже говорили, усмотрел в этой акции подвох. «Ее подставили!» — считал он.

Младший сын Василий тоже далеко не всегда радовал Сталина. Как все, вернее, почти все «кремлевские дети», занимался он в московской опытно-показательной школе имени Лепешинского, что во 2-м Обыденном переулке на Остоженке. Сокращенно — МОПШК. Учеников ее по всей округе называли, дразнили «мопсами». И «мопс» Васька Сталин пользовался не лучшей славой.

Трудно было в той школе учителям, но еще труднее — директору. Однако немало лет с этой обязанностью успешно справлялся очень требовательный, справедливый и по-своему добрый человек — прибалт Микельсон. Пожалуй, главным достоинством этого педагога было то, что для него существовали только дети, а положению их родителей он не придавал никакого значения. По крайней мере старался не придавать. Он и с Василия Сталина требовал, как с других, но при всем опыте справиться с разболтанным подростком было выше его сил.

В отличие от скромной Светланы, у которой превалировала внутренняя, духовная жизнь, Василий рано осознал свое особое положение, свою неуязвимость. К тому же преждевременно в нем проснулось половое влечение, и, как бывает зачастую в таких случаях, не находя естественного выхода, половая озабоченность проявлялась у него в самых непривлекательных формах.

Если подросток драчлив, норовист, непослушен — это еще так-сяк. Издержки трудного возраста. Если он разбивает футбольным мячом стекла, даже нарочно, — с этим тоже можно смириться, хотя лучше бы наказать. Плохо, когда юноша нагл, высокомерен в общении с товарищами, с педагогами. И уж совсем скверно, труднопоправимо презрительно-похабное и в то же время трусливо-любопытное отношение молодого человека ко всему, что связано с другим полом. А у Василия с малых лет возникло, а с годами окрепло неуважительное, хамское отношение к женщинам.

Я уже упоминал: летом Василий подсматривал, как купаются, переодеваются его сестра и подружки, как уходят с пляжа в кусты по своим делам женщины и девочки. Это была какая-то мания, он даже в школе при удобном случае преследовал девушек там, где совершенно бессовестно было подглядывать.

А какие пакости срывались с его языка! Скажет школьнице мерзость и с нагло-настороженным любопытством смотрит, как мучительно краснеет, теряется ошеломленная и униженная жертва.

Наконец в один день Василий умудрился осмеять

подобным образом дочь уважаемого высокопоставленного партийного руководителя и высадить оконное стекло вместе с рамой. Директор Микельсон решил, что это предел. Хватит! Вызывать родителя на педсовет он не стал, но добился приема у Иосифа Виссарионовича и с полной откровенностью обрисовал сложившееся положение. Отец, естественно, был возмущен выходками Василия. Вечером, когда мы остались вдвоем, сообщил мне подробности разговора с Микельсоном.

— Что же нам делать с моим оболтусом, Николай Алексеевич?

— Еще раз побеседовать с ним. И построже.

— Побеседовать? — переспросил Сталин, бледнея от гнева. — С этим недорослем в прошлом году беседовал я, с этим недорослем беседовал товарищ Микельсон. Вы тоже тратили на него время и нервы. Хватит бесед! Он ведет себя как балбес из буржуазной семьи, в конце концов он подрывает мой авторитет. Пора принять меры.

— Но какие?

— Предки были не глупее, чем мы, — зло усмехнулся Иосиф Виссарионович. — Этот негодяй еще никогда не пробовал ремня! А после школы — в военное училище его. Сразу! Какое авиационное училище у нас самое строгое?

— Думаю, что Качинское.

— Туда! И чтобы никаких поблажек! А сегодня я покажу ему образец воспитательной работы.

Не раз повторял Иосиф Виссарионович грузинскую поговорку: хорошо для Родины, если сын лучше отца. Василий, увы, надежд не оправдывал.

Судьба собственных детей, разумеется, очень тревожила Сталина, но он был, если так можно выразиться, отцом-одиночкой, к тому же — человеком крайне занятым. Не имея возможности уделять достаточно времени Василию и Светлане, он, как и многие родители, возлагал большие надежды на школу. Задумывался о ее роли, о том, как улучшить воспитание и обучение молодежи.

— В наше время обучение было более строгим, — по-стариковски ворчал он. — И одинаковая форма, и классные надзиратели, и высокие требования без всяких скидок. Это способствовало воспитанию дисциплинированных и честных людей.

— Ну да, в ту пору и луна веселей светила, и звезды ярче блестели, — не удержался я.

Он понял, улыбнулся...

Ну, а с Василием было так: крепко досталось ему в тот вечер, настолько крепко, что разбалованный парень взялся за ум, стал лучше вести себя и заниматься прилежней. Помог, значит, старый дедовский способ: до самого окончания школы жалоб на Василия больше не поступало. Правда, зачастил он тогда, в последнюю школьную весну, а затем и летом, в Знаменское, к разбитной девице Клавдии, но делал это осторожно, с оглядкой. Уходил с дачи в сумерках, встречался с Клавдией на лугу или под старыми дубами и липами на краю леса. Даже ревнивые сельские парни не знали об этих свиданиях.

Часть четвертая

1

Обращаюсь к вам, мои критики и хулители, которых, знаю, найдется немало. Одни могут сказать, что Лукашов превозносит коварного, жестокого деспота Сталина; другие же, наоборот, будут утверждать, что сочинитель охаивает мудрого вождя и полководца. А ведь я ни той, ни другой крайности не желаю, рассказываю лишь о своих впечатлениях. Жизнь — это единый, сложный поток, вмещающий в себя множество переплетающихся, смешивающихся струй — человеческих судеб, и далеко не всегда можно отделить хорошее от плохого, добро от зла. Тем более что хорошее для одного может оказаться плохим для другого. Главное — я писал от души и готов принять любые укоры за исключением двух. Никто не имеет права упрекнуть меня в отсутствии любви к России или в утрате веры в социализм. На такие выпады я скажу вот что.

Глубоко сомневаюсь в искренности людей, которые к месту и не к месту восхваляют существующий строй, цитируя руководящие указания вышестоящих товарищей. Такие люди всячески воспевали Сталина, создавая нездоровую обстановку вокруг него, потом первыми же отвернулись от Иосифа Виссарионовича и принялись воспевать достоинства Хрущева. А затем, плюнув ему вслед, начали восхищаться Брежневым. Нет, не для страны они так стараются, не для социализма, а токмо для своего удобства, ради собственного благополучия. Куда полезней было бы всегда открыто говорить о том, что наболело, что мешает, требует переделки. И не только говорить, но исправлять. Однако сие — трудно, сопряжено с неприятностями, с возможными гонениями. А восторгаться — и проще, и выгодней!

Не надо бояться соли на собственных ранах. Забудешь о прошлой боли — станешь бесчувственным. Запамятуешь горький опыт — набьешь новые синяки.

Должен сказать, что те события, которые принято называть массовыми политическими репрессиями, не особенно касались меня. Страдали главным образом партийные и советские работники разных рангов, среди которых я почти не имел знакомых. И совсем другое дело, когда репрессии распространились на военных руководителей, которых я знал, каждого из которых мог оценить по достоинству. С болью сердечной вспоминаю сейчас о тех горьких событиях, особенно трагических потому, что разворачивались они на мрачном фоне надвигавшегося военного урагана.

К началу тридцатых годов в мире сложились и все заметнее проявляли себя два очага войны. На востоке — экономически окрепшая Япония, все еще одурманенная успехами 1905 года, бесцеремонно захватывала новые территории в Китае и Маньчжурии, то в одном, то в другом месте пыталась прощупать острыми ударами прочность наших, весьма растянутых пограничных линий. На западе Германия

постепенно освобождалась от пут Версальского договора, исподволь восстанавливала свои вооруженные силы, мечтая о реванше, о расширении территории. Разумеется, Сталина не могли не беспокоить воинственные устремления наших соседей, мы очень внимательно следили за развитием событий как на западе, так и на востоке.

Всю сознательную жизнь я отдал служению русской армии, главным образом армии Советского государства, являлся одним из наиболее осведомленных людей в нашей военной системе, причем осведомленность моя была в силу необходимости очень разносторонней. Я обязан был знать все: от уровня подготовки старшего начальствующего состава до особенностей новой самозарядной винтовки Токарева, от подробностей мобилизационного плана до стоимости пуговицы на краснофлотском бушлате. И все, что происходит в армиях наших возможных противников — тоже. Повторяю сие не ради похвалы, а лишь для того, чтобы с полной ответственностью заявить: начиная с тридцатого и примерно по тридцать шестой год наша Красная Армия была самой сильной в мире, наиболее оснащенной и обученной, располагала передовой военной теорией и самыми опытными, самыми подготовленными командными кадрами.

Давайте разберемся подробнее. Что представляли собой в ту пору вооруженные силы других государств? В Соединенных Штатах регулярной армии, способной вести операции в широких масштабах, практически не было. Существенной силой, рассчитанной на оборону, можно было считать лишь их авиацию и военно-морской флот. Франция и Англия все еще упивались своей мертворожденной победой в мировой войне, продолжали делить лавры, всерьез привыкнув к мысли, что это они, без участия России, без влияния немецкой революции, измотали и сокрушили кайзеровскую Германию. Они жили прошлым, не торопясь перевооружаться, считая, что боши разгромлены в пух и прах и что рамки Версальского договора надежно гарантируют победителей от возрождения германской военной мощи. Но ее-то, эту мощь, как раз и наращивали немцы, всячески обходя условия договора. Они обрабатывали общественное мнение внутри страны, изучали и осваивали все новое, что появлялось у нас, у самураев, у тех же французов.

По численности, по организованности и по полевой выучке на первом месте среди зарубежных армий были японцы. Но они имели ряд уязвимых мест. Это — слабая техническая оснащенность пехоты, разбросанность войск на больших пространствах, отсутствие опыта ведения крупных операций в современных условиях. Самурайская заносчивость подпитывалась успехами на китайской земле, но там японцы имели дело лишь с полупартизанскими соединениями.

А мы? Мы сохранили лучшее, что было в царской армии, от традиций до командного состава, мы накопили опыт не только мировой войны, но и гражданской, самой разнообразной, самой трудной по масштабам и формам. Причем мы сражались фактически со всеми потенциальными противниками, били

германцев и японцев, вышвырнули из своей страны интервентов — англичан, американцев, французов. У нас в запасе было много солдат, воевавших на полях Маньчжурии еще в пятом году, прошедших затем закалку огнем, начиная с четырнадцатого года и до конца гражданской. Каждый из них стоил пяти новобранцев.

Не буду говорить о нашей замечательной, выносливой, стойкой пехоте, о нашей единственной в мире лихой массовой коннице, о нашей артиллерии, по качеству и подготовленности всегда на голову превосходившей артиллерию других армий — это уж наше традиционное преимущество. Однако более точным показателем состояния и перспектив вооруженных сил является развитие новых родов войск, в ту пору бронетанковых и авиации. У японцев они были в зачаточном состоянии. Французы и англичане об авиации заботились скорее теоретически, чем практически, не столько выпуская самолеты, сколько разрабатывая доктрины массированного использования своих воздушных флотов. А вот от танков они, выдумавшие и применившие эти грозные машины, почти отказались. Их опыт, приобретенный на тесных западноевропейских полях, в условиях позиционной войны, затмил им глаза. Действительно, танки оказались не очень эффективными при глубоко эшелонированной обороне, насыщенной различными препятствиями, минными заграждениями, артиллерией. Но кто сказал, что следующая война будет позиционной? Мы считали, что при быстром развитии техники и скоростей предстоящие боевые действия будут носить стремительный маневренный характер.

Так думали и германские генералы. Однако у немцев еще не было ни новой военной техники, ни обученных кадров. И то и другое запрещал германцам Версальский договор. Однако немцы не сидели сложа руки. Теперь пришло время сказать, теперь это не тайна: своих офицеров, своих военно-технических специалистов германская армия частично готовила в нескольких танковых и авиационных центрах на территории нашей страны. Вернее, не они готовили, а мы обучали немцев, знакомя их с нашей техникой, с работой наших штабов, передавая свой опыт. Генералы Гудериан, Браухич и многие другие полководцы, которые ворвутся в нашу страну летом сорок первого года, прошли у нас очень хорошую школу, досконально знали наше вооружение, нашу тактику, принципы обучения наших войск и управления ими в бою.

Как это стало возможным? Во-первых, сказалось личное отношение Иосифа Виссарионовича. Он никогда не воевал сам с немцами, не испытывал к ним неприязни, не опасался их: они ведь действительно, потерпев поражение в мировой войне, были в военном отношении очень слабы. Он считал немецкий пролетариат, всех трудящихся немцев передовой, революционной нацией, давшей миру целый ряд корифеев коммунистического движения. Ему нравился немецкий язык. Он верил в честность, добропорядочность, пунктуальность германцев, хотел дружить с ними, обрести в них надежных союзников в борьбе с возможным противником (в этом — один из корней последующих просчетов Иосифа Виссарионовича).

С другой стороны, он испытывал прямо-таки фанатичное недоверие к англосаксам. Считал их прожженными дипломатами, которые всегда хитрят, ища выгоду, держат кукиш в кармане, заставляя других таскать для них горячие каштаны из огня. Англосаксы и французы — это, собственно, была хорошо знакомая Сталину Антанта, возглавлявшая походы против нас во время гражданской войны и остававшаяся грозной военной-политической силой. Именно эта сила, считал он, готовит новое нападение, намереваясь бросить против нас в первом эшелоне боярскую Румынию, панскую Польшу, прибалтов, маннергеймовскую Финляндию. Конечно, доля истины в этом была, и большая доля, но я, как и некоторые другие военные старшего поколения, придерживался иной точки зрения.

Прежде всего: нельзя открывать карты перед любым потенциальным неприятелем. Это — азбука. Сегодня немцы слабы, а завтра быстро усилятся, у них огромный потенциал. Что тогда?.. И вообще Германия была и оставалась нашим традиционным, классическим противником. Французы, англичане, североамериканцы могли расширяться за счет новых земель, в том числе и заморских. С ними у нас не было территориальных споров-раздоров. Только идейные, политические. А Германия, государство континентальное, и к тому же лишившееся в мировой войне своих колоний, со всех сторон стиснута была обручем давно сложившихся границ, она могла расширяться лишь в ту сторону, где обруч слабее, а просторы за ним — больше. Немецкие стратеги смотрели либо на Францию (но она крепка была союзом с англосаксами), либо на восток, где раскинулись обширные славянские земли, где только-только встало на ноги первое в мире социалистическое государство, не имевшее ничьей поддержки, изолированное от других стран.

Я не устал повторять Иосифу Виссарионовичу, что рано или поздно германцы двинут на нас свою военную машину. Но Сталин не способен был тогда поверить этому, он хотел видеть в немцах надежных друзей. И видел до тех пор, пока Гитлер, закрепившись у власти и плюнув на Версальский договор, не начал преследовать коммунистов, принялся быстро наращивать мускулы рейха, не скрывая своих захватнических планов. К этому времени мы уже основательно помогли немцам в обучении их командных кадров, в подготовке военных специалистов. Немцы знали у нас если не все, то многое. Их разведка имела подробные досье на весь наш командный состав, от полкового звена и выше. Правда, впоследствии Иосиф Виссарионович основательно спутал вражеские карты, ликвидировав значительное количество наших кадровых военачальников: новые появлялись и тоже исчезали, да так быстро, что германская разведка просто не успевала завести на каждого «личное дело» с фотографиями и характеристиками. Но это уже горький юмор. Сарказм. Скорее даже одна горечь.

Армия же наша в начале тридцатых годов была действительно хорошо обучена и снабжена. У нас было все: и умелые кадры, и новая техника. Если иностранные армии располагали лишь танковыми полками,

то у нас еще в 1932 году был создан и прошел боевую подготовку механизированный корпус имени К. Б. Калининского (безвременно погибшего в авиационной катастрофе теоретика и практика бронетанковых войск, очень много сделавшего для их развития). Так вот, корпус этот насчитывал в своем составе около 500 танков, более 200 бронеавтомобилей, 60 орудий сопровождения. Представляете, какова была силища!

Среди военных теоретиков, досконально разработавших различные формы ведения боевых действий, я особенно выделил бы В. К. Триандафиллова, А. И. Егорова, М. Н. Тухачевского, Б. М. Шапошникова. В широко развернутой сети училищ, академий, курсов готовились и повышали свое мастерство многие тысячи командиров. Были восстановлены наконец персональные воинские звания (лейтенант, майор, капитан и т. д.), о чем я неоднократно просил Иосифа Виссарионовича. Это сразу выделило из общей массы военнотружеников командный состав, способствовало укреплению его авторитета, усилению порядка и организованности в частях.

Очень радостное, может быть, одно из самых счастливых событий моей жизни — крупнейшие маневры осенью 1935 года в Киевском военном округе, вошедшие в историю под названием «Киевские маневры». Это был великолепный смотр наших достижений. Я находился при группе иностранных наблюдателей, вместе с французскими и итальянскими военачальниками, торжествовал в душе, видя удивление на их лицах. Признаюсь, были моменты, когда я с трудом сдерживал слезы радости, гордясь нашей великолепной армией!

В маневрах участвовали все рода войск и не просто участвовали, а взаимодействовали самым теснейшим образом. Стрелковый корпус, усиленный танковыми батальонами и артиллерией Резерва Главного Командования, прорвал укрепленную полосу «неприятеля», затем успех был развит введенным в прорыв кавалерийским корпусом, тоже имевшим танки. В тылу «врага» был высажен крупный авиационный десант. А тем временем механизированный корпус вместе с кавдивизией «окружил и уничтожил» группировку противника в своем тылу.

Действовали войска напряженно, стремительно, точно. Стрелковые части совершали длительные переходы (до 200 километров) и маршброски, совершенно не имея отставших. Более тысячи танков перемещались на 500—650 километров, причем средняя скорость днем достигала 20 километров в час — тогда это было много. Авиация заполнила воздух, «работая» на малых высотах, и не только днем, но и ночью.

Да, я был счастлив, ощущая себя частичкой этого боевого щита нашей Родины, видя перед собой лучшее, до чего поднялось мировое военное искусство!

В то время, в период апогея, Красная Армия имела в своих рядах 1 миллион 100 тысяч бойцов. Мы располагали 88 стрелковыми и 19 кавалерийскими дивизиями, 4 механизированными корпусами и двумя десятками механизированных бригад. По всем показателям армия наша была сильнейшей. И невозможно

было предположить, что после такого подъема начнется застой, регресс, упадок.

В ноябре того же 1935 года определилась наша руководящая военная верхушка, впервые появились маршалы Советского Союза, сразу пятеро. О каждом из них надобно сказать хотя бы несколько слов, чтобы пролить свет на последующие события. Безусловно самым одаренным среди этих полководцев был наш давний знакомый Александр Ильич Егоров. Напомню два его важнейших качества. Еще в годы гражданской войны он управлял самыми трудными и обширными фронтами, задумывал и организовывал крупнейшие операции, накопил большой полководческий опыт. Собственно, он у нас один был такой. Это раз. Да еще глубокие знания, сочетавшиеся со способностью мыслить широко, стратегическими масштабами.

Многие годы возглавляя Штаб РККА, преобразованный затем в Генеральный штаб РККА, Александр Ильич был среди наших военных главным авторитетом. Человек скромный, старавшийся держаться в тени, он тем не менее предопределял и направлял ход развития наших Вооруженных Сил, объединяя таких несхожих, отрицательно относившихся один к другому полководцев, как Тухачевский и Буденный, сторонников каждого из них.

В военном отношении Сталин чувствовал себя за Егоровым как за каменной стеной, полностью доверяя ему.

Самым молодым, самым энергичным и перспективным среди маршалов был Михаил Николаевич Тухачевский. Оригинальное мышление, умение быстро анализировать обстановку, принимать верные решения и настойчиво добиваться их осуществления — вот что отличало этого воспитанного, вежливого человека, не терпевшего грубости и хамства в любых проявлениях. А еще — очень быстро улавливал, схватывал он все новое, что появлялось в военной науке, в военной технике. Это он вместе с Кировым добивался создания у нас первой авиадесантной бригады. Ведая вопросами вооружения, Михаил Николаевич много сил отдал развитию бронетанковых войск, авиации, радиосвязи. Особенно заботился о противотанковой артиллерии, которая и создавалась-то у нас его стараниями. А ведь к этому он и практик был с изрядным опытом (фронтами командовал), и важнейшие теоретические проблемы разрабатывал, особенно по использованию новых родов войск.

О Василии Константиновиче Блюхере скажу, что подняться до руководства войсками в масштабе всей страны ему было трудно. А вот командующего фронтом такого, как он, обобщешься и не найдешь. К тому же воевал в Сибири, на Дальнем Востоке, хорошо знал этот отдаленный и очень тревожный в ту пору театр возможных боевых действий.

Если звезда Егорова в полную силу ярко сияла в зените, если звезда Тухачевского поднималась все выше, а Блюхера ровно, устойчиво светила в небе, то блеск двух других звезд заметно потускнел, становился скорее легендарным, чем реальным. Отдадим должное Ворошилову. Он много сделал в годы

гражданской войны, добросовестно потрудился на посту наркома, занимаясь укреплением обороноспособности страны. Но при всем том Климент Ефремович был деятелем не столько военным, сколько военно-политическим, и последнее качество в нем все заметнее перевешивало. Военная теория и военная практика стремительно развивались в новых условиях, а Ворошилов так и оставался на уровне политработника двадцатого года. Он и сам считал, что его обязанность — вести наши Вооруженные Силы верным сталинским курсом, в этом видел свою главную задачу, гарантировавшую от ошибок и срывов.

Ворошилов и Буденный не очень стремились, а может быть, просто и не могли воспринять многие новшества. Конечно, проще лечь рядом с бойцом в окопе или в тире, показать ему, как нужно целиться, спускать курок. Гораздо проще научить одного красноармейца стрелять, чем проанализировать, почему весь полк или вся дивизия отстают в огневой подготовке. Полуанекдотические поступки — «личный пример» наркома — никак не могли заменить разумных широко-масштабных выводов и решений.

Ворошилов и Буденный по-прежнему надеялись на собственный пример в бою да на вдохновляющие лозунги. В сочетании с принуждением и контролем. Сие, вероятно, был их предел. Возможно, Климент Ефремович понимал это, поэтому нервничал. Он топтался на привычном пяточке, и чем основательней осваивал это место, эту ступень, тем сильнее держался за нее. Надежным другом казался ему Семен Михайлович Буденный. А между тем положение Буденного было еще более шатким.

Ни в коей мере не хочу я развенчать или унижить имя человека, дела которого вошли в нашу историю. С уважением отношусь к командующему 1-й Конной армией. Он сражался самоотверженно. Однако всему свое время. И очень плохо, когда человек перестает соответствовать занимаемой должности. Как актер, которому пора на пенсию. Ну, наберись гражданского мужества, отстранись от забот, уйди на отдых! Но, увы, такого стремления не наблюдал я у лиц, вкусивших известности и славы.

Как относился Иосиф Виссарионович к Тухачевскому? Могу сказать только одно: весьма уважительно. Ценил его ум, практическую хватку, стремление к новому. В мае 1931 года Тухачевский провел в Ленинграде необычайный парад: по Дворцовой площади прошли грузовики с бойцами в кузовах. Сталин одобрил — пора создавать нашу мотопехоту. Тухачевский заботится о подготовке военных парашютистов — Сталин полностью «за». Таких примеров — великое множество. Но с Тухачевским Иосиф Виссарионович виделся изредка, зато рядом всегда находились рьяные противники молодого военачальника: Ворошилов, Буденный, Щаденко. Каждое слово, сказанное ими о Тухачевском, было наполнено ядом. «Прожектер. Чистоплюй. На скрипочке поигрывает. Занесся. С иностранцами знается. Нет ему полной веры». И так далее. Это постепенно действовало, как действует ржавчина на железо.

В слякотный майский вечер 1937 года мне позвонил

Сталин и попросил немедленно приехать. Я чувствовал себя неважно, у дочери была температура, хотелось побыть с ней, но не столь уж часто Иосиф Виссарионович вот так, не предупредив заранее, изъявлял желание встретиться. Значит — не пустяк. В таких случаях не отказываются, на разные причины не ссылаются.

У Сталина только что закончилось какое-то заседание. Вероятно — трудное. Еще не выветрился густой запах табака. Иосиф Виссарионович, расслабившись, сидел в кресле, в своей любимой позе: руки на животе, колени широко расставлены, а ступни, наоборот, сдвинуты. Сказал о том, что свирепствует грипп, посоветовал мне быть осторожным. Видно было, что ему хочется посидеть вот так спокойно, поговорить о пустяках, но он умолк, напрягся, встал и направился к своему сейфу, доставая из нагрудного кармана ключи. Открыл одну дверцу, лязгнув другой, протянул мне тонкую аккуратную папку:

— За эти бумаги Ежов заплатил три миллиона рублей. Посмотрите, стоят ли они такой суммы?!

Взял со стола кипу газет и вышел в соседнюю комнату. А я осторожно и даже с некоторым трепетом открыл папку. В ней было всего лишь пятнадцать — двадцать страниц. Сколько же стоила каждая из них? Каждая строчка?

Бросились в глаза штампы германской разведки — «Абвера»: «Конфиденциально», «Совершенно секретно». Начал читать — и глазам своим не поверил. Это было письмо Михаила Николаевича Тухачевского к единомышленникам-военачальникам о необходимости избавить страну от гражданских руководителей и захватить государственную власть в свои руки. Назывались фамилии... Подпись была мне хорошо знакома, я видел ее много раз. Подлинная подпись Михаила Николаевича. И все же не верилось.

Все остальные документы были на немецком языке. На одном из донесений «Абвера» — резолюция Адольфа Гитлера с приказанием организовать слежку за генералами вермахта, которые по долгу службы встречались с Тухачевским и могли быть связаны с ним. Почерк и подпись — несомненно самого фюрера. Другие бумаги были второстепенны и не запомнились.

Я успел дважды прочитать все досье, прежде чем возвратился Сталин. На этот раз он не сел, а остановился возле стены, прислонившись спиной. Молча смотрел на меня.

— Иосиф Виссарионович, это лишь фотокопии.

— Но подписи подлинные — мы удостоверились.

— Как попало к нам это досье?

— Документы были выкрадены во время пожара в здании «Абвера». Их пересняли. Фотокопия оказалась у главы чехословацкого правительства. Господин Бенеш сообщил нам.

— Я не убежден, что это не фальсификация!

— Но кому и зачем нужна такая фальсификация?

— Нашим противникам, которые намереваются воевать с нами. Этим досье они ставят под удар наших крупнейших военачальников.

— Я согласен с вами, Николай Алексеевич. Эти документы заставляют задуматься, но не внушают пол-

ного доверия. Однако, к сожалению, сведения о заговоре военных против руководителей партии и правительства поступили и из других источников. Говорю только для вас. Позавчера и вчера следователь Радзивиловский допрашивал бывшего начальника управления штаба РККА Медведева, и тот сообщил о существовании заговора военных. И назвал фамилии руководителей: Тухачевский, Якир, Путна, Примаков... Те же самые фамилии. Не слишком ли много совпадений?

— Но ведь Михаил Евгеньевич Медведев года четыре как уволен из армии.

— Да, уволен. Но о заговоре он узнал еще в тридцать первом году¹.

— Просто голова кругом...

— Дорогой Николай Алексеевич, мне тоже не очень верится. Но факты... Я не могу видеть лица этих людей! Фальшивые улыбки! — Сталин сорвался на крик, умолк, овладел собой. — Мы вынуждены принять решительные меры.

— Арест?

— Приказ уже отдан. А с вами я хочу посоветоваться о составе суда. Нужны авторитетные люди, которые вынесут справедливое решение.

— Ворошилова — ни в коем случае! — воскликнул я.

— Согласен. Тем более что для этого имеются особые причины, — усмехнулся Сталин.

Через месяц после нашего разговора состоялся первый процесс над военными, за которым последовали потом другие процессы. Я присутствовал на этом судебном разбирательстве, у меня сложилось определенное мнение, но, прежде чем высказать его, приведу официальное сообщение, опубликованное в печати:

«Вчера, 11 июня с. г., в зале Верховного суда Союза ССР Специальное судебное присутствие в составе: председательствующего — председателя Военной коллегии Верховного суда Союза ССР армвоенюриста тов. Ульриха В. В. и членов Присутствия — зам. народного комиссара обороны СССР, начальника Воздушных Сил РККА командарм 2 ранга тол. Алксниса Я. И., Маршала Советского Союза тов. Буденного С. М., Маршала Советского Союза тов. Блюхера В. К., начальника Генерального штаба РККА командарм 1 ранга тов. Шапошникова Б. М., командующего войсками Белорусского военного округа командарм 1 ранга тов. Белова И. П., командующего войсками Ленинградского военного округа командарм 2 ранга тов. Дыбенко П. Е., командующего войсками Северо-Кавказского военного округа командарм 2 ран-

¹ Известный биограф Л. Д. Троцкого Исаак Дойчер в своей книге «Пророк в изгнании» написал так: «Согласно различным антисталинским источникам, Тухачевский, встревоженный террором, разрушающим обороноспособность страны и подрывающим моральный дух нации, готовил переворот с целью свержения Сталина и власти ГПУ, но не входил при этом в контакты ни с Троцким, ни тем более с Гитлером или какой-либо иной иностранной державой. Троцкий в существование заговора не верил, но характеризовал падение Тухачевского как симптом конфликта между Сталиным и командным составом Вооруженных Сил, который может поставить военный переворот «на повестку дня»...» Таково лишь одно из мнений. (Примеч. автора.)

га тов. Каширина Н. Д. и командира 6 кавалерийского казачьего корпуса им. т. Сталина комдива тов. Горячева Е. И. в закрытом судебном заседании рассмотрело в порядке, установленном Законом от 1 декабря 1934 года, дело Тухачевского М. Н., Якира И. Э., Уборевича И. П., Корка А. И., Эйдемана Р. П., Фельдмана Б. М., Примакова В. М. и Путны В. К. по обвинению в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 58¹⁶, 58⁸ и 58¹¹ УК РСФСР.

По оглашении обвинительного заключения на вопрос председательствующего тов. Ульриха, признают ли подсудимые себя виновными в предъявленных им обвинениях, все подсудимые признали себя в указанных выше преступлениях виновными полностью.

Судом установлено, что указанные выше обвиняемые, находясь на службе у военной разведки одного из иностранных государств, ведущего недружелюбную политику в отношении СССР, систематически доставляли военным кругам этого государства шпионские сведения, совершали вредительские акты в целях подрыва мощи Рабоче-Крестьянской Красной Армии, готовили на случай военного нападения на СССР поражение Красной Армии и имели своей целью содействовать расчленению Советского Союза и восстановлению в СССР власти помещиков и капиталистов.

Специальное судебное присутствие Верховного суда Союза ССР всех подсудимых — Тухачевского М. Н., Якира И. Э., Уборевича И. П., Корка А. И., Эйдемана Р. П., Фельдмана Б. М., Примакова В. М. и Путну В. К. признало виновными в нарушении воинского долга (присяги), измене Рабоче-Крестьянской Армии, измене Родине и постановило: всех подсудимых лишить воинских званий, подсудимого Тухачевского — звания Маршала Советского Союза и приговорить всех к высшей мере уголовного наказания — расстрелу».

Такова была официальная версия. А теперь — собственные впечатления. Прежде всего — «процессом» это судилище не назовешь. Длилось оно всего один день, разве можно за такой короткий срок разобраться в серьезных вопросах? Да никто из организаторов судилища и не хотел разбираться. Подсудимым разъяснили, что слушанье дела проводится в том порядке, который установлен законом от 1 декабря 1934 года (мы уже упоминали об этом законе). Что это значило? Защитники к судебному процессу не допускаются; приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

Официальное сообщение категорически утверждало, что «все подсудимые признали себя в указанных выше преступлениях виновными полностью». Это — явная передержка! Никто из обвиняемых (кроме Примакова) на суде не сказал о своем якобы сотрудничестве с иностранной разведкой, то есть не подтвердил главное обвинение. И вообще никаких фактов, подтверждающих связь с зарубежной разведкой или заговор против Сталина приведено не было. Тухачевский, например, сказал так:

«У меня была горячая любовь к Красной Армии, горячая любовь к Отечеству, которое с гражданской войны защищал... Что касается встреч, бесед с представителями немецкого Генерального штаба, их воен-

ного атташата в СССР, то они были, носили официальный характер, происходили на маневрах, приемах. Немцам показывалась наша военная техника, они имели возможность наблюдать за изменениями, происходящими в организации войск, их оснащении. Но все это имело место до прихода Гитлера к власти, когда наши отношения с Германией резко изменились».

Разве это похоже на признание в том, что он служил в иностранной разведке?!

Впрочем, версия о передаче врагам «шпионских сведений», о «совершении вредительских актов» вообще была скомкана, сведена до минимума, об этом почти не говорили, а ведь это обвинение было основным! Зато событиям второстепенным, менее существенным, уделялось неоправданно много времени. С большой и резкой речью выступил Буденный, обвинив Тухачевского, Уборевича и Якира в том, что они настаивали на создании крупных танковых соединений за счет сокращения численности и расходов на кавалерию. Семен Михайлович расценил это как вредительство. По тому тону, по тому злорадству, с которым говорил Буденный, я понял: наконец-то Семен Михайлович излил то, что многие годы копилось и клокотало в нем против Тухачевского.

Наиболее кропотливо и досконально разбирался вопрос: состояли или нет подсудимые в сговоре против Ворошилова, с тем чтобы отстранить его от руководства Красной Армией? Ответы были однозначные: да, мнение такое существовало, разговоры о том, что Ворошилов явно не на своем месте, велись. Имея поддержку других военачальников, Уборевич и Гамарник¹ должны были обратиться по этому поводу в Центральный Комитет партии, в Правительство. Но разве это заговор?

Подсудимые пытались говорить о тех ошибках, которые были допущены Ворошиловым, о его неумении и промахах, но председатель Ульрих сразу же пресекал такие заявления. А действия подсудимых в отношении Ворошилова расценил как террористические намерения против наркома.

В «последнем слове» обвинение в шпионаже, в измене, в намерении восстановить капитализм, «ломать диктатуру пролетариата и заменять фашистской диктатурой» — это обвинение признал лишь Виталий Маркович Примаков, бывший отважный кавалерист, в корпусе которого сражался когда-то мой друг Алеша Брусилов. Выступление его напоминало бред сумасшедшего. Да и выглядел он совсем измученным, сломленным. Его арестовали на год раньше всех других подсудимых по обвинению в троцкизме и, вероятно, умело «обработали» в застенках, «подготовили» к намечавшемуся процессу.

Все остальные подсудимые говорили о своей преданности революции, лично товарищу Сталину. Просили

¹ Заместитель наркома обороны Я. Б. Гамарник, недавно отстраненный с поста начальника Политуправления Красной Армии, застрелился, поняв неизбежность ареста сразу после того, как был арестован Уборевич. По другим сведениям Гамарника застрелил на его квартире заместитель Ежова Фриновский, а выдал это за самоубийство. (Примеч. Н. Лукашова.)

о снисхождении. Но чьи уши могли прежде всего их услышать! Уши Ворошилова, который давно намеревался насолить Тухачевскому и другим военачальникам: не только за прошлые разногласия, но и видя в них претендентов на высшее руководство в Красной Армии.

Какое там снисхождение! Климент Ефремович торжествовал! Через день после процесса он с удовольствием подписал приказ наркома обороны за № 96, в котором излагался приговор, подчеркивалось, что враги народа пойманы с поличным, и при этом особенно выделил Тухачевского — только его фамилия, вместе с фамилией Гамарника, была названа в приказе. Так что Ворошилов свел с ним все свои счеты. Развязал узелки, завязавшиеся еще на гражданской войне...

А как же члены суда — В. К. Блюхер, Б. М. Шапошников, И. П. Белов, П. Е. Дыбенко — люди, чья честность и порядочность не вызывают никаких сомнений? Они наверняка были ознакомлены с документами немецкой разведки, хотя официально в качестве улики бумаги «Абвера» на процессе не упоминались. Члены суда были поставлены в такие условия, что не могли не согласиться с приговором. В самом деле. Никто из подсудимых не опроверг обвинений в измене, предъявленных им в общих чертах, а Примаков все эти обвинения подтвердил. Дальше. Подсудимые признали свои просчеты, допущенные в работе по укреплению Красной Армии («могли бы действовать и лучше»), что было расценено, как подрыв могущества нашей державы. Фактически все сознались в том, что считали Ворошилова не соответствующим занимаемой должности и готовы были выступить против него. Это военнослужащие-то против своего начальства?! Разве не преступление!

Подписывая приговор, названные члены суда (другие подписывали без колебаний) уповали, вероятно, на то, что участь осужденных будет все же смягчена. И никто из судей не предполагал, что они прокладывают страшную дорогу для самих себя, для многих своих коллег. Почти все они будут вскоре арестованы, сами пройдут через физические и нравственные испытания, через которые прошли участники «группы Тухачевского». Их призыв к милосердию и справедливости тоже не будет услышан.

Негодование мое вызвали резолюции, оставленные на письме И. Э. Якира, с которым он обратился из тюрьмы к Сталину, заверяя его в своей преданности идеям коммунизма и лично Иосифу Виссарионовичу. Однако Сталин расценил это по-своему: Якир, мол, хитрит, стремится выйти сухим из воды или по крайней мере оправдать себя перед народом, перед историей. Спустя время найдут этот документ в архиве, прочтут и поверят: какой хороший и честный был этот Якир!.. Но нас вокруг пальца не обведешь, — решил Сталин и начертал на письме: «Подлец и проститутка». «Совершенно точное определение», — добавил Ворошилов. Рядом расписался Молотов. «Предателю, сволочи и б... одна кара — смерть!» — Это слова Л. Кагановича. Как на стене сортира. Но там — безымянное творчество, а здесь автографы высокопоставленных деятелей.

— Как можно писать такое о товарище по борьбе, по работе?! — сказал я Сталину. — Это же расписка

в собственной беспринципности, удостоверение собственного хамства. Матерщинник в руководстве государством — это, извиняюсь, скверный пример. Чего же тогда требовать от других?!

Сталин насупился. А когда он хмурится, лоб у него становился слишком узким, некрасиво, патологически узким. От бровей до кромки волос — один сантиметр.

— Определение «политическая проститутка» — не новость, — сказал он. — Им пользовались и до нас.

— Проститутками являются как раз те, кто вчера жал руку Якиру, а сегодня под вашей резолюцией малюют матерные слова.

— Не допускаете, что это искренние эмоции?

— Слишком декларативно, — возразил я. — Прошу вас, не торопитесь, поговорите с Якиром и обязательно с Михаилом Николаевичем Тухачевским. Последствия их гибели могут быть катастрофическими.

— Никакой катастрофы не будет, — произнес Иосиф Виссарионович с уверенностью человека, хорошо продумавшего все варианты.

Однако с Тухачевским Сталин все-таки встретился. Беседа эта была короткой, корректной и успокоила Михаила Николаевича настолько, что он оказался совершенно не подготовленным к дальнейшим событиям, к смертной казни. А может, это и лучше: он до последней секунды не верил в трагический конец. Он улыбался, когда его среди ночи вели во двор внутренней тюрьмы на расстрел. Он даже успел крикнуть перед залпом: «Да здравствует Сталин!»

Иосиф Виссарионович, разумеется, через несколько минут знал, как все было.

— Эти две группы, — высказался впоследствии Сталин, — сторонники Ворошилова и сторонники Тухачевского, были непримиримы. В сложившейся тогда обстановке мы не могли допустить раскола в военном руководстве. Требовалось, чтобы военные вели единую линию. Думаю, это пошло на пользу Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Такой выбор он сделал. Или такое объяснение нашел для себя.

По всей стране разливалась волна репрессий, смывая с постов не только командующих округами, армиями, корпусами, но и командиров полков, батальонов. Блестящие возможности открывались для бесчестных людей, для доносчиков. Просто для сведения личных счетов. Не могу понять, кому и для чего понадобилось, например, «топить» очень хорошего, принципиального человека, бывшего офицера, ставшего красным генералом — Михаила Федоровича Лукина. Трижды на стол Климента Ефремовича Ворошилова ложился ордер на арест Лукина, но Ворошилов, знавший Михаила Федоровича еще по Царицыну, каждый раз отказывался поставить свою подпись. Более того, добивался у Е. М. Ярославского и Г. М. Маленкова, чтобы с Лукина было снято партийное взыскание «за притупление классовой бдительности и личную связь с врагами народа» (с Косиором, Якиром). Жизнь и честь генерала были сохранены: летом сорок первого года он весьма отличился в Смоленском сражении.

А вообще волна репрессий в армии на какое-то время вышла из-под контроля. Даже такие авторитет-

ные люди, как Ворошилов и Буденный, не всегда могли защитить своих соратников. После одного из заседаний Политбюро Николай Иванович Ежов, обратившись к Иосифу Виссарионовичу, сказал негромко: возникла необходимость арестовать Ф...ко. Он враг.

Эти слова будто обожгли Ворошилова, ведь сие относилось к его ближайшему помощнику.

— Ф...ко — мой заместитель, если он на подозрении, то и я тоже. Значит, и меня надо под замок! Головой за него ручаюсь.

Иосиф Виссарионович произнес рассудительно:

— Мы хорошо знаем товарища Ворошилова и не будем его арестовывать. А с Ф...ко разберитесь как следует, — указал он Ежову.

Тот промолчал.

Через некоторое время Климент Ефремович уехал на несколько дней в войска, а когда вернулся, Ф...ко уже на службе не значился. Ежов встретил Ворошилова с нескрываемой насмешкой. Посоветовал в присутствии товарища Сталина:

— Никогда не надо ручаться головой за других, это может дорого стоить.

— Не верю я в виновность Ф...ко! — стоял на своем Ворошилов.

В разговор вступил Иосиф Виссарионович:

— Вы можете не верить товарищу Ежову, можете не верить мне, но поверьте самому Ф...ко. Вот его показания. Почитайте.

Судя по протоколам допроса, Ф...ко действительно считал себя преступником. Он «признался» во всем, в чем его обвиняли, согласился даже с самыми нелепыми утверждениями. И назвал «соучастников»: два десятка фамилий военных работников разных рангов.

— Разрешите, товарищ Сталин, поговорить с ним наедине?

— Говорите, только не наедине, а в присутствии Николая Алексеевича, — взглядом показал Сталин в мою сторону. — Николаю Алексеевичу полезно будет послушать.

Ф...ко привели в кабинет Ворошилова без ремня, без знаков различия. Он был истощен, измучен, глаза воспалены. Сел, морщась, с трудом согнув поясницу.

Конвоиры остались за дверью. Я, как всегда, старался быть незаметным. Да Ф...ко и не обратил внимания, обрадованный встречей с Ворошиловым.

— Это ты подписал? — спросил Климент Ефремович, нервно листая протокол.

— Я, — ответил Ф...ко.

— Как же ты мог?! — взорвался Ворошилов. — Зачем возвел на себя эту напраслину?!

— Били... — скривился Ф...ко.

— Разве мало тебя били, мало истязали враги? Терпел же!

— Нет, — обреченно произнес Ф...ко, понимая, куда поворачивается разговор. — Так меня никто не пытал и не мучил. Никакой враг не додумался. У этих не только сам в петлю полезешь, а и родную мать в грязь затопчешь...

— Ты же не только себя схоронил, ты столько наших людей под удар поставил!

— Требовали.

— Топить товарищей — самое последнее дело!

— Я уже не выплыву, а вместе и погибать веселей, — с горькой усмешкой ответил Ф...ко.

Когда я рассказал обо всем Иосифу Виссарионовичу, тот прошелся из конца в конец комнаты, спросил:

— Выкручивается?

— Не думаю. Он говорил искренне.

— Значит, еще хуже. Он клеветник и предатель. Он предал своих друзей.

Такова была логика Сталина. Не имея возможности переубедить его, я лишь сказал, что пытками можно довести человека до полуобморочного состояния, до сумасшедствия, а с больного какой спрос, какая вера его показаниям? И вообще, это недостойно и унижительно. Насилие над человеком, неспособным сопротивляться, прежде всего унижает и разлагает самих насильников.

— Разложившихся уберем, — сказал Иосиф Виссарионович. — Значительная доля истины в ваших словах есть. Побывайте там, посмотрите своими глазами. Нельзя, чтобы Ежов закрылся от всех. Его надо держать под контролем.

2

За какие-то считанные месяцы Вооруженные Силы наши, на укрепление которых мы затратили много энергии и средств, были обезглавлены и изрежены, словно лес под натиском свирепого урагана. Там, где высились сотни великанов, остались единицы. И среди них — Александр Ильич Егоров, чье положение казалось наиболее устойчивым и незыблемым.

По тогдашней мерке широко отмечен был пятидесятилетний юбилей Александра Ильича. Его фотографии печатались в газетах. Сталин тепло поздравил Егорова, выразив свою уверенность в долгом и плодотворном сотрудничестве. Но в те же торжественные дни пришло в Кремль письмо от одного пожилого грузина. Почтой или передал кто-то из рук в руки — не знаю. Сталин взял это письмо со стола, когда в кабинете находились я и Берия. Прочитал вслух. Текст был примерно такой: «Кацо, кого превозносишь?! Ты не забыл, что офицер Егоров стрелял в нас в Тифлисе, когда была первая революция? Награду от царя за нашу кровь получил? Посмотри, вспомни». И несколько вырезок из старых газет.

— Вот что, Лаврентий, — сказал Иосиф Виссарионович, — я знаю, в кого и когда стрелял товарищ Егоров. Но я не знаю, в кого и когда стрелял человек, подготовивший этот донос, — Сталин намекал на далеко не безукоризненную биографию самого Берии. — Может, ты хорошо знаешь этого человека, Лаврентий?

— Я все выясню, — поторопился заверить Берия.

— Выясни и прими меры, — усмехнулся Иосиф Виссарионович.

Да, многое могло проститься Егорову. И стрельба по демонстрантам, и то, что Александр Ильич примыкал когда-то к эсерам. Это не касалось лично Сталина, не мешало достижению его целей. А вот случайной обиды, принизившей вроде бы роль Сталина в граждан-

ской войне, он не простил. Да и была ли обида-то! При болезненном, обостренном самолюбии Иосифа Виссарионовича ему легкий укол представлялся иной раз тяжелым ударом.

Совершенно неожиданно Егоров был отправлен командовать Закавказским военным округом. Уехал в Тбилиси. Много ходил по городу, изменившемуся за минувшие годы. И вот странная особенность: Александр Ильич не любил гражданской одежды, не привык к ней, а по Тбилиси прогуливался только в штатском.

Дела двигались своим чередом. Однако вскоре поступил срочный вызов из Москвы на совещание. Для военных людей — явление обычное. Егоров ответил телеграммой:

«Наркому обороны Ворошилову. Выезжаю 21 сего февраля. Временное командование округом возложил начштаба Львова...»

Остановился он в санатории «Архангельское». Там последний раз виделся со своей дочерью.

После совещания его пригласил к себе на дачу один из старых соратников. Были Хрулев, Щаденко и кто-то третий.

Александр Ильич собирал картины, особенно любил батальные полотна, имелись у него и оригиналы, и хорошие копии. В тот раз ему показали картину «Сталин на Южном фронте», где Иосиф Виссарионович изображен возле телеграфного аппарата, с лентой в руках. С почтением, с восхищением смотрит на сосредоточенное лицо Сталина телеграфист...

— Хорошая картина, — сказал Щаденко.

— Хорошая, — согласился Егоров. И словно черт дернул его за язык, добавил полушутя: — Только не совсем верная.

— Почему?

— А командующий фронтом где? Меня нет даже на заднем плане.

Через три часа Александра Ильича арестовали. Произошло это как раз в тот период, когда Сталин чувствовал себя плохо, был особенно подозрителен, раздражителен. А я находился на юге и узнал о случившемся слишком поздно.

Спрашивать, почему убрали Егорова, не имело смысла. Повод, причину, можно найти всегда.

— Зачем это сделали? — Я не назвал фамилию, но по резкому, укоризненному тону Иосиф Виссарионович сразу понял, о ком речь.

— Он слишком много возомнил о себе. Он хотел стать выше всех.

— Александр Ильич никогда не стремился к этому.

— Нам лучше знать, — возразил Сталин, но в словах его не было обычной уверенности, он вроде бы убеждал не только меня, но и себя.

— Можно было не спешить, выяснить...

— Пожалуй, с этим действительно поторопились, — сказал Иосиф Виссарионович. — Но незаменимых людей у нас нет.

— Заменяемы руки, почти любые. Их много. А талант единичен. Егорова заменить нечем! Вы отрубили голову нашей армии!

— Не преувеличивайте, Николай Алексеевич, в нашей армии много хороших голов. Борис Михайлович

Шапошников, например, не хуже Егорова разбирается в военных вопросах. И скромн.

— Борис Михайлович весьма образованный, весьма порядочный человек, прекрасный штабной работник. Но он не полководец, я не знаю, командовал ли он хотя бы сражавшейся армией...

— В случае большой войны нам нужен будет как раз крупный штабной специалист, способный осуществлять наши замыслы, — самоуверенно произнес Сталин.

— Вы, кстати, тоже не командовали воюющей армией, а тем более фронтом... У нас теперь вообще не осталось ни одного бывшего комфронта. Последняя голова полетела, — повторил я.

Было впечатление, что Иосиф Виссарионович уже тогда раскаивался в содеянном. Наступит срок, и жизнь заставит его не раз глубоко пожалеть о том, что Егорова нет рядом. Хорошо хоть действительно сохранился Шапошников, над головой которого одно время тоже сгустились мрачные тучи. В ту пору, в 1938 году, в центральном военном аппарате имелась явная раздвоенность: кроме Генерального штаба существовало специальное управление, которое ведало административными делами. Получалось так, что Генштаб в основном решал теоретические вопросы (планы строительства Красной Армии, планы стратегического развертывания, готовил заявки для промышленности), а управление размещало заявки, комплектовало, дислоцировало войска и так далее. Курировал Управление заместитель наркома обороны Ефим Александрович Щаденко. По должности они вроде на равных, но у Шапошникова была самостоятельная работа, а Щаденко всю жизнь ходил в заместителях и высшую точку свою видел в том, чтобы занять пост начальника Генерального штаба. Чем он хуже в конце концов этого бывшего золотопогонника?!

Не понимал, значит, Щаденко свою полнейшую несравнимость в военных делах с Борисом Михайловичем. Человек огромной эрудиции, высочайшей культуры, большой собранности, Шапошников умел анализировать обстановку, обладал даром предвидения, мы обязаны ему жизнедеятельностью наших высших военных органов. А Щаденко, энергичный организатор, способен был лишь осуществить принятое решение, даже крупномасштабное, но ни о каком стратегическом мышлении не могло быть и речи. Держался он на старых заслугах, на старых связях. И все острее завидовал Шапошникову, его способностям и возможностям.

Придирки и нападки Щаденко на Бориса Михайловича обострились до предела. Что бы ни предпринимал Генштаб, какие бы правильные, оригинальные замыслы ни разрабатывал, заместитель наркома Щаденко все встречал в штыки, тормозил осуществление. Он мешал работать Борису Михайловичу, делал это грубо, зло, топорно. Лишь мягкость, интеллигентность Шапошникова до поры до времени спасали положение. Но продолжаться бесконечно это не могло, тем более что поползли провокационные слухи: в августе 1935 года Шапошников, находившийся тогда по служебным делам в Чехословакии, был якобы завербован иностранной разведкой.

Надо было как-то позаботиться о нормальных условиях работы Генштаба, отвести угрозу, нависшую над Борисом Михайловичем. Однако нарком Ворошилов занял выжидательную позицию, не желая, видимо, конфликтовать со старым другом Щаденко, но и не поддерживая его нападок на Шапошникова.

Смекалистым политиканом стал к тому времени Климент Ефремович, умело взвешивал шансы «за» и «против». Кто такой Шапошников? С одной стороны, явно классовый враг: царский офицер, генштабист, военный разведчик. Сколько их вырубili под корень, а этот уцелел... К тому же беспартийный. Как ему доверять, а он на высочайшем посту, где должен находиться надежный, твердокаменный пролетарий. Но если глянуть с другого бока, получается так: Шапошников добровольно пришел в Красную Армию и служил честно. А Сталин теперь приближает к себе образованных да мозговитых, пользуется их советами, не опасаясь потускнеть, принизиться на таком фоне. Умеет поставить себя вровень с самыми эрудированными, с самыми мыслящими. И даже над ними. А сам-то Ворошилов, как и Буденный, старается держаться от таких подальше, чтобы не выделяться среди них в худшую сторону. Трудно с ними, постоянно будь начеку, не сорвись.

Все это важно, однако — не главное. Климент Ефремович догадывался, на каком прочном растворе замешено взаимопонимание и даже своеобразная дружба Сталина и Шапошникова — на обоюдной ненависти к Троцкому. В начале гражданской войны Лев Давидович высоко оценивал способности бывшего полковника, но довольно скоро разочаровался, поняв, что Шапошников не разделяет его убеждений, не будет послушно шагать к той цели, к которой стремился Троцкий. Убедившись в том, что Шапошников патриот, для которого на первом плане интересы своего народа, своего отечества, Лев Давидович проклял бывшего генштабиста, обвинил его в «великорусском шовинизме».

Как известно, Троцкий был не только очень жесток, но и скор на расправу, нежелательных людей убирал без суда и следствия, преподнеся, кстати, Сталину урок беспощадности. Приклеив Шапошникову ярлык «шовиниста», Лев Давидович, по сути, обрек его на расстрел. Лишь случай помог Шапошникову избежать смерти, о чем впоследствии Троцкий сожалел — не довел начатое до конца.

Зная все это, Сталин раз и навсегда зачислил Шапошникова в круг своих самых надежных соратников, непримиримых борцов с троцкизмом. Отсюда ясно, почему Ворошилов осторожничал, не решаясь открыто выступить против Шапошникова.

Захватив с собой главный трехтомный труд Бориса Михайловича «Мозг армии» (Сталин высоко ценил эту работу), я пошел к Иосифу Виссарионовичу, рассказал о странных отношениях Генерального штаба с Управлением, о нападках Щаденко, о распространяемых слухах. Предупредил:

— Мы лишились нашего самого большого военного практика Егорова. Теперь нашу армию хотят лишить мозга. Что же останется? Одна руководящая роль партии?

Сталин помрачнел. Оказаться без Шапошникова

было не в его интересах. Иосиф Виссарионович был очень расположен к нему, полностью доверял Борису Михайловичу: это единственный официальный деятель, которого Сталин всегда при людях называл не по фамилии, а по имени-отчеству; единственный военный, на которого Сталин никогда не повышал голос, словно бы даже благоговая перед вежливостью и безупречной правдивостью Шапошникова.

— Им не удастся нанести нам такой удар, — сказал Сталин. (Кому это «им», я не понял). — Бориса Михайловича никто не посмеет тронуть. — И, подумав, тут же принял решение: — Мы ликвидируем ненужный параллелизм руководства. Все управления должны быть включены в состав Генерального штаба. Этим мы поднимем роль нашего Генштаба. А для того чтобы укрепить авторитет Бориса Михайловича, введем его в состав Главного Военного совета... Вы согласны со мной?

— Да, Иосиф Виссарионович. Ведь Шапошников не только сам по себе, он создает целую школу умелых штабных работников.

— «Школа Шапошникова» — хорошее определение, — улыбнулся Сталин.

В ноябре того же года Борис Михайлович представил Главному Военному совету страны тщательно отработанный доклад на тридцати страницах. Он включал разделы: вероятные противники, их вооруженные силы и возможные оперативные планы и, соответственно, основы нашего стратегического развертывания на Западе и Востоке. По существу это был первый и единственный тогда документ, определявший наши военные перспективы и планы. Весь ход дальнейших событий почти полностью подтвердил все прогнозы и выводы Шапошникова.

Реорганизация Генерального штаба, произведенная по предложению Сталина, очень помогла нам в сохранении и развитии «мозгового центра» армии. Наш Генштаб значительно приблизился к требованиям того времени и действовал бы еще лучше, если бы не упадок здоровья Бориса Михайловича. Он работал много, очень много, преодолевая постоянную одышку, недомогание и слабость. Плохо было с легкими, с сердцем, с печенью. Врачи требовали, чтобы он на какое-то время удалился от дел.

После одного из докладов Иосиф Виссарионович задержал у себя Бориса Михайловича, потребовал хоть и с улыбкой, но вполне серьезно:

— Измените, пожалуйста, ваш распорядок дня. Начальнику Генштаба нужно работать четыре часа. Остальное время вы должны лежать на диване и думать о будущем.

Это был очень разумный совет. К сожалению, Борис Михайлович не мог выполнить его, слишком велика была в ту пору нагрузка, а работать без полной отдачи — не для такой натуры.

После Шапошникова пост начальника Генерального штаба занимали короткий срок то К. А. Мерецков, то Г. К. Жуков. Но это было совсем не то. Имея опыт командования крупными военными силами, являясь хорошими полководцами, они слабо разбирались в специфической службе Генштаба, по существу запустили

многое из того, что было начато до них. Особенно это показала развернувшаяся война.

В июле 1941 года, в самое трудное время, Борис Михайлович снова возглавил Генеральный штаб и внес очень большой вклад в достижение победы над гитлеровцами.

3

Прошел я сквозь страшные войны, многое пережил, много страданий натерпелся, повидал такое, что никому не дай бог видеть: разорванные тела, скрюченные трупы, умерших от голода, зияющие раны, которые невозможно ни закрыть, ни лечить. Страшно бывало, ужас охватывал. Казалось бы — закалился. И при всем том едва не потерял сознания, когда увидел пытку, услышал звериный стон человека, из-под изуродованных ногтей которого сочилась кровь. Омерзение, стыд за род людской испытал я, глядя на злобно-сосредоточенные, довольные лица палачей!

Нет, дорогие товарищи, война — это одно, там обе стороны вооружены, там без издевательства побеждает наиболее сильный, наиболее ловкий, наиболее умный. Там честно проливается кровь. И совсем другое, когда несколько дюжих палачей терзают человека, который не способен оказать им сопротивления. Дикая картина! И способны на такую мерзость лишь ненормальные субъекты с искалеченной, опасной психикой: их надо либо уничтожать, либо полностью изолировать от общества.

Есть на земле такие участки, где веками гнездится боль. Облюбовала она определенные места, обжилась, пустила корни, затягивает туда страдальцев и мучает их. Одно из таких мест в Москве — это Лубянка, начало улицы, носившей такое название. Если идти от площади — справа. Когда-то там пытали, казнили мятежных стрельцов, бунтовщиков Пугачева. Со временем в глубине небольшого, холодно-казенного сквера, отделенного от улицы массивной решеткой, вырос странный двухэтажный особняк голубого цвета с белыми полуколоннами, с балконом над парадным входом, на балконе — тоже решетка. А вдоль крыши по фасаду, не свидетельствуя о вкусе создателей особняка, выстроились какие-то темные вазы. Сие здание использовали для своих целей ежовские и бериевские соратники; многие «враги народа», особенно из числа военных, приняли здесь адские муки...

Из всех поручений Сталина, которые мне довелось выполнять, визиты на Лубянку, особенно в камеру пыток, были самыми тяжелыми. Я и сейчас содрогаюсь, вспоминая о них. Не стану приводить подробности, но и обходить молчанием отвратительные факты нельзя, без них мозаика окажется неполной и трудно будет объяснить некоторые существенные явления нашей дальнейшей жизни.

Визиты мои пришлось как раз на то время, когда кончалось господство «ежовых рукавиц» и начиналось продолжительное полномочное царствование в карательных органах Лаврентия Берии. Вероятно, Сталин

в этот период хотел иметь разностороннюю оценку положения в органах и, думается, направлял туда не только меня, выслушивал не только мое мнение. Убежден, что не все «контролеры» возмущались пытками, были и такие, которые одобряли их, во всяком случае не выступали против, боясь навлечь на себя гнев того же Ежова. А на мои слова, на мои упреки Сталин ответил: классовая борьба обостряется, в такой обстановке нельзя жалеть и щадить врагов.

— Но зачем такая жестокость?!

— А разве вы, Николай Алексеевич, не были жестоки со своими врагами? — напомнил мне Сталин. — Причем это были ваши личные счеты, а сейчас гораздо хуже: мы имеем дело с противниками нашего строя, с теми, кто ненавидит наш народ, наше государство. Как змея должна быть змеей, так и тюрьма должна быть тюрьмой. Иначе зачем нужны тюрьмы?

Когда речь заходила о врагах, об обострении классовой борьбы, он порой становился страшным, вроде бы лишался рассудка, в нем ничего не оставалось, кроме испепеляющей ненависти. Глаза почти желтые, расширившиеся — в них сумасшедшая ярость, бешеная энергия, негибкая тупая твердость: казалось, он готов собственными руками задушить, растерзать любого противника. Но такое накатывало на него редко, таким видели Сталина лишь самые близкие соратники: Ворошилов, Молотов, Каганович, Микоян. Ну и я: при мне он вообще никогда не старался скрыться под какой-нибудь маской, оставался самим собой.

Почему я, выйдя после первого посещения Лубянки в полуобморочном состоянии, не отказался от дальнейшего участия в проверках? Да потому, что рассчитывал хоть чем-то помочь несчастным, поддержать их душевные силы, вселить надежду. Каждый просил меня сообщить товарищу Сталину о полной невинности. Я обещал это, говорил им, чтобы терпели, не возводили на себя напраслины, не подписывали фальсифицированные показания. Например, говорил об этом бывшему начальнику артиллерии 25-й стрелковой Чапаевской дивизии Н. М. Хлебникову, у которого были изувечены палачами пальцы. И комкору М. Ф. Букштыновичу, совершенно белому, как полотно, то ли от потери крови, то ли от нервного перенапряжения. При этом слова мои были адресованы не только страдальцам, но и косвенно их мучителям. Я уйду, омерзительные каты опять останутся наедине с арестованными — это верно, однако каждый подумает: а вдруг Сталин поверит в невинность этих командиров, прикажет освободить их, что тогда? Как оплатят они за зверские муки? Вот на этот психологический момент я рассчитывал. И, хотелось бы думать, не без успеха. Выдержал же Константин Рокоссовский все угрозы и муки, не подписал клевету, возведенную на него, и в сороковом году, незадолго до войны, получил свободу. Но не каждый мог перенести пытки, да ведь и «профессиональный уровень» палачей был различным.

Не знаю, помогла ли Хлебникову и Букштыновичу моя поддержка или сами они, люди большой воли, сумели выстоять, не «признаться» в том, чего не было, — во всяком случае, тот и другой оказались на свободе. Причем Михаил Фомич Букштынович сыграл заметную,

особую, я бы сказал, удивительную роль на завершающем этапе войны. Но об этом — в свое время.

Я не очень разбираюсь в юриспруденции, однако горький жизненный опыт убедил меня: повсюду законы гораздо чаще защищают власть, нежели справедливость. И чем власть сильнее, деспотичнее, тем заметнее перетягивает на свою сторону чашу весов правосудия. Вот понадобилось подвести под массовые репрессии формальную юридическую основу, и сразу нашлись «специалисты», которые быстро сделали это, а заодно и собственную карьеру. Был нарушен один из главных столпов справедливости, так называемый «принцип презумпции», который гласит: не человек доказывает свою невиновность, а государство, карательный аппарат должен доказать его вину. И это весьма верно. Как может человек, тем более содержащийся под стражей, опровергнуть предъявленные ему обвинения, снять с себя подозрения?! Надо ведь провести следствие, собрать факты, найти свидетелей.. А государственный аппарат имеет все возможности, чтобы восстановить истину. Во всяком случае, имеет их неизмеримо больше. В период же массовых репрессий о справедливом расследовании не заботились. Пусть арестованный доказывает, что он чист и свят.

Особенно угодил руководству карательных органов и самому Иосифу Виссарионовичу энергичный юрист Андрей Януарьевич Вышинский. Во всех цивилизованных странах давно уже бесспорна истина: признание собственной вины нельзя считать решающим доказательством. А вдруг человек ненормален? Вдруг он берет все на себя, чтобы выгородить другого, настоящего преступника? Вдруг следователь вынудил сделать это, добиваясь какой-то собственной выгоды? Да мало ли еще что. Поэтому признание вины — это лишь одно из доказательств, отнюдь не главное. Подобный подход связан все с тем же справедливым «принципом презумпции». А вот Вышинский утверждал обратное: признание человеком вины превосходит другие доказательства. Подписал протокол допроса — отвечай по всей строгости.

Такой метод очень даже устраивал тех, кто возглавлял массовые репрессии, развязывал им руки: любой ценой вырви у арестованного признание! Одного можно припугнуть видом крови, из другого выбить, выдавить признание пытками. И нет человека. В лучшем случае ищи его в каком-нибудь северном лагере.

Юридические «труды» Андрея Януарьевича Вышинского — это не ошибка добросовестного, но заблуждающегося исследователя. Это явная попытка теоретически обосновать самочинные действия органов, придать хоть какую-то видимость законности. Отсюда и одно из главных положений, выдвинутых Вышинским: установить объективную истину в суде невозможно, ибо нельзя при этом использовать практику, как критерий истины. Преступление-то, мол, не воссоздашь, не повторишь во всех деталях. Суд использует те материалы, которые дает ему «дело»... Но извините, дорогие сограждане, он, значит, просто «утверждает» это самое «дело», все зависит только от тех, кто состряпал оное! Ну да, ведь суд-то все равно объективную истину установить не способен... Каков подход!

На практике это выглядело так. 1 декабря 1934 года был принят закон, который исключал нормальное правосудие для дел о террористических актах. Далее — закон от 14 сентября 1937 года, упрощавший судебный процесс и фактически ликвидировавший защиту по делам лиц, обвиняемых во вредительстве. Стало действовать Особое совещание, выносившее решения быстро и однозначно. Более того, Наркомат внутренних дел присвоил себе право самому принимать решения о сроках наказания, без всяких там судебных процессов и юридических норм. Без нарушения ранее существовавших социалистических законов невозможно было делать то, что тогда делалось. Эти законы фактически утратили свою силу, хотя формально и были закреплены в новой (сталинской) Конституции. Давно ведь известно: если истина мешает силе, то прежде всего страдает сама истина.

Чем дальше, тем быстрее работал страшный конвейер. Попирание элементарных человеческих норм становилось для следователей, для палачей делом обычным. Не для всех, конечно, а главным образом для тех извращенцев, которые сами тянулись к этому, получали удовольствие от своих «достижений».

Где они теперь? Сколько их? Не сквозь землю же провалились? Я не задумывался над этим до одного случая. Лет через восемь — десять после смерти Иосифа Виссарионовича мне довелось побывать в мастерской известного скульптора Вучетича. Старые знакомые попросили проконсультировать его по некоторым вопросам.

В хорошем месте была мастерская. Вообще я люблю тот уголок Москвы возле Петровской (Тимирязевской) академии, где уцелела в центре столицы обширная лесная дача, где до последнего времени были еще тихие зеленые улочки. А у Вучетича, в его переулке между Старым и Новым шоссе (теперь их как-то переименовали), деревянные домики стояли лишь по одной стороне, среди деревьев, а на другой, за забором, тянулся глухой парк с липами, посаженными еще Петром Первым. Прекрасный уголок для спокойной творческой работы.

Вечер выдался теплый, я решил пройтись пешком до шлагбаума на Рижской дороге. Машину отправил к бывшей церкви за переездом. Приятно было шагать по тихой улице, где виднелись за деревьями старые дачи, а воздух наполнен был освежающим запахом леса. Впрочем, и сюда уже добрались строители (будто мало им пустошей), прямо в уникальный лес врезались фундаменты, кирпичные серые стены домов. А я шел довольный, умиротворенный и немного грустный: вот и этот благословенный, старинный уголок начала теснить неудержимая, бессмысленная урбанизация. И вдруг чуть не вскрикнул от удивления. Только многолетняя закалка помогла мне сдержаться. Навстречу деловито, пригнув голову, шествовал человек средних лет в поношенной военной форме без погон. Вот по этому характерному наклону головы, по пробору, разделявшему надвое светлые волосы, как тропа на поле созревшей пшеницы, я и узнал одного из палачей, изощрявшегося в пытках над нашими полководцами.

Глянул в лицо: точно, он. Мелкие невыразительные черты, острый носик, узкие глаза. Еще в тяжкие тридцатые годы выделил я его среди других палачей: молодой он был, распаленный, злорадствующий, кичащийся своим превосходством над людьми, имевшими громкие, славные имена. Другие следователи-палачи были постарше, поосторожней, не демонстрировали столь откровенно свою рьяность.

Я не окликнул, не остановил его. Повернулся и поплелся следом. Это получилось как-то само собой. Значительно отстав, я все же проводил его до старого деревянного дома, неподалеку от большой кирпичной школы. Видел, как он вошел в единственный общий подъезд и открыл дверь с правой стороны.

Всегда презирал я шпионов, а тут сам не заметил, как превратился в сыщика. Сел на бревна возле женщин, лущивших семечки. Мало ли стариков прогуливается вечером по улице, да еще в районе, где заселяются новые дома. А старички любопытны, расспрашивают, что здесь было, как люди живут, какие достопримечательности, где магазины? Словоохотливые старожилы делятся своими знаниями. Без труда узнал я, что демобилизованный офицер (две полосы на погонах были, а сколько звезд — никто не помнил), несколько лет назад поселившийся здесь, занял треть старого, почерневшего от времени домика. Жена у него, двое детей. Семья тихая, женщина работает в новой больнице вроде бы фельдшерницей, дети вежливые, скоро школу закончат. А вот сам чудной, странный какой-то. На мой вопрос, в чем заключается странность, собеседницы ответили не сразу.

— Кто ж его знает. Незаметный он. Пьет только по праздникам, не скандалит, жену не бьет. А вот когда дрова колет, смотреть страшно,— пояснила одна.— Злость в нем неумная, лицо перекошено, глаза бешеные.

— В первом годе, как только сюда сменялся, он крысу в сарае поймал. Большую. Ну, убил бы и ладно, крысы-то, они ведь противные,— припомнила другая.— А он крысу в лес отнес, подвесил на сук и костер под ней развел. Крыса визжит, корчится, глаза у нее лопнули, паленым воняет, а он стоит как истукан и скалится, радуется. На визг, конечно, ребятишки сбежались, мы подошли. Страшно смотреть было, крыса-то обуглилась, а все дергается. Ну, мужики наши прикрыли это кино, а жильцу сказали, такого безобразия у нас чтоб больше не было, дети по ночам спать не станут... И что за мода — вредность такую творить! Гляди, мол, мы по второму кругу не упреждаем... И верно, он в первый и последний раз...

Если у меня и были еще какие сомнения, то слова женщин окончательно убедили: я не ошибся. Тот самый палач! Проторчал всю войну в тылах. А как начала партия вскрывать беззакония, начальство уволило его потихоньку. Живет теперь среди людей, и совесть его не мучает. Наоборот, тоскует, наверное, что рано оборвалась его карьера, копит зло против тех, кто вывернул наизнанку темное прошлое, выкинул за борт накопившуюся гадость. Не дай бог такой тип снова обретет должность, власть! Но нет, теперь уж не получится у него. Однако живет он совсем неплохо, даже почетом

пользуется, как ветеран. И сколько же их, таких, по стране, «воевавших» не с вооруженными гитлеровцами, а со своими, советскими людьми?! Не с уголовниками, отбывавшими заслуженный срок, а с безвинными «политическими» заключенными, в массе своей неспособными оказать активного сопротивления... Неужели преступления истязателей, палачей останутся без наказания, забудутся за давностью лет?! Замазанная краской несоскобленная ржавчина все равно остается ржавчиной, хоть и скрыта от глаз; ее не видно, однако она точит, разъедает металл. Зачем нам, создателям светлого общества, такая вредная погань? Не лучше ли вскрыть ее и навсегда отделаться от обузы прошлого?

Предавать суду каждого из бывших следователей, мучителей, палачей? Нет, не стоит, пожалуй. Слишком много всплывет грязи и вони. Не палачей жалко, а их детей, внуков, родных и близких. Они-то ведь ни при чем. Они, может, даже гордятся своим «боевым» дедом... Но и забыть, простить негодяев нельзя, хотя бы для того, чтобы не давать разлагающего примера новому поколению. Да и миллионы жертв вопиют против забвения. Почему бы не лишить палачей всех почестей, привилегий, которыми пользуются у нас бывшие офицеры?.. Это — элементарная справедливость.

Так спокойно я рассуждаю теперь, когда прошли годы после случайной встречи с негодяем. А тогда я, охваченный тяжелыми воспоминаниями, не удержался от решительных действий. Дождался, пока он снова вышел из дома. Опять последовал за ним, теперь не скрываясь. Он почувствовал что-то неладное — занервничал, остановился. А я заявил, что узнал его, что помню, как вот этими самыми руками он истязал заслуженного нашего генерала...

— Чего надо? Чего привязался?! — с тупым однообразием повторял негодяй, избегая смотреть мне в глаза.— Попробуй докажи теперь! Мотай отсюда, старый идиот!

Его наглость, его «тыканье» в мой адрес подлили масла в огонь.

— Докажу,— повысил я голос.— Жив Букштынович, жив Рокоссовский, живы и другие товарищи. Я приду с ними. Я сообщу все вашим детям, а товарищи покажут им свои шрамы. Я познакомлю ваших детей со всеми подробностями, понимаете вы это, садист?!

Тут от побелел, лицо его вдруг совсем обескровилось, утратило подвижность, превратилось в белую маску. Наверное, он очень любил семью, и я поразил его в самое болезненное место. Я торжествовал и сгоряча нанес еще один пожалуй, чересчур сильный удар.

— Наберитесь мужества, сами сообщите все своим близким. Или стыдно? Или язык не поворачивается? А сдирать ногти с пальцев, ломать кости людям было не стыдно? Если вы не скажете детям сами, это сделают за вас другие. И в ближайшие дни!

С тем я и ушел. Но что-то мучило меня, я не знал, насколько правильно поступил. Что делать в таких вот случаях? И через несколько суток опять поехал на ту улицу, вновь подошел к женщинам, судачившим в своем «клубе» — на сваленных бревнах. От них я узнал, что жилец повесился! И не просто повесился, а сделал все обдуманно, профессионально, наверняка:

сунув голову в приготовленную проволочную петлю, перерезал себе горло.

Я понял, что он ничего не сказал детям. И правильно. На его месте я поступил бы таким же образом, ушел сам, унося с собой ответственность за содеянное. Жестокость порождает жестокость, за все надо расплачиваться. Самому — не другим.

А в том, что произошло — Бог нам судья. И ему, и мне.

4

Теперь, сквозь призму лет и событий, мы иначе, чем тогда, воспринимаем и оцениваем многие явления, вырывая их из обстановки, господствовавшей в ту пору, изолируя от настроений, от образа жизни, от уровня мышления тридцатых годов. А ведь положение в мире было тогда суровое, грозное. Пожалуй, одна лишь Америка, разбогатевшая на поставках мировой войны, блаженствовала за океаном, не зная других бед, кроме безработицы. А Европа уже извела страшную мясорубку, ожесточилась в долгой и ничего не решившей войне, особенно побежденные немцы. Все ясней становилось, что новой бойни не избежать, а верх одержит тот, кто будет сильнее, организованнее, то есть те правители, которые сплотят вокруг себя массы в собственном государстве, дадут им понятную заманчивую идею, сосредоточат в руках максимум власти. Одна за другой рождались и крепились диктатуры: Муссолини в Италии, Гитлер в Германии, Франко в Испании. Вообще двадцатые — тридцатые годы в Европе характерны буйством политических интриганов, авантюристов. Они спешили «поцарствовать», вкусить славы, набить карманы, словно чувствовали, что скоро стреножит их новая большая война, а после войны появится атомное оружие, резко ограничившее возможности политических интриганов. Появится другая мера ответственности. А пока, по словам Ромена Роллана, господствовали «маньяки, одержимые отвлеченными идеями, помешанные на логике, всегда готовые принести других в жертву какому-нибудь из своих силлогизмов. Они постоянно говорили о свободе, но меньше всего были способны понимать и терпеть ее».

В нашей стране положение осложнялось не только внешней обстановкой (одно социалистическое государство против всего капиталистического мира), но и внутренней борьбой, продолжавшейся после гражданской войны и ожесточавшей людей. Вот пример, показывающий, как за короткий срок изменилась психология граждан, как очерствели в кровавых схватках сердца. В 1906 году, когда лейтенанта Шмидта после восстания на «Очакове» приговорили к казни через повешенье, во всей России, по всем тюрьмам искали, но не нашли палача, который публично привел бы приговор в исполнение. Даже палачи-профессионалы отказались от такой «честь».

Повешенье заменили расстрелом. Вывезли Шмидта на пустынный остров Березань, поставили его и еще трех моряков к вкопанным столбам. Для расстреляния был подобран взвод матросов-новобранцев, самых

забитых, неграмотных. Для перестраховки за матросами построили еще взвод пехотный, сплошь из инородцев, которые по-русски читать не могли и объяснялись с трудом. Для них фамилия Шмидта была пустым звуком. Но даже и эти люди не желали брать грех на душу. В четырех человек с близкого расстояния стрелял взвод — три десятка винтовок. А после первого залпа убит был лишь один моряк. Шмидт и его сосед ранены. А матроса Антоненко пули вообще не задели.

Столь же неточным оказался и следующий залп. Антоненко стоял невредимый. А третий раз матросы-новобранцы стрелять отказались. Их место занял пехотный взвод. Снова грянул залп, но моряк, хоть и раненый, держался на ногах.

Никто не хотел убивать даже незнакомых людей. А через некоторое время у нас в стихах начнут воспевать детей, выступивших против родителей или донесших о их ненадежности. Войны, взаимная ненависть расшатали нравственные основы общества, поднялась со дна всякая бездуховная грязь и, получив права, начала оказывать влияние на весь жизненный процесс. Для подобных субъектов расстрелять человека — все равно что орех щелкнуть.

Эти оттенки тоже надо учитывать для понимания того, в какой обстановке работал Сталин, чем вызывались его решения, которые новому поколению могут показаться слишком крутыми и жестокими.

Я стремлюсь осветить те грани характера Иосифа Виссарионовича, которые лучше знаю. Но образ этот многосложный. Хорошо, если найдутся люди, которые постараются осветить другие особенности, другие дела Сталина. Может, тогда и сложится объемный портрет. А он нужен не только для нас, но и для потомков, для понимания исторических процессов. Как ни суди, по-доброму или по-плохому, но одно бесспорно: людей, подобных Сталину, на нашей планете было немного. По пальцам пересчитаешь.

Конечно, я мог если не порвать, то хотя бы ослабить наши дружеские связи. Но я дорожил ими, так как привязался к Иосифу Виссарионовичу, ценил его отношение ко мне. Вокруг Сталина все меньше оставалось товарищей, способных говорить ему правду. Росло влияние лстивого Берии, появлялись какие-то подхалимы. И была мысль: если я не открою ему глаза на истину, то кто решится сделать это?

И еще. Иосиф Виссарионович стремился к воссоединению всех российских земель, утраченных во время революции. Сие было и моей мечтой, смыслом жизни. Я радовался, что так же настроен и Вячеслав Михайлович Молотов, ведавший тогда у нас внешней политикой.

Часто вспоминались слова Брусилова: «с кем народ, с тем и я». Мне казалось, что основная масса народа идет за Сталиным. Значит, это и мой путь.

Трогала его забота обо мне. Пусть не всегда последовательная, не всегда необходимая, но зато искренняя. Вскоре после того, как в Красной Армии были введены персональные знания и пересмотрена форма комсостава, Иосиф Виссарионович сказал шутливо:

— Николай Алексеевич, вы офицер Генерального

штаба. Нет ли у вас замечаний по новому обмундированию генштабистов?

— Удобная, красивая форма с элементами традиций русской армии.

— А вам она сшита?

— Пока еще нет.

В тот же день ко мне явился закройщик, через несколько суток обмундирование было готово. Нравился мне китель с бархатным воротником, окантованным белой каймой. В нем я и предстал перед Иосифом Виссарионовичем. Он осмотрел мундир очень внимательно и остался доволен.

— Мы будем постоянно улучшать и совершенствовать форму бойцов и командиров Красной Армии,— удовлетворенно произнес он.— Это один из способов укрепления дисциплины.— И вдруг, остановившись рядом, переменял тему разговора.— Николай Алексеевич, а вам не обидно, что многие ваши бывшие сослуживцы, ваши ровесники далеко обошли вас в звании?

— Не сетую. Девизом Лукашовых, извините за выпренность, давно уже служат слова Суворова: «Не льстись на блистание, но на постоянство».

— Воздаю вам должное, дорогой Николай Алексеевич. При необходимости мы можем присвоить вам любое звание. Но было бы нежелательно выделять вас, привлекать к вам внимание. Генерал Лукашов сразу будет замечен, а просто Лукашов может инкогнито появляться там, где нужно. Впрочем, у вас и так очень высокое звание: советник по важнейшим военным и государственным делам. Тайный советник,— подчеркнул Иосиф Виссарионович.

— Это скорее не звание, а должность.

— И то, и другое. В дореволюционной табели о рангах тайный советник занимал высокое положение. А звания нашего времени от вас не уйдут.

— Спасибо. Меня вполне устраивает то, что есть.

Я действительно привык к своей не совсем обычной работе, которая мне нравилась многообразием и ответственностью, и почти не думал о чинах и званиях. Разве самолюбие иногда страдало: тот же Борис Михайлович Шапошников, мой боевой коллега, был известен теперь по всей стране, да и в мире, а я так и остался подполковником, нахожусь в столь густой тени, что совершенно не виден и не слышен. Даже старые товарищи потеряли меня из вида, забыли обо мне. Но ведь, с другой стороны, именно такой советник, не имеющий ничего внешнего, работающий только на него, такой советник и нужен Иосифу Виссарионовичу.

Если исходить из прежней табели о рангах, то я, скромный подполковник Генерального штаба, обрел весьма высокий — второго класса — чин: действительный тайный советник при царе имел право носить по три орла на золотом погоне. В военной иерархии это означало: полный генерал или адмирал. А ежели считать по гражданскому ведомству — обер-камердинер или обер-гофмаршал, то есть лицо, приближенное к царствующей семье. Вот как вознес меня Сталин! Над собой я подшучивал: быстро, рывком, «революционным путем» сделал блестящую карьеру! Оставаясь при этом в полной неизвестности.

Не прошло и месяца — снова разговор о моих интересах.

— Николай Алексеевич, извините, что вмешиваюсь в личную жизнь, но ваши бытовые условия мне не нравятся,— сказал Сталин.— Совершенно не нравятся.

— Чем?

— У вас и квартира, и кабинет, и библиотека — все вместе. Это учреждение, а не жилплощадь. Раньше мы были бедны, раньше мы были моложе и мирились со многими неудобствами. А теперь и здоровье хуже, и работать приходится больше. Так совершенно нельзя.

— Не то чтобы совершенно, а порой трудновато бывает. Дочь подросла, домработница...

— Вот именно,— кивнул Иосиф Виссарионович.— Лес, тишина, свежий воздух — это полезно и ребенку, и вам. Необходим загородный дом недалеко от Москвы и недалеко от меня. Вчера я был на Успенском шоссе, заехал и посмотрел. Вам тоже надо съездить. Может, понадобится что-то переделать.

— Я не совсем понимаю...

Он пристально посмотрел на меня и вдруг произнес с грустью:

— Все мы не вечны, дорогой Николай Алексеевич. Хочу, чтобы вы ни от кого не зависели, когда не станет меня.

— Об этом я говорить не желаю.

— Говори не говори, а время идет,— невесело усмехнулся Иосиф Виссарионович.— Юристы позаботятся, чтобы этот дом принадлежал вам и вашим наследникам.

— Очень признателен! — Я был не только ошеломлен, но и растроган такой заботой.— Мне, конечно, было бы очень хорошо за городом, тем более что и места там знакомые, привычные по казенной даче. Но простите, у меня нет... никаких сбережений.

— Неужели вы думаете, что я не знаю об этом! — повеселел Иосиф Виссарионович.— Вы внесете символическую сумму, которая не очень обременит вас.

— Просто неловко.

Сталин резко повернулся ко мне, желтовато блеснули глаза.

— Вы знаете, сколько у нас появилось хапуг и стяжателей! — гневно произнес он.— Вчера арестовали жену нашего очень уважаемого товарища, партийного работника. Прикрываясь его авторитетом, эта женщина брала на ювелирной фабрике золото и камни по самой низкой цене. Обогащалась. За чужой счет ехала в князи... А вы? Сколько имений, сколько земли взяла у вас революция?

Я ответил. А Сталин продолжал:

— Этот дом, в котором вы будете жить, этот участок земли — лишь мельчайшая доля того, что вы утратили. Но даже если бы вы ничего не утратили, вы, Николай Алексеевич, заслужили гораздо больше.

— Значит, опять стану помещиком? — пошутил я.

— Нет, не станете,— серьезно ответил Иосиф Виссарионович.— Это вам для отдыха и для работы от благодарного народа за долгую, трудную и честную службу.

— Лучше, если просто от вас.

— Ну что ж,— весело согласился он.— От меня, как от руководителя народа, как от главы нашей партии.

Повторю еще: очень тронула меня забота Иосифа Виссарионовича. Он словно бы угадал мое смутное, еще не определившееся желание, и угадал очень точно. Поселиться в уютном особнячке среди старого соснового леса, поблизости от Москвы-реки,— что может быть лучше! Дом и участок пришлись мне по сердцу. Свое, не временное жилье. Было теперь где поразмыслить спокойно, поработать. В дачный кабинет я перевез любимые книги. В гараж, за неимением собственной автомашины, мы с дочкой поставили велосипеды. Дочка и старая женщина, которая вела хозяйство, тоже влюбились в наш дом и проводили здесь все свободное время.

А самое главное, пожалуй, вот что: протянулись от нашего дома тропинки, по которым нравилось ходить не только мне, но и Иосифу Виссарионовичу. Постепенно мы к ним очень привыкли. Если в прежние годы мы со Сталиным встречались главным образом по делам, то теперь все чаще и чаще отдыхали вдвоем, иногда — с дочерьми. Он звонил, заезжал за мной, оставляя автомобиль возле дома, и мы отправлялись гулять. Или я приезжал к нему — благо что близко. С этого времени он практически отказался от всех других дач. Оставались только «Блины» — дом в Кунцеве, где ему нравилось уединенно работать, и Дальняя дача, где почти постоянно находились его дети, Василий и Светлана. Там же рядом и Микоян обретался со своими мальчиками, и Молотов обзавелся большой дачей в лесу на берегу реки против Убор. Туда же, в этот красивый район, в «подмосковную Швейцарию», между Барвихой и Успенским, протянулись и другие высокопоставленные деятели. В обширных лесах вокруг Жуковки, где еще недавно любил охотиться Владимир Ильич, быстро и бесшумно росли удобные виллы. Но тогда, до войны, их было еще не очень много.

5

В самом конце октября 1938 года состоялось расширенное заседание Политбюро, на которое, по поручению Сталина, меня пригласил Поскребышев.

— Какой вопрос? — поинтересовался я.

— НКВД,— коротко ответил Поскребышев, никогда по телефону не вдававшийся в подробности.

На этот раз — не мое ведомство, чужая епархия, но либо я понадоблюсь Иосифу Виссарионовичу, либо он считает, что я должен получить некую информацию, быть осведомленным.

Кроме членов Политбюро присутствовало довольно много людей. За длинным столом сидели тесно, плечо в плечо. Возле Николая Ивановича Ежова человек пять или шесть, кто в форме, кто в гражданском, но все явно провинциалы, встревоженные и взволнованные тем, что оказались в Кремле, на самом

верху. Против них — Л. М. Каганович, контролировавший и направлявший в ту пору деятельность НКВД.

Хмурился, потирая высокий лоб, писатель Михаил Александрович Шолохов. Он-то, как выяснилось, и был «возмутителем спокойствия». Рассматривалось так называемое «дело Шолохова». После войны, после смерти Сталина, оно получило широкую известность, упоминается в шолоховской переписке, подробно изложено в воспоминаниях бывшего секретаря Вешенского райкома партии П. К. Лугового. Поэтому я не буду вдаваться в детали, а упомяну лишь то, что необходимо для уяснения сути.

В 1937 году было арестовано все руководство Вешенского района, во главе с первым секретарем райкома, всего семь или восемь человек. Обвинение стандартное — «враги народа». И участь ждала их соответствующая: расстрел или лагеря. Но тут поднялся на дыбы Шолохов. Поехал в Москву, добился встречи со Сталиным, принялся доказывать, что вешенские товарищи — верные коммунисты, преданные делу партии. Все они — его друзья. Если они враги народа, то и он тоже.

Выслушав горячие слова писателя, Иосиф Виссарионович тут же позвонил Ежову и попросил его лично разобраться с делом арестованных вешенцев. И к тому же, для объективности, встретиться с арестованными в присутствии Шолохова. Тем самым Иосиф Виссарионович ясно выразил свое отношение... Ну, а результат был такой: все обвинения рассыпались, как карточный домик, они были или подтасованы, или «выбиты» на допросах. Все товарищи были освобождены и полностью реабилитированы — Петр Луговой опять занял должность первого секретаря райкома.

Казалось бы — все в порядке. Ан нет, самолюбие Николая Ивановича Ежова было крепко ущемлено. По существу, он дважды расписался в ошибках двух организаций, которыми руководил. Как нарком внутренних дел: были арестованы невинные люди, обвинение против которых состряпали сомнительными способами. Пришлось признать это и извиниться. Второе: как секретарь ЦК ВКП(б) и председатель Комиссии Партийного Контроля он допустил неправильное исключение коммунистов. И вынужден был лично подписать бумагу о восстановлении их в рядах партии, и еще раз принести свои извинения. И это он, человек, обладающий почти неограниченной властью, по одному слову которого расстреливали десятки людей! Разве не обидно, не оскорбительно для него фактически дважды плюнуть в собственную физиономию! А кто виноват? Писатель, бумагомарака, не имеющий ни должностей, ни знаний. Подумаешь, книгу сочинил! Еще не известно, польза или вред для Советской власти от этого самого «Тихого Дона».

Ненависть Ежова была так велика, что он решил уничтожить, стереть в порошок писателя, осмелившегося встать у него на пути. Средства для этого имелись испытанные. Начальник Ростовского областного управления НКВД получил указание собрать материал на Лугового и главным образом на Шолохова. Он, мол, является руководителем повстанческих отрядов на До-

ну, у него в доме собираются командиры повстанческих групп, обсуждают планы свержения Советов. Конкретно этой «работой» занялись сотрудники областного аппарата НКВД Коган и Щавелев, а также сотрудники районного отделения внутренних дел. Избивая арестованных казаков, угрожая им оружием, добывали показания против Шолохова. Более того, Коган направил в Вешенскую своим агентом инженера Ивана Погорелова, бывшего комсомольского работника, орденоносца. До этого его выгнали с работы, ему грозило исключение из партии, грозил арест, но ему было сказано: соберешь данные против Шолохова — снимем с тебя все подозрения.

Погорелов действительно вошел в доверие к Луговому и Шолохову, часто бывал у писателя дома, мог бы стать веским «свидетелем» против него. Но честный был человек, совесть заела. Пришел к секретарю райкома, выложил всю правду. Тот сразу понял, какая угроза нависла над Михаилом Александровичем, над ним самим, над теми, кто недавно был освобожден и оправдан. Упекут в тюрьму, состряпают дело, потом попробуй докажи, что невиновен.

Луговой с Погореловым отправились к Шолохову. Дождавшись ночи, они на машине писателя, никому ничего не сказав, вместе с Михаилом Александровичем выехали в Москву. Их пытались перехватить по дороге, но не смогли.

В столице Шолохов добился встречи со Сталиным и имел с ним продолжительную беседу, отнюдь не по вопросам художественного творчества. Просил оградить его и вообще честных людей, коммунистов, от клеветы и преследования.

И вот — заседание Политбюро. Были приглашены работники Ростовского областного НКВД и Вешенского районного отделения. Здесь же находились Погорелов и Луговой. Можно было бы удивиться, зачем Сталин собрал столько людей, зачем ему понадобился спектакль со многими действующими лицами, если он мог решить вопрос одним своим словом, одним телефонным звонком, но я не удивился: я слишком хорошо знал Иосифа Виссарионовича и с самого начала заседания понял, какие серьезные последствия оно будет иметь.

Представитель Ростовского НКВД начал пространно докладывать о том, как плохо работает Вешенский райком партии. Луговой возразил ему: район считается одним из лучших на Дону... Борьба сторон шла на равных, но вот Молотов подал реплику: почему в области пять тысяч арестованных коммунистов, почему не разбираются с ними, не выпускают невинных, а, наоборот, арестовывают новых и новых? Что, в области все коммунисты — враги народа?

Такой вопрос Молотов мог задать наверняка лишь с согласия Сталина.

Атмосфера сгущалась. Иосиф Виссарионович остановился возле Когана. Тот вскочил, под пристальным взглядом Сталина лицо его стало меловым.

— Скажите, вы получали указания оклеветать товарища Шолохова?

— Да, получал.

— Вы засылали к товарищу Шолохову в качестве

доносчика и провокатора находящегося здесь товарища Погорелова?

— Да, засылал.

— Вы угрожали на допросах оружием, добиваясь клеветнических показаний против товарища Шолохова?

— Да, угрожал, — как заведенный обреченно повторял Коган.

— Кто давал вам такие распоряжения?

— Начальник областного НКВД товарищ Григорьев. — Голос Когана дрогнул. — Эти распоряжения были согласованы с товарищем Ежовым.

— Нет! — поднялся Ежов. — Я ничего не знаю об этом!

— Может, у вас очень короткая память, товарищ Ежов? — перевел на него отяжелевший, похолодевший взгляд Сталин. — У нас есть возможность её освежить. Вы практически обезглавили Ростовскую партийную организацию. И другие наши организации. Николай Алексеевич, — повернулся вдруг он ко мне, — сколько военных работников арестовано за последний год?

— С мая прошлого года, со дня процесса над группой Тухачевского, — сорок тысяч человек.

— Вы слышали, товарищи, сорок тысяч! Это не борьба за чистоту наших рядов, это огульное избиение кадров. Я подозреваю, что к военным работникам применялись те же методы, что и в Ростове. Из них вышибали показания, которые нужны были Ежову. Во всем этом надо глубоко разобраться...

Не знаю, кому как, а мне стало ясно: песенка Николая Ивановича Ежова, «кровавого карлика», была спета. Может, еще и побултыхается на поверхности какое-то время, но он уже обречен. Сталин начал поднимать «откатную волну»; опыт в этом деле у него имелся большой. Устроив спектакль, Иосиф Виссарионович достиг нескольких целей. Выдающийся советский писатель воочию убедился, как тщательно и объективно разбирает Политбюро сложные вопросы, как заботится о людях, о справедливости сам Сталин.

Еще вот что. Ежов, конечно, допустил грубейшую ошибку, из числа тех, которые не прощал Иосиф Виссарионович. Один раз он уже выступал в защиту Шолохова и его друзей. Выбор Сталина был ясен. А Ежов, ослепленный злобой, опьяненный властью, решил поступить по-своему, выбрал окольный путь, чтобы расправиться с Шолоховым. Не посчитался с мнением Сталина, вышел из подчинения и тем самым вынес себе приговор. Да и вообще пора, пора было убирать Ежова, он слишком много знал, слишком одиозной стала эта фигура. Он сыграл свою роль, хватит.

Вскоре Николай Иванович Ежов был арестован вместе со своими многочисленными соратниками и помощниками. Почти все они были расстреляны.

В декабре 1938 года Народный комиссариат внутренних дел возглавил Лаврентий Павлович Берия. О его делах речь впереди, а сейчас хочу, к месту, сказать вот о чем. У меня сложилось такое впечатление, что Сталин с самого начала не был полностью убежден в виновности Тухачевского, Уборевича, Якира и других военных руководителей. Его одолевали сомнения. Вспоминается такой факт. В Кремле состоялось совеща-

ние высшего комсостава РККА, на котором обсуждался процесс по делу изменников Родины. Присутствовали командиры, недавно вернувшиеся из Испании. Почти все выступавшие говорили о бдительности, о том, как они подозревали тех, кто теперь осужден.

Но вот слово дали Кириллу Афанасьевичу Мерецкову. Все присутствовавшие, в том числе и Сталин, хорошо знали, что Мерецков долго служил вместе с Уборевичем. Ждали, что Мерецков начнет каяться, рассказывать о своем недоверии к Уборевичу и так далее. А он заговорил совсем о другом, о боевом опыте, который получен в Испании и требует обобщения и распространения. В зале раздавались недовольные реплики, кто-то крикнул: «говори о главном!», а Кирилл Афанасьевич продолжал развивать свою тему. Обстановка накалялась. Вмешался сам Иосиф Виссарионович, спросил Мерецкова, как он относится к повестке дня совещания! А Кирилл Афанасьевич ответил такими словами, что многие, наверно, втуне пожалели его:

— Удивляюсь товарищам, которые говорили здесь о своих подозрениях и недоверии. Если они подозревали, то почему же раньше молчали? Это странно. А я Уборевича ни в чем не подозревал, безоговорочно ему верил и ничего плохого не замечал.

Зал замер: все, конец Мерецкову! А Иосиф Виссарионович произнес доброжелательно:

— Мы тоже верили. Вы честный человек, товарищ Мерецков, и я вас правильно понял. А ваш испанский опыт не пропадет, вы получите более высокое назначение.

И действительно — получил. Вот ведь как обернулось! А после ареста Ежова Иосиф Виссарионович приказал тщательно расследовать, как готовился процесс над группой Тухачевского — Уборевича. Были допрошены все, кто вел следствие, кто имел отношение к суду. Сразу выяснилось, что арестованные подвергались пыткам, что признания были вырваны силой, в них много путаницы, что ни один пункт обвинения фактически не доказан. (Документы «Абвера», полученные через Бенеша, при этом не упоминались.) Расследование показало, что все выдвинутое против Тухачевского и Уборевича — подтасовка и ложь, что преступники не они, а те, кто готовил процесс. Их, этих преступников, следователей ежовского клана, судили и ликвидировали. Но, увы, при этом пострадавшие военачальники не были оправданы, реабилитированы. Почему? Может, на Сталина продолжало влиять досье «Абвера»? Или не хотел признавать, что допустил большую ошибку? Сталин — не ошибается! В политике ведь так: выбирают вариант, который не обязательно справедлив, но обязательно выгоден.

6

Укоренившись в Москве, Лаврентий Павлович чувствовал себя весьма уверенно. Отныне он никого не боялся, за исключением, разумеется, самого «хозяина». А тот в ту пору полностью доверял ему.

Новая метла по-новому метет — это сразу сказалось во всем, даже в быту тех, кто был близок к Иосифу Вис-

сарионовичу. Кончилась нормальная жизнь персонала, имевшего какое-либо отношение к Сталину, обслуживавшего семью в Кремле и на дачах. Все были взяты на службу в органы, получили соответствующие звания, обязаны были являться на собеседования и занятия. И повара, и садовники, и все прочие. Даже постаревшая няня Светланы получила звание младшего лейтенанта. Но она, единственная, пожалуй, заявила во всеуслышание, что чихать хотела на всю эту ерунду. Ни разу не одела форму и ни на какие инструктажи не являлась. Берия не решался трогать эту женщину, заменившую Светлане мать. Светлана такой скандал могла закатить, что Лаврентию Павловичу жарко бы стало. Для Иосифа Виссарионовича Светлана — единственный свет в окошке, он называл ее «хозяйской», «воробышком, согревающим мое сердце». Попробовал бы кто выступить тогда против нее! И вот, благодаря вольнодумству няни и независимому характеру Светланы, на Дальней даче, где постоянно жили также родители Надежды Сергеевны Аллилуевой, сохранялась спокойная семейная обстановка. Это, пожалуй, был единственный островок, на который не распространялось влияние Берии. А за пределами этого крохотного «пятачка» Лаврентий Павлович распоряжался повсюду.

Заняв новый пост, Берия прежде всего позаботился о том, чтобы «убрать» тех людей, которые знали Иосифа Виссарионовича до 1905 года, знакомых по Гори, по духовной семинарии, по началу революционной работы. Для чего, какая тут была подоплека? Уловил Лаврентий Павлович желание Сталина «освободиться» от тех, с кем встречался в детстве и в юности. Могу сказать точно, что Иосиф Виссарионович не отдавал распоряжения «убрать» родственников своей первой и второй жены. Сие столь же достоверно, как и то, что относился он ко всей этой многочисленной родне весьма настороженно, постоянно ожидая каких-либо каверз или подвоха. И вообще они слишком много знали о его обычных человеческих слабостях.

Искоренение родственников Иосифа Виссарионовича вел Лаврентий Павлович планомерно, по старшинству. Сначала был арестован брат первой жены Сталина, один из старейших революционеров Грузии, примерно ровесник Иосифа Виссарионовича — Александр Сванидзе. После семнадцатого года он занимал высокие посты в своей республике, был членом ЦК Грузинской компартии. Его супруга, выросшая в богатой еврейской семье, получила музыкальное образование, пела в опере. Ее тоже взяли вместе с Александром. Затем — сестру Александра по имени Марико (Маро), работавшую у Енукидзе, и самого Енукидзе.

Из тюрьмы Сванидзе не возвратились.

Настала очередь аллилуевской линии. Тут опять совпали личные интересы Сталина и Берии. Оба они всегда настороженно относились к мужу Анны — сестры Надежды Сергеевны — к Станиславу Роденсу. Почему? Этот поляк был верным другом Дзержинского, благодаря Феликсу Эдмундовичу занимал высокие посты в ЧК. Для Иосифа Виссарионовича это служило отнюдь не лучшей рекомендацией. Кроме того, в семейном конфликте Роденсы всегда поддерживали Надеж-

ду Сергеевну, это ведь к ним она намеревалась уехать от Сталина после окончания Промакадемии. А Берия встречался с Роденсом, когда тот работал в Грузии, между ними возникли резкие трения. И вот, едва став наркомом внутренних дел, Лаврентий Павлович срочно вызвал Роденса, находившегося в Казахстане, в Москву и после недолгого разговора в своем кабинете отправил в тюрьму. Вскоре его расстреляли.

Брат Надежды Сергеевны Аллилуевой-Сталиной Павел Аллилуев, к тому времени известный дипломат, не скрывал своего возмущения расправой со Сванидзе и Роденсом. Дважды он приезжал к Иосифу Виссарионовичу в Кремль, ожидал его на Дальней даче, намереваясь поговорить о родственниках, защитить их, но Сталин не пожелал встретиться с Павлом Сергеевичем. Больше того, один за другим были арестованы почти все друзья и просто сотрудники Павла Сергеевича, вокруг него образовалась пустота. А осенью 1939 года он неожиданно скончался от сердечного приступа. Кто и как довел его до такого состояния,— трудно сказать. Темное дело. Во всяком случае, Берия после войны сумел обвинить вдову Павла Сергеевича в том, что она, будучи вражеской шпионкой, отравила мужа. И вдову вместе с Анной Роденс тоже упрятали в тюрьму на десять лет.

Ну, хватит перечислений. Хочу сказать лишь вот что: из всей родни по линии сталинских жен уцелели только старики Аллилуевы — Ольга Евгеньевна и Сергей Яковлевич. Может быть, их спасло покровительство «хозяйки» Светланы, вместе с которой они жили. А может, не тронули их потому, что не представляли они никакой угрозы Иосифу Виссарионовичу и Лаврентию Павловичу. Теперь Сталин мог писать, говорить о своем прошлом, что хотел: возражать, оспаривать было некому.

Ольга Евгеньевна как-то очень спокойно восприняла трагедию своих детей. Обладательница «черной розы» была по-прежнему моложава, деятельна, если о чем и вспоминала вслух, то о своих любовных похождениях, и чем дальше, тем беззастенчивей. А Сергей Яковлевич, потрясенный смертью дочери, постыдным поведением жены, всеми последующими событиями, замкнулся так, что из него слова нельзя было вытянуть. Молча, сосредоточенно возился с какими-то железками, что-то чинил, поправлял. Вот так тихо и скромно дотянул он до 1945 года.

Ко мне Берия, сделавшись наркомом, приставил двух охранников, Какулию и Какабадзе, оба темные, волосатые, жилистые. Встретишь ночью — шарахнешься от таких абреков. Они следовали за мной на улице, один из них дежурил или возле моей городской квартиры, или в будочке возле дачи. Постоянное присутствие этих соглядатаев надоедало и раздражало. Обходился же прежде без них. Казалось, что абреки не столько охраняют меня, сколько ждут распоряжения Берии инсценировать несчастный случай с летальным исходом.

Решил при первой же возможности попросить Иосифа Виссарионовича, чтобы освободил меня от опеки, и вообще сказать ему: слишком уж заметным, слишком назойливым становится засилье грузин, причем самых необразованных и невоспитанных.

Чаша терпения моего переполнилась, когда в Москве появилась Александра (Ася) Какашидзе, которую считали дальней родственницей и любовницей Берии. Ее, вдруг назначили комендантом Кремля. Лаврентий Павлович был явно неравнодушен к этой странной особе с нервически-резкими движениями. Ходила она в военной форме, всегда с кобурой на ремне, распоряжалась безапелляционно гортанным неприятным голосом — будто ворона каркала. Влияние ее не только в Кремле, но и вообще в органах безопасности быстро росло. Когда арестовали нескольких командиров по ее прямому указанию, по капризу этой бабенки, я счел необходимым высказать свое мнение Сталину, причем, сделал это при Берии и в весьма решительной форме. Упомянул о своих охранниках, о засилии бериевских ставленников, что вызывало у многих людей закономерное недовольство. Иосиф Виссарионович слушал меня спокойно, даже слишком спокойно и сосредоточенно, что свидетельствовало о нараставшей буре. У Берии же багровели мясистые щеки, кровью налились глаза под стеклами очков. Крикнул что-то по-грузински, заговорил быстро и зло, кивая в мою сторону, однако Сталин сразу оборвал его:

— Лаврентий, сколько раз повторять: говори на русском языке,— ледяным тоном произнес Иосиф Виссарионович.— Мы не в батумском ресторане.

— Это касается только нас!

— Здесь не место для личных разговоров. Мы находимся на службе партии и государства, а в Советском Союзе государственный язык русский. Или ты хочешь, чтобы мы все не понимали друг друга?

— Нет, я не хочу,— сразу сник Берия, сообразив, что выговор не случаен, что это лишь вступление, за которым может последовать взрыв гнева.

Лицо Сталина побледнело, он хмурился. А Берия хорошо знал, каким испепеляющим разрядом может разразиться сгущавшаяся туча.

— Великий и мудрый! — почтительно заговорил Лаврентий Павлович (не знаю, как по-грузински, но по-русски это звучит слишком уж льстиво, я бы сказал, с примитивной, отталкивающей лестью).— Великий и мудрый, прости, если я ошибаюсь!

— Кого ты набрал в охрану, Лаврентий?! Каким местом ты думаешь, Лаврентий, и думаешь ли вообще?! Тут я не удержался:

— Одни фамилии чего стоят! Обратите внимание, кроме Какулии и Какабадзе, есть еще и Какачишвили, Мочаидзе, Мочевариани и даже Ирод Джопуа.

— Вот как?! — произнес Сталин, несколько ошеломленный таким перечнем, и умолк, задумавшись.

Вероятно, я, не заметив того, пересек грань, отделяющую сарказм от юмора, и это спасло Берию. Мысли Иосифа Виссарионовича потекли в другом направлении, и он разразился не гневом, а смехом.

— Лаврентий, где ты набрал сразу столько засранцев?! — с особым нажимом произнес он смачное слово.— Зачем ты привез сюда засранцев со всей Грузии? — весело и почти беззвучно смеялся Сталин, расправляя чубуком трубки усы.— Отправь их назад, не позорь себя и меня. Найди им дело в Пицунде и на Рице.

— Сейчас, великий и мудрый! — воскликнул Берия, стараясь улыбнуться. — Отправлю сегодня!

— Можешь не торопиться. Даю тебе неделю вычистить авгиевы конюшни. — Иосиф Виссарионович еще продолжал веселиться. — Ты все понял, Лаврентий Павлович Какуберия?

Да уж, конечно, Берия-Какуберия уяснил, как мог он тогда сорваться на пустяке. И запомнил этот разговор, отнюдь не улучшивший наши с ним взаимоотношения. Ну а страхолюдные волосатые охранники сразу уже исчезли из Кремля. Если и встречались потом, то лишь изредка — в наружной охране, среди телохранителей самого Лаврентия Павловича. Многих нукеров отправил он на Кавказ, а вот Александра Какашидзе осталась. И не только осталась, но и творила все, что хотела. Каркающий голос этой черной вороны звучал в Кремле все чаще и громче. Имея особое разрешение Берии, она присутствовала на Лубянке на допросах «с пристрастием», разжигая самолюбие, а следовательно, и злость палачей. Особое удовольствие получала она, видя, как мучаются сильные, красивые мужчины, теряют свое достоинство, человеческий облик.

Не только присутствовала и смотрела! Часто она являлась на Лубянку в болезненном состоянии, взвинченная и мрачная, как с похмелья, глаза были безжизненные, тусклые. Ей требовалась нервная встряска. Принималась за дознание и вела его так, что даже опытным палачам становилось не по себе. Александра оживала, веселела, в глазах появлялся блеск, когда корчились мужчины от невыносимой боли в половых органах. Такую изощренность позволяла себе лишь эта садистка.

На Лубянке ее называли Асей, при этом имени цепенели все — от заключенных до руководящих работников. Если от садиста Ежова, имевшего явные отклонения в психике, шарахались в коридорах, прятались в туалетах и в комнатах женщины, работавшие в НКВД и не имевшие возможности даже пожаловаться на насильника, то Ася своим появлением нагоняла страх на мужчин. Приехав в Москву лейтенантом, Какашидзе стремительно повышалась в чинах, звания присваивались ей вопреки всякому порядку, чуть ли не дважды в год. Иосиф Виссарионович не мог не знать об этом. Почему же он снисходительно взирал на «художества» этой родственницы Берии? Объяснение может быть только одно. Вероятно, и на Иосифа Виссарионовича патологическая особа производила сильное впечатление. Сталин испытывал, вероятно, приятное состояние, думая об этой женщине. А может, изредка виделся с ней, — утверждать или отрицать не берусь.

Когда схлынула волна репрессий, когда сам Иосиф Виссарионович заговорил о несправедливом избиении партийных кадров, о перегибах, я счел возможным напомнить ему о лютости Аси и о том, что Берия не выполнил указание Сталина.

— Какое указание? — насторожился он.

— Об отправке в Грузию всех засранцев.

— Нет, это указание выполнено, — усмехнулся Сталин, понявший, о чем пойдет речь.

— Александра Какашидзе находится в Москве.

— Мне известно, — весело продолжал Иосиф Виссарионович. — Но Берия привел веский довод. Вы же сами говорите, что отправить приказано было засранцев, а не ...

— Формальная логика. Уловка.

— Конечно, уловка, — согласился Сталин, — но не лишенная остроумия, и это уже хорошо. А насчет Александры Какашидзе мы подумаем. Призовем к порядку.

Действительно, серьезный разговор с Асей состоялся. Ее «набег» в камеры следователей прекратился (или обставлялись так, что никто не знал о них). Однако стремительное восхождение по служебной лестнице продолжалось. Вплоть до того, что какой-то период она возглавляла войска госбезопасности. Единственная женщина — командующая войсками, каково?! Недаром же говорили о ней: «Сильнее Аси зверя нет!»

7

Чем меньше оставалось в окружении Сталина самостоятельных людей, имеющих не только собственное мнение, но и смелость изложить оное, тем чаще Иосиф Виссарионович испытывал желание беседовать со мной. Понимал он, что со слащаво-льстивым Берией, с беспрекословно поддакивающими Молотовым, Микояном и другими товарищами можно утратить ощущение реальности, потерять навыки спора, противодействия. Обычно раз в неделю он приглашал меня в кремлевскую квартиру на обед, накрывавшийся на восемь человек. Собирались точно к девятнадцати в просторной столовой, которая одновременно была и семейной библиотекой.

Рядом с Иосифом Виссарионовичем усаживалась Светлана, остальные гости (члены Политбюро или наркомы) размещались кто где хотел. Каждый сам наливал или накладывал в тарелку по собственному желанию. Ели не спеша, с вином, с деловыми и шутивными разговорами, расспрашивали Светлану о школе, о преподавателях. Обед затягивался часа на полтора. Потом все (или несколько человек) продолжали беседу в домашнем кабинете Иосифа Виссарионовича, окна которого выходили к Царь-колоколу и Царь-пушке. Довольно часто (в зависимости от настроения Сталина и желания Светланы) вся компания отправлялась в кинозал. Для этого надобно было пересечь Кремль. Со стороны шествие выглядело довольно странно. По обширному, пустынному, неярко освещенному двору деловито вышагивала долгогая худенькая Светлана, за ней не без труда поспевал Иосиф Виссарионович. Далее — по двое, по трое — гости. Мы с Берией — в конце «колонны». А в отдалении и сзади бесшумно двигались охранники, чуть пофыркивал броневик сопровождения.

Просматривали новую кинохронику и обычно два (а то и три) наших и зарубежных фильма. Затягивалось это часов до двух, и лишь глубокой ночью расходились мы по квартирам. Конечно, некоторые фильмы были интересны, но мне гораздо больше нравились наши послеобеденные разговоры с Иосифом Вис-

сарионовичем в его кабинете. Иногда в таких «посиделках» принимали участие Ворошилов, Микоян. Почти непременно присутствовал Берия, который в конце тридцатых годов прямо-таки неотступно следовал за Сталиным, не желая, чтобы тот беседовал с кем-либо наедине.

Наши беседы с Иосифом Виссарионовичем выходили, в представлении Берии, за все дозволенные рамки, изумляли и потрясали его. Он считал, что с полным откровением можно толковать только о женщинах, он боялся политических тем (слабо разбираясь в них), боялся вспоминать прошлое (чтобы случайно не выдать себя) и не способен был понять, что я в какой-то мере являлся для Сталина лакмусовой бумажкой, оселком, с помощью которых он выверял, оттачивал свои мысли, суждения.

Особое удивление вызывал у Берии наш спор о преимуществах и недостатках таких форм правления, как самодержавие и диктатура партии или одного лица. Я утверждал, что любая диктатура, как и самодержавие, — это власть не от народа и не для народа, а лишь для какой-то части его: господство меньшинства над большинством, а сие несправедливо. Чем сильнее диктатура или самодержавие, тем резче разница между правящей элитой и массой. Но есть и различие, отнюдь не в пользу диктатуры. Каждый деспот, по воле случая оказавшийся у власти и опьяненный ею, озабочен главным образом тем, как удержаться на вершине пирамиды. Для этого он идет на любые ухищрения, на любое насилие. А царю такого не надобно. Он получил власть по закону и передаст ее наследникам. Он не является инициатором борьбы за власть, он лишь подавляет в случае необходимости тех, кто вознамерился сломать установленный порядок, захватить верховодство. А это — совсем другое дело.

Главное в том, что царь — самодержец, потомственный правитель, в ответе и за прошлое, и за настоящее, и за будущее страны. Мерзкие деяния предков кладут тень на него самого, он знает: любой просчет, любой срыв скажется на его детях и внуках. А диктатор и окружающие его лица — безответственны. Для них нет традиций и законов, они — сами себе закон. У них нет прошлого и нет будущего. Вышли из пустоты и исчезнут в черной пропасти времени. Живут они одним днем, стараясь выжать из народа все соки сегодня, потому что «завтра» для них, для их близких не существует. В этом источник многих бед нашего времени.

— Имя Сталина будет жить вечно! — не удержался от торжественного возгласа Берия.

— В наших спорах о присутствующих не говорят, — одернул его Иосиф Виссарионович. И ко мне: — Продолжайте, пожалуйста.

— За триста лет царствования дома Романовых в политической борьбе погибли всего сотни, при широком толковании — несколько тысяч человек. Пятеро декабристов, Александр Ульянов с товарищами. Мы их имена помним. А за последние десятилетия, когда разгорелась борьба между партиями, между претендентами на власть, полетели головы без числа, миллио-

ны голов — и правых, и виноватых. Диктатура губит все, с чем она не согласна...

Берия насторожился в своем кресле: почему медлит хозяин, не дает команду арестовать смутьяна?! А Сталин, словно наслаждаясь его злобно-растерянным видом, сделал долгую паузу и произнес как ни в чем не бывало:

— Николай Алексеевич, до сих пор вы ничего не сказали о достоинствах диктатуры. А ведь они есть. Никакая диктатура не смогла бы существовать без поддержки масс.

— Сильная сторона диктатуры — противоположность слабостям самодержавия. При царизме отсутствует приток новых людей, свежей крови в главный эшелон власти, нет естественного отбора сильнейших, умнейших руководителей. Отсюда — вялость, косность самодержавия, замедленность развития. Диктаторы же, наоборот, всегда энергичны, чутки к новому.

— Совершенно верно, — кивнул Сталин. — Они не боятся разрушать отжившее, чтобы расчищать место для будущего.

— И безответственность в определенной степени помогает диктаторам.

— Объясните.

— Самодержец не может обещать народу того, чего не способен выполнить. Коли сказал — должен сделать. Каждое невыполненное обещание подрывает авторитет его самого, наследников. Диктаторы же — люди временные. Чтобы удержаться у власти, они могут обещать полную свободу, полное счастье, сытость и обилие, рай на земле — все что угодно. Когда народ устает ждать одних благ, ему обещают другие, более заманчивые. Люди верят, им хочется надеяться на лучшее, они охотнее воспринимают лозунги «щедрых» демагогов, нежели правдивые, но скромные обещания здравых руководителей. Каждый диктатор, жонглируя призывами и обещаниями, одурманивает, словно бы ослепляет, обывателей. Один сулит им сытость и спокойствие, другой — мировое господство. И вот люди ждут, не теряют надежды от обещания до обещания, до тех пор, пока диктатура разваливается. А она разваливается обязательно.

— В какие сроки? — спросил Сталин.

— Коли не под влиянием извне, то после своей победы, когда выявится ее бесперспективность. По формуле: можно всегда обманывать одного человека, можно какое-то время обманывать весь народ, но все время обманывать весь народ — на это не способен никто.

— Формула звучит убедительно. А чем вы ее подтвердите?

— Любое замкнутое сообщество: государство, партия, вооруженные силы — любая закрытая организация предрасположена к загниванию и разложению. В силу отсутствия гласности и полного общественного контроля, при огражденном от критики руководстве такие сообщества рано или поздно, однако, загнивают обязательно, причем болезнь начинается с головы, совершенно не контролируемой при диктатуре. Более того, любая закрытая организация в конечном счете становится преступной. Последний пример — Адольф Гитлер. Став

диктатором, он не считается ни с законами, ни с правилами и во внутренних делах, и во внешних. Беспринципность и обман, демагогия и насилие — вот оружие Гитлера и его партии.

— А как не допустить преступлений? — спросил Сталин. — Какие гарантии?

— Гарантии? Свободная критика всех государственных звеньев, всего руководства до самого верха, публичное обсуждение всех мероприятий. Сокращение до крайней необходимости военных и государственных тайн. Полностью независимый суд. Требуется оппозиция, которая сразу вскроет образовавшуюся гниль, заставит людей смотреть на события с различных точек зрения, действовать не в угоду диктатуре, а ради общественных интересов. Оппозиция выравнивает линию, выправляет изгибы, помогает не допускать ошибок.

— Согласен с вами, — произнес Сталин.

— За чем же остановка?

— Легко сказать — оппозиция, — Иосиф Виссарионович говорил с усмешкой. — Оппозиция оттягивает на себя массу времени, массу сил, отвлекает от движения по главному направлению, к главной цели. Оппозиция — это противник, который рвется к власти, не давая гарантии, что новая власть будет лучше прежней.хлопотно и опасно иметь легальных соперников внутри страны. Нам, например, дорогой Николай Алексеевич, вполне достаточно ваших возражений, критики и предложений. Они весомы и полезны. Вы и есть наша оппозиция, причем обладающая великолепным качеством: вы не против нас, вы за нас, вы хотите, чтобы всем было лучше, и мне в том числе. Так я вас понимаю?

— Оппозиция — это коллектив, это сила, имеющая влияние, заставляющая опасаться себя. А я, скорее, выступаю в роли шута при короле: шуту дозволено говорить все, что думает. В нашем случае — не для веселья, а для контраста.

— История знает факты, когда шуты оказывали большее влияние на жизнь государства, нежели министры и целые кабинеты министров. Но вы — наш друг, Николай Алексеевич, а разве шуты и короли бывают друзьями? Дружба предусматривает равенство.

— Возможно. Справедливо лишь то, что я не против вас и не стремлюсь к власти.

— Это тоже очень существенно, — произнес Сталин. — У вас нет личных, шкурнических интересов. От такой оппозиции только одна польза.

— А вот у Лаврентия Павловича другое мнение, — повернулся я в сторону Берии, смотревшего на меня округлившимися настороженными глазами. — Лаврентий Павлович готов без промедления отправить меня на Лубянку, в самую изолированную камеру. Не правда ли?

Берия молча пожал плечами.

— Отвечай, Лаврентий! — весело прищурился Сталин. — Скажи, что ты думаешь?

— Сделаю, как будет приказано.

— Отвечай прямо, Лаврентий! — Сталин продолжал улыбаться, но голос его звучал требовательно. — Считаешь нужным арестовать его?

— Да! — Берия очень тонко чувствовал, когда можно смягчить Иосифа Виссарионовича лестью, когда пошутить, а когда необходимо говорить только правду, какой бы она ни являлась, дабы не вызвать гнев.

— Значит, считаешь нужным убрать товарища Лукашова?

— Да! — твердо повторил Берия.

— Ну, что же, это хорошо, когда у человека есть определенная точка зрения, — заметил Иосиф Виссарионович, прохаживаясь по кабинету. Остановился возле Берии, жестким взглядом заставил Лаврентия Павловича податься, вскочить с кресла. Спросил вкрадчиво, тихо: — У тебя крепкая память, Лаврентий?

— Никогда не забываю твоих слов, великий и мудрый!

— То, что услышишь сейчас, запомни особенно. Если когда-нибудь с Николаем Алексеевичем что-нибудь случится, если хоть один волос упадет с его головы, то же самое, но еще хуже будет с тобой и со всеми твоими родственниками! — Сталин ткнул чубуком трубки в грудь Лаврентия Павловича, жест был таким резким, что Берия отшатнулся.

— Я понял, великий и мудрый!

Конечно, Берия знал, что Сталин не забывает своих указаний и обещаний. Сказанное тогда Иосифом Виссарионовичем серьезно осложнило последующее бытие Лаврентия Павловича. Не желая того, я стал источником постоянного беспокойства. Насколько проще было бы ему устроить автокатастрофу, пустить пулю из-за угла, отравить меня, спровоцировать... Среди помощников Берии имелись специалисты по таким грязным делам. Но теперь-то перед ним стояла противоположная задача: беречь от всяких случайностей.

Лаврентий Павлович нес персональную ответственность за меня. Но как предусмотреть все? Навязчивую опеку, охранников за спиной я не терпел. И образ жизни вел не замкнутый, как руководители партии и правительства, передвигавшиеся по разработанным, надежным, охраняемым маршрутам: я ездил и ходил, куда понадобится, выполнял различные поручения Иосифа Виссарионовича, связанные с неожиданными поездками, даже с риском. Но ведь Сталин не принял бы никаких объяснений, никаких ссылок на объективные условия. Так и вышло, что, ненавидя меня, Берия готов был богу молиться, чтобы со мной не произошло ничего плохого. И чтобы никто не знал, не догадывался, какое положение при Сталине я занимаю. Во избежание недоразумений. На мой взгляд, и с той, и с другой задачей Берия справлялся вполне успешно.

А вот другой разговор, тоже состоявшийся в присутствии Лаврентия Павловича поздним вечером в рабочем кабинете Сталина. Он начал сам, причем совершенно неожиданно: или отвечая на чей-то вопрос (может, собственной совести?), или размышляя вслух, показывая при этом полное доверие к нам.

— Много крови! Утверждают, что слишком много крови, — проворчал он. — Даже если не утверждают, я по глазам, по лицам вижу затаенные упреки. Можно подумать, что Сталин не политический деятель, а палач.

— В стране действительно слишком уж много обвинений в предательстве,— сказал я.— Шпиономания какая-то...

— Вот и Николай Алексеевич тоже...

— Растет подозрительность. Доносы.

— Давайте разберемся,— жестом остановил Сталин.— Выступая в не свойственной вам роли адвоката, вы, Николай Алексеевич, оказываетесь иногда правы. Учти это, Лаврентий,— бросил он взгляд в сторону Берии.— Но спрашиваю вас: почему буржуазные государства должны относиться к нашему социалистическому государству более мягко и более добрососедски, чем к однотипным буржуазным государствам? Почему они должны засылать в тылы Советского Союза меньше шпионов, вредителей, диверсантов и убийц, чем засылают их в тылы родственных буржуазных государств?

— Об этом вы уже говорили...

— Да, говорил на Пленуме Центрального Комитета и готов повторять еще и еще раз, потому что считаю эту формулу правильной. А вы не считаете?

— В принципе это верно. Только ведь и Ежов, и Берия...

— Не смешивайте меня с этим врагом и ублюдком,— резко произнес Лаврентий Павлович.

— Хорошо, не буду. Но, Иосиф Виссарионович, товарищ Берия по-своему и довольно оригинально использует вашу формулу. Он утверждает, что лучше покарать сто невинных, чем оставить на воле одного врага. А это уж, извините, такой подход, что можно только руками развести. Опять получается: слишком много жертв.

— Неужели вы считаете, что жертв было бы меньше, если бы победили наши враги? — Сталин с любопытством смотрел на меня.

— Надо уточнить, какие враги? Их много.

— Совершенно верно. Белогвардейцы, эсеры, интервенты, троцкисты, последователи Троцкого... Но давайте посмотрим. Белогвардейцы не пощадили бы никого из нас, большевиков, они не простили бы крестьян и рабочих, взявших в свои руки землю, фабрики и заводы. Вы же помните, сколько восставших крестьян погибло в Сибири. А лагерь смерти, на острове Мудьюг, созданный англо-американскими интервентами?

— Это гражданская война, а на войне всегда льется кровь.

— Ладно,— посуровел Иосиф Виссарионович.— Возьмем то, что непосредственно касается нас. Разве Сталин имеет отношение к расстрелу царской семьи в восемнадцатом году, когда в мрачном подвале убивали детей, женщин? Нет, Сталин не имеет отношения к этой варварской акции в Екатеринбурге, к той неприглядной акции, которую до сих пор не простил нам западный мир, которая вызвала ответный террор — белый террор! Но я знаю, знаю, кто был зачинщиком и вдохновителем! — Он так стукнул трубкой по большой мраморной пепельнице, вытряхивая табак, что Берия вздрогнул, а я убоился, не треснет ли трубка или пепельница.

Иосиф Виссарионович начал волноваться. Отвердело лицо, медленней, сдержанней стали движения.

— Кто послал на завод Михельсона эсерку Фанни Каплан стрелять в Ленина отравленными пулями? Разве это изуверство придумал и направлял я? Нет, дорогой Николай Алексеевич! Все это делали другие... Донское казачество искоренял не Сталин. И к величайшему голоду двадцать первого — двадцать второго годов Сталин никакого отношения не имел. Не способствовал гибели миллионов крестьян... А кто, входя со своей пехотой в украинские села, объявлял: если будет обнаружено оружие, расстреляем каждого десятого жителя. А оружие тогда, в гражданскую, было повсюду. И расстреливали каждого десятого, не щадя женщин и детей. Это не Сталин. Это так называемый праведный борец за справедливость Иона Якир.

— Речь о более близких событиях.

— Не торопитесь,— жестом остановил меня Иосиф Виссарионович.— Дойдем и до них. Не будет смягчать, дорогой Николай Алексеевич: революция — дело крайне болезненное. Революция — это не лечение пилюлями, а решительная хирургическая операция без всякого наркоза. Операция в полевых условиях, во вражеском окружении, поспешная. А ваш покорный слуга — только один из хирургов... Вам знакома фамилия — Саенко?

— Это по ведомству Дзержинского? Чекист?

— Да, из харьковской чрезвычайной комиссии. Еще в девятнадцатом году у него в чека при пытках арестованным загоняли гвозди под ногти, выкалывали глаза. А мертвых выбрасывали в овраг за домом. Прямо из окна. Всех выбрасывали, потому что живыми от Саенко не уходили... Это что, тоже вина Сталина? Нет! — ответил он сам себе.— Я узнал об этом гораздо позже. И не одобрил... А письма Владимира Галактионовича Короленко, посланные Луначарскому, читали?

— Да, изданные в Париже, если не ошибаюсь, в двадцать втором году.

— Знаете, что ни на одно из писем Луначарский так и не ответил? Уклонялся. А почему? Правду ведь писал Короленко, обвиняющую правду. О том, как чекисты расстреливали людей в административном порядке, без суда, как убивали прямо на улице, на глазах жителей, а собаки лизали вытекавшую кровь... Разве Сталин допускал когда-нибудь такое гнусное безобразие?! — Резким движением он расстегнул ворот, едва не оторвав пуговицу.— Обязательная регистрация в ВЧК всех царских офицеров, их уничтожение или высылка, это что — Сталин?.. Никакого отношения! А вспомните, как Троцкий добивался, чтобы в нашей стране был сохранен военный коммунизм, ратовал за трудовые округа наравне с военными, чтобы рабочие и крестьяне трудились под надзором надсмотрщиков, словно рабы, обогащая правителей?! Добиться этого можно было только одним путем — подавив сопротивление всех недовольных.

— Слава богу, такого не случилось.

— Считаете, что заслуга принадлежит господу богу? — прищурился Сталин.— А может, тем, кто вел и ведет беспощадную войну с троцкистами?! Еще несколько фактов. В мае семнадцатого, при Временном правительстве, состоялся всероссийский сионистский кон-

гресс, суть которого сводилась к тому, как сделать Россию большой провинцией для израильтян.

— Я слышал об этом, но не воспринял всерьез.

— Меня всегда поражала доброта, уступчивость, политическая наивность русской интеллигенции, — развел руками Иосиф Виссарионович. — А между тем в мае следующего года сионисты провели в Москве конгресс еврейских общин. Главный лозунг конгресса — да здравствует воинствующий сионизм! И в том же году, летом, с помощью председателя ВЦИК Якова Мовшевича Свердлова сионисты протащили через Совнарком закон о смертной казни за антисемитизм. Удивительнейший закон, — Иосиф Виссарионович был теперь внешне спокоен, сдержан, размеренными мелкими шажками ходил от стены до стены. — С русским, с украинцем, с грузином, с азербайджанцем, со всеми другими вы можете поспорить, поругаться, даже подраться, лишь на израильтянина вы не можете возвысить голос, не имеете права ни в чем ему отказать. Только попробуйте поговорить круто, не принять на работу или на учебу — это основание, чтобы привлечь вас к судебной ответственности. Вплоть до расстрела. А ведь они даже не стояли у власти. Что бы они творили, если бы стояли?

— Дело Сергея Есенина, — подсказал Берия.

— И это тоже. Сионисты привлекали к ответственности Сергея Есенина за «чрезмерное» воспевание России. И его друзей-поэтов Ивана Ерошина и Алексея Ганина.

— Ганин был приговорен к смертной казни и расстрелян в двадцать пятом году, — уточнил Берия.

— Принял мученический венец за стихи. А Бухарин тогда же начал печатать против Есенина свои оголтелые злые статьи.

— Но и вы, Иосиф Виссарионович, не очень жалуете Есенина?!

— Он хороший поэт, но слишком национальный поэт. Мы вынуждены бываем иногда идти на уступки в своих оценках. С классовых позиций, — уточнил он.

— А вот поговаривают: идеи и мысли Бухарина быстрее и без потерь помогли бы вести вперед государство.

— Бухарин, Бухарин, — поморщился Иосиф Виссарионович. — Не будьте же вы так доверчивы, Николай Алексеевич, научитесь отличать политических деятелей от болтунов.

— Но ведь Ленин высоко ценил его.

— Да, в определенное время. Бухарин и ему подобные политики полезны были в тот период, когда нужно было ломать, разрушать. А когда потребовалось создавать новое, претворять теорию в практику — какая польза от него и от таких как он? Бухарин выдвигал одну теорию за другой, выступал то с одной, то с другой идеей, а через год признавал их ошибочность, открещивался от них. Хитрая лиса, которая вертит нос по ветру, чтобы хоть каким-то образом держаться у власти. Домашние его так и называли — Лис. Кроме выдвижения спорных идей, он ни на что не способен и никому не нужен... Между прочим, в восемнадцатом году, когда Ленин настаивал на заключении Брестского мира, Бухарин требовал арестовать Владимира Ильича. Но кто мог гарантировать жизнь арестанта, да

ещё в то бурное время?! Случайный выстрел часового — и все. Не надо никакой Фанни Каплан. А! — резко махнул рукой Иосиф Виссарионович, будто отталкивая неприятное. — Что за кумир этот Бухарин! У него жена больная, а он сошелся с Эсфирью Гуревич. А потом с юной Лариной, дочерью троцкиста, который считал необходимым любой ценой загнать русский народ в лагеря труда. И Бухарин подхватил эту теорийку. А как загонять? Силой, ломая сопротивление?! Опять жестокость, опять кровь. И крови могло быть гораздо больше, чем сейчас. Делать революцию, добиваться победы одного класса над другим невозможно в белых перчатках.

— Да, — сказал я, — перчатки быстро изгаздаются. Однако сохранить при этом чистую совесть вполне возможно.

— Ми-и надеялись на Ягоду. Ми-и очень надеялись на Ежова, он казался вполне добросовестным человеком.

— И Берия кажется теперь вам таким?

— Уверен, что Лаврентий Павлович приложит все силы, чтобы исправить положение и выполнить все поставленные перед ним задачи.

— Да, великий и мудрый.

— Помолчи, — брезгливо поморщился Сталин. И продолжал: — Борьба с внешними и внутренними врагами идет бескомпромиссная. Или они, или мы. Знаю, как будут судить обо мне в будущем. Как об Иване Грозном. Сначала будут упреки и обвинения. Но со временем потомки поймут и справедливо оценят нашу борьбу, нашу правоту. Вероятно, меня будут упрекать в твердости и бессердечии. Но ни один честный человек не сможет обвинить меня в личной заинтересованности, в классовой несправедливости.

— Блажен, кто верует!

— Тепло тому на свете?! — полувопросительно подхватил Иосиф Виссарионович. — Нет, мне как раз часто бывает очень неуютно и холодно. Мы закладываем фундамент будущего. Кто-то должен расчищать грязь, убирать завалы, прокладывать дорогу для тех, кто идет следом?! Эта неблагодарная работа выпала на нашу долю, мы не имеем права от нее отказываться и обязаны довести ее до конца.

— Вы не только веруете, но заражаете, увлекаете других, даже меня, не очень-то молодого человека.

— Спасибо за хорошие слова, Николай Алексеевич. Все больше людей шагает теперь в ногу с нами. Но немало еще таких, которые готовы бороться с нашими установками, которые терпеть не могут Сталина. «Восточный идол. Чингисхан с телефоном», — так соизволил выразиться обо мне гражданин Бухарин. А Каменев удивлялся наигранно: «Азиат, а гарема не имеет». Впрочем, какой он, к черту, Каменев, этот Лев Борисович Розенфельд!.. Доудивлялись, голубчики! — Сталин сжал кулаки. — А на расправу-то жидковаты, — зло усмехнулся он. — Григорий Зиновьев поэта Гумилева Николая Степановича без колебаний и содроганий к стенке поставил. А когда самого на расстрел повели, так идти не смог, на карачки осел. Под руки его из камеры волокли... Вот Михаил Павлович Томский сам с собой догадался покончить.

Человек был порядочный, за рубеж от трудностей не убегал... Так-то, дорогой Николай Алексеевич! Они презрительно называли меня «шашлычником». Да, я не могу избавиться от акцента. Да, я не получил такого образования, какое получили многие из них. Но я всей душой люблю народ, чувствую себя представителем всех советских национальностей. А что знают о народе они, подолгу жившие за границей, после революции поселившиеся у нас во дворцах, в фешенебельных гостиницах, каждый год отправлявшиеся отдыхать и лечиться на курорты Италии? Лозанна им нравилась. Жены в Берлине у лучших врачей рожали. Советских врачей им мало... Не знают они народных забот, дорогой Николай Алексеевич. Мы с вами трудимся, ошибаемся, переживаем, ночи не спим, а они лишь критикуют нас, выдвигают для поддержания своего престижа приманчивые идеи. Они стараются для себя. И я уверен: пройдет несколько десятилетий или даже столетие, и обо мне скажут: Сталин всю жизнь боролся за будущее, за самостоятельность русского и всего советского народа, отбивая настойчивые поползновения наших врагов.

— А может, наоборот, будут восхвалять тех, кого сейчас осуждаем, начнут ставить памятники погибшим.

— Когда и почему погибшим? — вопросом ответил Сталин. — При Ленине, при Дзержинском? Во время революции, после нее?

— Теперь, в тридцатых годах.

— Ах, вот что, будут ставить памятники Ягоде, Ежову, их прихвостням — следователям и палачам, которых покарала Советская власть.

— Не знаю, достойны ли. Но вот Каменев, Томский, Рудзутак, Рыков, Зиновьев...

— То есть заядлые троцкисты, — подытожил, усмехнувшись, Иосиф Виссарионович. — Неисповедимы пути господни... Только необходимо соблюдать историческую последовательность и справедливость. Надо начинать с памятников боярам, которые строили козни прогрессивному царю Ивану Грозному и поплатились за это. А на Красной площади, на месте казни, необходим памятник стрельцам, бунтовавшим против Петра Первого... Очень много будет памятников жертвам разных эпох по всей стране, — насмешливо продолжал Сталин. — Очень много будет памятников тем, кто по колени в крови стремился к власти, кто сам убивал, а потом оказался в числе пострадавших. Очень много работы для скульпторов и архитекторов. — Передохнул и закончил серьезно: — Пусть всем этим когда-нибудь займутся историки. А нам надо жить и работать. Мы будем твердо вести линию нашей партии, будем делать то, что намечено партией. Будем осуществлять нашу программу.

Он замолчал, ссутулился, поблек лицом. Кончился порыв, проявилась усталость. Но спустя несколько секунд нашел в себе силы улыбнуться и сказал Бери:

— Видишь, Лаврентий, что получается? Не только наши враги, не только некоторые обыватели, но и верный друг Николай Алексеевич — все упрекают нас: много крови. А дыма без огня не бывает. Учти!..

А разговор о жестокости имел вот какие последствия.

Разбирая утреннюю почту на своем рабочем столе, я обнаружил плотный немаркированный конверт с моей фамилией и инициалами. Вскрыл. В пакете одна машинописная страница без обращения, без подписи и без даты. Прочитал:

«В феврале 1923 года (месяц и год подчеркнуты. — Н. Л.) на Никитском бульваре г. Москвы покончил с собой выстрелом в висок член партии Скворцов (из рабочих), являвшийся ревизором по обследованию деятельности ГПУ. При нем найден нижеследующий документ, адресованный в ЦК РКП: «Товарищи! Знакомство с делопроизводством нашего главного учреждения по охране завоеваний трудового народа, обследование следственного материала и тех приемов, которые сознательно допускаются нами по укреплению нашего положения, как крайне необходимые в интересах партии, по объяснению тов. Уншлихта, вынудили меня уйти навсегда от тех ужасов и гадостей, которые применяются нами во имя высоких принципов коммунизма и в которых я принимал бессознательное участие, числясь ответственным работником компартии. Искушая смертью свою вину, я шлю вам последнюю просьбу: опомнитесь, пока не поздно, и не позорьте своими приемами нашего великого учителя Маркса и не отталкивайте массы от социализма».

Не опомнились, значит. Или невозможно было опомниться, остановиться в разгоравшейся борьбе не на жизнь, а на смерть! Но кто, счел необходимым познакомить меня с документом? Думаю, Лаврентий Павлович. А для чего? Знайте, мол, Николай Алексеевич, что происходило в карательных органах сразу после революции. А ведь партией и государством руководил отнюдь не Иосиф Виссарионович, так что не он начинал... Есть над чем поразмыслить.

8

Язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли, — этим странным правилом Иосиф Виссарионович пользовался умело. Чем неблагоприятней дела, тем привлекательней должны быть лозунги. Вот хотя бы один аспект. В стране, где сотни тысяч людей были расстреляны или отправлены в лагеря, обитали миллионы их детей, других родственников. Чем больше уничтоженных, тем больше пострадавшей родни. Как с ней быть? Лишить родственников политических и других прав? Но «лишенцы» у нас были отменены, Сталинская Конституция всем гарантировала равенство.

На местах семьи «врагов народа» подвергались презрению, преследованиям, оскорблениям. Ну, это дело местных работников, они и ответят, если понадобится. А Сталину-то зачем раздражать, настраивать против себя большую прослойку населения, какой в этом резон?

Артист Иосиф Виссарионович был не блестящий, но ведь и не требовалось ему перевоплощаться, у него была лишь одна, зато главная роль, которую он исполнял строго и неукоснительно. К тому же и режиссер он был замечательный, умевший заранее, без афиширования говорить нужные ему спектакли, да еще так, чтобы в самое подходящее время четко выразить задро-

граммированную суть, идею. Вот типичная сцена. Прием лучших комбайнеров, приехавших со всей страны. Многие люди впервые в столице, среди членов правительства, в совершенно непривычной обстановке. Терялись, робели. Добрый, усатый, улыбающийся Иосиф Виссарионович беседовал то с одним, то с другим передовиком, по-отечески расспрашивал о жизни, о достигнутых успехах, о том, что им мешает. Советовался, как распространить опыт. Обстановка создавалась деловая, доверительная, радостная, люди откровенно говорили обо всем.

На трибуне — крепкий, немного мешковатый деревенский парень. На щеках здоровый румянец. Комбайнер он отличный — все знают. А движения скованны, неуверенны. И начал речь свою необычно. Сказал четыре слова:

— Я, товарищи, сын кулака... — И смолк, озираясь.

В напряженной тишине послышался спокойный, доброжелательный голос Сталина:

— Сын за отца не отвечает. Продолжайте, пожалуйста.

Зал замер, будто пораженный шоком, слышно было, как всхлипнул парень, вытиравший хлынувшие слезы. А потом, словно взрыв, грохнули аплодисменты. Видать, многих так или иначе касался этот больной вопрос.

Да ведь и самого Сталина тоже. С какой стати должен был бы Иосиф Виссарионович отвечать за пьяные дебоши и скандалы сапожника Джугашвили?!

Так родился лозунг, мгновенно получивший известность по всей стране, возведший Сталина в ранг защитника обиженных, невинно страдающих. Этот лозунг читали и слышали все. Но мало кто знал, что вскоре, в 1937 году, был принят очень жестокий и абсолютно несправедливый закон, по которому не только дети, но все ближайшие родственники человека, совершившего с точки зрения властей военнополитическое преступление, несли ответственность за него. По этому закону семьи «изменников родины» (в том числе перебежавших на сторону врага, попавших в плен, просто работавших на территории, занятой противником) подвергались высылке минимум на пять лет, а имущество конфисковывалось.

Пытался я доказать Сталину, что ни одно цивилизованное государство не допускало такого варварства, что введение системы заложников — вопиющее безобразие, и только руководители, не верящие в свою силу и справедливость, могут опуститься до низкопробной мести, что, наконец, подобный закон не укрепит нас, а лишь озлобит еще сотни тысяч, миллионы людей.

Иосиф Виссарионович колебался, прежде чем высказать свое решающее мнение. Однако на принятии закона настаивали Ворошилов и Буденный. Несмотря на многочисленные аресты в армии, они все же не были уверены в своем влиянии, им нужен был еще один рычаг для упрочения положения в Вооруженных Силах. Опасались, что без круговой поруки, без системы заложников, разбегутся, рассыплются в случае большой, трудной войны многие полки и дивизии. Недоверие, подозрительность по отношению к командному составу достигла предела.

Итак, закон был принят и принес потом много бед многим невинным людям. Послужил он не консолидации, не сплочению общества, а лишь вбил новые разъединяющие клинья. Матери, жены, сестры «врагов народа» оказались в ссылке, особенно когда началась война. Дети изолировались от родителей, чтобы не испытывали их «пагубного» влияния.

Меня, конечно, прежде всего интересовало положение семей наших репрессированных военных руководителей. Жены и матери — люди взрослые, позаботятся о себе сами, но каково детям с их неокрепшими душами?! Их увезли в Астрахань, в специальный детский дом. Воспользовавшись первой же возможностью, я побывал там, побеседовал с директором, познакомился с условиями, в которых жили девочки и мальчики. Условия были обычные для детских домов, неплохие. Но, разумеется, существовал определенный режим, имелась негласная охрана: с территории не выйдешь, не убежишь.

Сие детское учреждение пользовалось, естественно, особым вниманием со стороны местных органов. Навезжали и представители из Москвы. К удивлению директора, я был первым из столичных гостей, кто заговорил с ним не о строгости по отношению к «спецконтингенту», о бдительности и т. д., а, наоборот, посоветовал не забывать, что он имеет дело с девочками и мальчиками, у которых такие же права, как у всех советских детей. Надо воспитывать их в таких же правилах, уделять им как можно больше внимания и заботливости — ведь они не по своей воле расстались с родителями. Представителям местных органов мои слова явно пришлись не по нутру, но я резко заявил, что буду контролировать положение дел.

Директор показался мне человеком добрым и понимающим. Воспитатели — обычные для таких учреждений. Дети выглядели здоровыми. Они занимались в школе, в различных кружках. О веселости, жизнерадостности, конечно, не могло быть речи. Но вот что потрясло меня, незабываемо осталось во мне. В праздничный день побывал я там. Было торжественное собрание, посвященное годовщине революции. Я незаметно вошел в зал и увидел знакомых детей: возле гипсового бюста Ленина стояли в почетном карауле, с галстуками на белых блузах, Светлана Тухачевская, Владимира Уборевич, Петр Якир. Над ними — знамя, такое же знамя, под которым отстаивали Советскую власть их отцы.

Теперь отцов уже не было...

Господи, до чего сложна, запутанна жизнь!

Пройдет немного времени, и эти дети, достигнув совершеннолетия, разделят участь своих матерей, старших родственников и тоже окажутся в ссылке, в самых далеких, глухих районах. Но закон есть закон, в нем определен срок. Постепенно, отбыв его или просто получив самостоятельность после детского дома (разные были дома), дети «врагов народа» начали возвращаться на прежние места жительства, в том числе и в Москву. Особенно много вернулось в 1942 году — кончился срок первой массовой ссылки. Девушки и юноши поступали в институты, в университеты. Это очень беспокоило Берию. Особенно когда осложнилась об-

становка под Сталинградом, когда казалось, что режим висит на волоске, и Сталин в связи с этим (чтобы не торжествовали враги!) распорядился уничтожить уцелевших еще в лагерях политических противников.

С детьми репрессированных поступили совершенно в бериевском стиле. Лаврентий Павлович нашел возможность вновь обвинить их. Каким образом? Мастер всяческих подлостей, специалист по растлению душ человеческих, Берия выпустил из лагеря, после соответствующей обработки и самых щедрых обещаний, одного молодого человека, фамилию которого я не хочу называть, она известна и поныне. Этот общительный юноша в форме лейтенанта-фронтовика, с нашивкой за ранение, появился в Москве вместе с несколькими «боевыми приятелями», грудь которых украшали награды. Его охотно принимали в семьях «врагов народа», особенно радовались сверстники и сверстницы, с которыми он когда-то томился в Астраханском детском доме. Гордились, умилялись этим парнем, фронтовым разведчиком: вот, мол, один из нас, а как преданно, геройски служит он Родине! И мы все такие же, только доверьте нам! Раскрывали чаяния свои перед этим веселым юношей и его «приятелями». Откровенничали, не подозревая, что это очередное коварство Берии, очередная ловушка, подготовленная им, увя — не без ведома Иосифа Виссарионовича, начавшего к тому времени опасаться расплаты за содеянное со стороны нового поколения.

Бойкий очаровательный провокатор разъезжал по Москве, разыскивал семьи бывших военных руководителей, восстанавливал связи, устраивал молодежные вечеринки с редким в то время вином, вел вольные откровенные разговоры, которые охотно поддерживались его «приятелями»-лейтенантами.

А потом начались аресты, и все, о чем говорили и спорили, оказалось известно следователям, причем в искаженном виде. Передернуть можно любые слова, особенно если несколько «свидетелей» топят одного обвиняемого. «Приятели»-лейтенанты — сотрудники органов не стеснялись в выражениях. Показывали то, что требовалось для следствия. Владимира Уборевич, Светлана Тухачевская и многие другие вновь оказались в лагерях. Однако и провокатор, выдававший себя за фронтовика, недолго пользовался свободой. Как только миновала надобность, его вновь запрятали в лагерь, правда отныне уже в качестве сексота, что давало ему некоторые бытовые преимущества и ежемесячное денежное довольствие. Пятьдесят рублей в месяц, если не ошибаюсь.

Вспышка «вторичных» арестов завершилась в 1944 году. Одной из последних пострадала дочь старого большевика-ленинца Бубнова. Студентку Елену Бубнову обвинили в подготовке покушения на Иосифа Виссарионовича. Ее товарищ, «шофер скорой помощи», должен был якобы перекрыть своей машиной улицу в намеченном месте, остановить автомобиль Сталина. Ну, а Елена Андреевна Бубнова — стрелять из окон квартиры.

Последовал скорый суд. Бубнову упрятали за решетку, где она и пробыла более десяти лет. А когда после смерти Сталина начали пересматривать «дела»

пострадавших, молодой сотрудник госбезопасности поехал на место предполагавшегося «преступления». Он зашел в квартиру, из которой должны были стрелять в Иосифа Виссарионовича, и с удивлением обнаружил, что из окон этой квартиры стрелять просто некуда. Они выходили в узкий двор, на глухую стену соседнего дома... Побывала там после освобождения и Елена Андреевна. Любопытство привело посмотреть.

Где же теперь тот следователь, который состряпал обвинение, не удосужившись даже съездить на место «преступления»? Знают ли о таких «подвигах» его дети и внуки? Какую пенсию он получает? Не мучает ли его совесть? Все это, особенно последнее, представляет общественный интерес.

Чтобы не возвращаться больше к тому Указу, самому нелепому в истории нашего Советского государства, еще раз забегу вперед. Только в сорок первом году в плен к фашистам попало несколько миллионов наших военнослужащих. Особенно много украинцев и белорусов. Однако их родные места были оккупированы гитлеровцами, на их семьи упомянутый закон распространиться не мог. Зато из российских областей потянулись на восток эшелоны, переполненные женщинами, детьми, стариками. За «преступления» мужей, отцов, братьев, оказавшихся в плену, их высылали в Сибирь. А что такое сорвать с корня женщину с двумя-тремя ребятишками в трудные дни войны? По пути в ссылку их еще кое-как кормили. А на месте они должны были добывать харчи, одежду сами. Но как? На родине имелся огородик, картошка в погребе, знакомые помогли бы... А в Сибири эти люди оказывались совершенно беспомощными. Умирали от истощения, от холода.

Затем последовала вторая волна ссыльных по названному выше Указу. Обстоятельства вот какие. Занимая местность, фашисты отдавали распоряжения всем жителям под страхом смертной казни выходить на свою прежнюю работу. И везде выходили, трудились кто как, лишь бы числиться в списках, получать паек. Но когда началось освобождение областей, где немцы пробыли несколько месяцев, всех мужчин, выходивших на работу при гитлеровцах, зачислили в разряд предателей, пособников, изменников Родины. Для них — тюрьма или расстрел. Для семей — ссылка. В освобожденных районах были таким образом арестованы почти все оставшиеся в оккупации мужчины. Больные, инвалиды, не призванные в армию по возрасту и так далее. Это была последняя чистка, полностью выкосившая мужское население центральных и западных областей России. Опять эти места пострадали несравненно больше других. Что поделаешь — они ближе к столице и не имели никаких промежуточных защитных инстанций в виде, например, своего республиканского ЦК. Все эксперименты, все перегибы сразу отражались на центральных районах. Пока, к примеру, постановление, закон дойдут до Армении или Азербайджана, пока там интерпретируют их применительно к местным условиям, накал, ажиотаж очередной кампании уже спадет, перегибов почти не будет. А вся боль доставалась российскому центру. Так доставалась,

что после войны российские области вообще оказались без мужчин.

Справедливости ради не могу умолчать о принципиальности Иосифа Виссарионовича, который считал, что законы распространяются и на его семью. Когда выяснилось, что Яков Джугашвили находится в плену, его жена Юлия Мельцер-Джугашвили два года провела в заключении. В одиночной камере. Не пять лет, но все же... Однако маленькая дочь Якова, внучка Иосифа Виссарионовича, печальной участи избежала, в отличие от всех остальных детей. По благу, так сказать, не испытала маленькая Галя Джугашвили того, что было уготовано другим детишкам, не имевшим столь влиятельного дедушку.

Через некоторое время, когда началось массовое освобождение наших западных районов, выяснилось, что там фактически работало в период оккупации все взрослое население. А как же иначе? Умерли бы с голоду, не говоря о расстрелах уклонявшихся. Возникла дилемма: призвать миллионы мужчин Украины, Белоруссии, Молдавии, Прибалтики в нашу истощенную потерями армию или отправить этих мужчин в ссылку в Сибирь, на «трудовой фронт»?

Сама жизнь заставила приостановить в сорок третьем году действие закона. На Украине, в Белоруссии, Молдавии карались лишь те, кто сознательно переметнулся на сторону гитлеровцев, вместе с ними участвовал в преступлениях против советского народа. Это естественно. Но пока дошли до понимания столь простой истины, Россия-то наша опять пострадала. Да и вообще: не народ же виноват в том, что территорию захватывал враг, устанавливая на ней свой порядок. Если кто и должен был отвечать, так это те лица, которые пустили фашистов в глубь страны.

Теперь, когда я сопоставляю лозунг Иосифа Виссарионовича «Сын за отца не отвечает! Дети за родителей не в ответе!» и пресловутый Указ, заставивший страдать многих граждан, невольно вспоминается коротенький анекдот. Приходит человек к психиатру: «Что со мной, доктор? Думаю одно, говорю другое, делаю третье?» — «Извините,— отвечает доктор,— но от сталинизма не лечим»...

И это я пишу при всем уважении к Иосифу Виссарионовичу. Но светлое есть светлое, а темное есть темное.

9

Буденный рассказывал о себе:

«Вижу, дело плохо, трех маршалов посадили, вот-вот до меня доберутся. Поехал на дачу, выкопал из-под яблони два «максима», затащил на чердак. Занял оборону одним пулеметом на север, другим на юг. Вскорости, гляжу, едут. Выскочили энкеведешники с машины, ломают ворота. Я по ним трах-тах-тах. Попадали, отползли. С тыла обходят. Я — из другого пулемета. Они назад по-пластунски. Окапываться начали. Звоню отцу:

— Товарищ Сталин, за мной приехали, взять хотят!

— А вы?

— Отстреливаюсь пулеметами.

— Патронов много?

— Десять коробок.

— Сколько продержитесь?

— Часа полтора.

— Разберемся.

Снова стреляю. Через час подкатывает полуторка. Энкеведешники повскакивали, машут: прекрати огонь. Подобрали убитых и раненых, погрузили в машину, укатили. А у меня телефон зазвонил:

— Товарищ Буденный, мы все выяснили. Произошло недоразумение.

— Спасибо, товарищ Сталин!

Ну, передохнул, гильзы стреляные смел в угол. И вдруг снова звонок:

— Товарищ Буденный, а откуда у вас на даче станковые пулеметы?

— Именное оружие, товарищ Сталин. Реввоенсовет и вы лично наградили меня шашкой и наганом, а бойцы Первой конной преподнесли именные пулеметы.

— Это очень хорошо, когда бойцы любят своего командира. Но плохо, когда пулеметы стоят между вами и нашими карательными органами. Это непорядок. Пусть у нас нигде не будет преград. Сдайте свои пулеметы под расписку.

— Слушаюсь, товарищ Сталин.

Связался с Климентом Ефремовичем, вместе поехали в арсенал, сдали мои «максимы». Возвращаемся назад. Ворошилов загрустил, а я улыбаюсь. Он спрашивает:

— Чему радуешься, Семен Михайлович? Без защиты остался.

— Ха, у меня в саду две пушки и снаряды закопаны. Картечь. Сегодня же на чердак затащу...»

Такой вот анекдот рассказывал Буденный, но не в тридцатые годы, а после того, как не стало ни Берии, ни Иосифа Виссарионовича. Это, разумеется, шутка, но мне хорошо известно другое: ложась спать, Семен Михайлович вынимал из кобуры пистолет, загонял в ствол патрон и оставлял оружие на стуле или на тумбочке, не далее расстояния вытянутой руки. Не знаю, как дома, а в поездках — всегда. Он объяснял это привычкой, сохранившейся с гражданской войны, которая, дескать, чревата была всегда неожиданностями. Семен Михайлович твердо верил: прав тот, кто выстрелил первым. Главное — остаться в живых, а в остальном разберемся. И это при том, что даже в самые трудные годы репрессии меньше всего угрожали Ворошилову и Буденному. Не хотел Иосиф Виссарионович лишаться самых надежных друзей и помощников, наоборот, всячески содействовал укреплению их позиций в армии.

И уж если Сталин свел счеты со своими подлинными и мнимыми противниками, то Ворошилов и Буденный — тем более! Убрали всех, кто мог сказать слово против них, кто был знаком с темными сторонами их прошлого. Тухачевского, например. Или вот наиболее характерный случай. Давайте вспомним выдающегося полководца гражданской войны Николая Акимовича Худякова. Я уже рассказывал о том, как отличился он, командир 1-й Коммунистической дивизии, в боях за Царицын. Много раз спасал положение. Не грех даже и повториться, называя основные факты его биографии.

Закончив Алексеевское военное училище, он воевал затем в 4-м Заамурском полку на Юго-Западном фронте, в Галиции. Там я и познакомился с ним. Светлого ума был человек и отчаянной храбрости офицер. Три Георгиевских креста украшали его мундир, награжден был орденом Георгия Победоносца, орденом Св. Станислава с мечами и бантом, офицерским Георгиевским оружием. И этот храбрый боевой офицер выступил в начале 1917 года против войны, против напрасного кровопролития! По распоряжению Керенского штабс-капитан Худяков был разжалован и заключен в Каменец-Подольскую крепость. Генерал Корнилов настоял на том, чтобы его приговорили к смертной казни. Однако привести приговор в исполнение помешала Октябрьская революция.

Далее — мужественная борьба за торжество Советской власти. Бои на Волге. С октября 1918 года — член партии большевиков. После 1-й Коммунистической дивизии командует 3-й Украинской социалистической Красной Армией (К. Е. Ворошилов в то время был членом правительства на Украине). Разгром формирований атамана Григорьева. Борьба за Одессу. Восемь ранений в боях! Орден Красного Знамени и Почетное революционное оружие (дважды!). И при всем том Худяков оставался лишь скромным военным специалистом при Ворошилове. Если Климент Ефремович и одерживал победы под Царицыном и на Украине, то в основном благодаря полководческому таланту Худякова. И тот, и другой понимали это, а такое положение никак, разумеется, не устраивало наркома Ворошилова. Он приложил немало стараний, чтобы держать Худякова подальше от Москвы, в неизвестности. Николай Акимович был отозван из армии на хозяйственную работу и в 1925 году отправлен на Северный Сахалин, где возглавил разведку и освоение дальневосточных нефтяных богатств. Поработал там много и пользу стране принес очень большую. У нас на востоке появилась база горючего!

В Москве он почти не появлялся, в печати не выступал. И все-таки Климент Ефремович побаивался Худякова: вдруг напишет свои воспоминания или расскажет широкой аудитории правду о военных действиях! И померкнут легенды о непобедимых и непогрешимых полководцах Ворошилове и Буденном. Разве можно это допустить?

Николай Акимович Худяков был ликвидирован. Его арестовали, дай бог памяти, в 1938 году, а в следующем году он был расстрелян как враг народа. Его фамилия была вычеркнута из истории. А все его достижения под Царицыном и на Украине автоматически перешли к Клименту Ефремовичу, укрепляя известность и славу наркома.

Пишу об этом для того, чтобы еще раз подчеркнуть: нельзя сваливать всю ответственность за массовые репрессии только на Сталина. Он даже не знал о гибели Худякова и целого ряда других товарищей. Соратники Иосифа Виссарионовича, которые, пользуясь обстановкой, всеми силами укрепляли свое положение, тоже виновны во многом. С них и спрос.

Кто, например, заставлял члена Политбюро В. М. Молотова написать резолюцию о расстреле жен «врагов

народа» Коссиора и Постышева? Да никто. Проявил инициативу, преследуя какие-то свои интересы.

Ворошилов и Буденный не только убивали тех, кто был опасен для них или неугоден им, но и выдвигали на ответственные военные должности своих верных людей. Независимо от умственных способностей, от образования, а лишь по одному принципу — личной преданности. Люди с кругозором эскадронных командиров становились вдруг комдивами и комкорами. К лету сорок первого года примерно девяносто процентов нашего начальствующего состава в звене дивизия — армия были скороспелыми, полуграмотными выдвиженцами Ворошилова и Буденного из тех, кто знаком был им по Первой Конной. Только из этого кладезя черпались кадры, будто и не было у нас других славных армий!

Новые люди, поднявшиеся на командные посты вместо «врагов народа», по незнанию или по чрезмерной услужливости перед начальством подвергали гонению, искоренению все то, что было связано с именами репрессированных предшественников. Тухачевский и Егоров, к примеру, много сил приложили для создания у нас самых мощных в мире бронетанковых войск. Не стало этих маршалов, и начались среди рьяных борцов за собственную карьеру и просто среди недалековидных товарищей разговоры о том, что крупные бронетанковые соединения нам без надобности, ни у французов, ни у англичан их нет, и ничего, обходятся. Военный опыт, дескать, показывает, что иметь бронекорпуса нецелесообразно... А какой опыт-то был? Бои у Хасана да в Испании: все это без размаха, в небольших масштабах. Ну и порешили наши военные деятели «рассыпать» бронетанковые корпуса, оставить бригады да дивизии. И это в то время, когда фашисты, используя наши недавние достижения, поспешно организовывали у себя мощные танковые группы. Фашисты создавали бронированные кулаки, а мы свои кулаки, наоборот, разжимали. Но пальцами можно лишь тыкать, разящего удара ими не нанесешь. Я говорил об этом, доказывал, спорил. А наши новоявленные генералы, используя ситуацию, действовали, вполне «успешно», подрывая могущество наших Вооруженных Сил.

Только после Халхин-Гола, особенно после роковых неудач в войне с белофиннами, спохватились мы, начали вновь формировать танковые и механизированные корпуса. Торопились, лепили на скорую руку из уцелевшего еще материала, но уже не было кадров, устарела техника, а новую выпускать не успевали. Срочно переводили в танковые войска командный состав из конницы. И там, и тут, мол, быстрота, маневр. Но это лишь внешние, формальные признаки. Многие десятки и сотни хороших кавалерийских командиров оказались вдруг в незнакомом роде войск, а перучиваться не оставалось времени. Среди них — генералы, даже будущие маршалы: Богданов и Лелюшенко, Стученко и Рябышев, Черевиченко и Москаленко, Гречко и Рыбалко и многие другие ветераны буденновской армии. Трудно им пришлось, особенно в начале войны. Но еще трудней тем, кто оказался под их руководством, кто жизнями расплачивался за их неумение.

Всего этого не могли не учитывать враги нашей державы.

В июле—августе 1938 года советские войска после долгого перерыва столкнулись с кадровыми войсками другого государства. На самом краю русской земли, возле озера Хасан, японцы попытались захватить две господствующие сопки: Безымянную и Заозерную. Как известно, попытка эта окончилась для самураев полным провалом, их основательно щелкнули по носу. Однако конфликт был слишком локален и скоротечен, чтобы можно было сделать обобщающие выводы о боеспособности нашей и японской армий. Сталин вообще не придавал этому событию существенного военного значения, использовал его только в политических целях, для внешней и внутренней пропаганды. Иосиф Виссарионович отдавал себе отчет в том, что на Дальнем Востоке образовался один из узлов длительного напряжения между нами, быстро развивавшейся Японией и огромным по населению Китаем. И все же, извините за тавтологию, Дальний Восток был далеко не так важен для Сталина, освоившего Восточную Сибирь (благодаря ссылкам) лишь до Прибайкалья. Он был человеком Запада, человеком Европы. А она тогда тоже требовала напряженного внимания, Гитлер уже протянул лапы к Австрии, Чехословакии, Испании. Шла грандиозная игра, и Сталин, естественно, был озабочен, как извлечь в ней выгоду. Он думал о возвращении наших утраченных западных территорий, желательно мирным путем. А военные конфликты — это для Ворошилова, которого в ту пору Иосиф Виссарионович считал надежным полководцем. В связи с этим напомним одно из удивительных свойств Сталина. Он назначал человека на должность и проникался уверенностью: если этот человек занимает должность наркома, — значит, он самый большой знаток в своей отрасли. Как-то не улавливал Иосиф Виссарионович, что не место красит человека.

Хасаном занимался не только Ворошилов, но и живые еще в то время непосредственные руководители операции Блюхер и Штерн. У каждого было свое мнение по этому вопросу. Самой простой и четкой была точка зрения Ворошилова: как можно скорее выбросить японцев с нашей территории, сделав это любой ценой. И действительно, победа скоро была одержана. Но как? Симптомы были настораживающие. Мы с Борисом Михайловичем Шапошниковым, каждый сам по себе, вели подробные отчетные карты, анализируя наши неудачи и успехи, а затем обменялись соображениями, чтобы иметь единое мнение для доклада Иосифу Виссарионовичу. Прежде всего отметили наши чрезмерные потери, не укладывавшиеся в разумные пределы. Вызваны они были тем, что военных руководителей сковывали политические соображения, исходившие от Ворошилова. Японцы-то вторглись на нашу территорию, не считаясь ни с какими правилами, — значит, бей и круши их беспощадно, в полную силу. А Климент Ефремович осторожничал, боялся расширения конфликта и поэтому запретил использовать для маневра, для обхода и окружения противника вражескую территорию. Войска наши оказались в трудных условиях. Двигались без дорог, по болотистой мест-

ности, сосредоточивались для штурма на виду у японцев, под их огнем. А главное — штурмовали Безымянную и Заозерную напрямик, в лоб, идя навстречу вражеским пулям и снарядам. Расплата за это — несколько тысяч жизней.

Иосиф Виссарионович не придавал значения потерям, его устраивал конечный результат. В итоговом приказе, утвержденном Политбюро ЦК, основные недостатки операции не получили глубокого раскрытия.

В общем, хасанские события не вызвали в наших вооруженных силах каких-либо существенных перемен. И японцы не поняли, сильна ли Красная Армия или ослаблена уничтожением кадров. А ведь в зависимости от этого Япония намеревалась строить свою дальнейшую политику. И вот в мае следующего года самураи спровоцировали новый, более обширный конфликт, по существу развернули необъявленную войну против Монгольской Народной Республики на рубеже реки Халхин-Гол. А поскольку мы с монголами связаны были договором о дружбе и взаимопомощи, то с самого начала в этой войне принял участие наш Особый корпус под командованием Н. В. Фекленко. Я этого товарища почти не знал, но, судя по вялым, нерешительным действиям корпуса, полководческими способностями Фекленко не отличался.

И сейчас, и в дальнейшем, когда речь пойдет о большой войне, я не буду описывать ход боевых действий — это общеизвестно. Если и придется рассказывать о какой-то операции, то лишь в той мере, в какой участвовал сам. Моя цель — запечатлеть те подробности, те ситуации, которые не получили широкой огласки, по тем или иным причинам выпали из поля зрения современников.

Халхин-Гол привлек внимание Сталина гораздо больше, нежели Хасан. Масштаб событий был больше, да и носили они международный характер — бои развернулись на территории дружественного государства. Впервые ощутил Иосиф Виссарионович неблагополучие в нашем военном руководстве, слабость командного состава. Все посты заняты, а доверить ведение боевых действий некому. Первый тревожный звонок прозвучал: кого послать в Монголию, кто сможет достойно возглавить фронт, добиться решительного успеха?

Этот вопрос был задан мне словно бы между прочим, в числе других, но я сразу отметил, с каким интересом ожидал Иосиф Виссарионович ответа.

— Работа для Блюхера. Восточный театр военных действий хорошо известен ему.

Сталин промолчал. А я вновь заговорил после паузы:

— В Монголии воевал Рокоссовский, командовал там кавалерийской бригадой в сражениях с Унгерном. Рокоссовский на Лубянке, он еще жив.

Иосиф Виссарионович нахмурился. Я затягивал молчание, надеясь услышать его мнение, но он отвернулся.

— Направьте Ворошилова, — развел я руками.

— Не годится. Товарищ Ворошилов нам нужен в Москве. Это во-первых. А во-вторых, он слишком крупная фигура для конфликта, он привлечет слишком много внимания. Самураев на Халхин-Голе должен разбить энергичный начальник соответствующего масштаба. Комкор или командарм.

— Тогда Белов.

— Шутки сейчас не ко времени,— резко произнес Сталин.— Вы меня прекрасно понимаете, Николай Алексеевич. Разве у нас нет молодых и вполне надежных военачальников?

— Я имею в виду не того Белова, который командовал до ареста Белорусским военным округом, а генерал-майора Павла Алексеевича Белова. Вы должны его помнить. Это он разрабатывал с Калиновским первую инструкцию по боевому применению танков. Кончил академию. Служил в инспекции кавалерии у Буденного.

— Знаю о нем. Где он сейчас?

— Командует дивизией. Отлично командует. Человек культурный, способный самостоятельно решать и действовать. Отстал в росте, так как ошибочно исключался из партии.

— Ошибочно? — переспросил Сталин.

— Да, в тридцать седьмом. Разобрались, восстановили.

— Это хорошо,— задумчиво произнес Иосиф Виссарионович.— Такие люди нам очень нужны. И все же не тот уровень. Белов не командовал корпусом даже на маневрах, а там боевые условия, там у нас не просто корпус, а Особый, с большим количеством танков и авиации. Мы, очевидно, развернем его в армейскую группу.

На этот раз промолчал я, не желая соглашаться. Слова Сталина не убедили меня. В вырубленном лесу нашего комсостава П. А. Белов заметно выделялся над молодым подростком и мелкошлемом.

Не приняв кандидатуру Белова, Сталин назвал фамилию Жукова. Сие меня несколько озадачило. Примерно ровесник Белову, прошел Жуков такую же служебную лестницу и был столь же мало известен Сталину. Мог запомниться разве что такой факт. Года полтора назад Жуков прислал на имя Сталина большую и очень резкую телеграмму: над ним нависла угроза исключения из партии, он требовал разобраться принципиально, по справедливости. Не просил, а именно требовал. Необычность этой телеграммы привлекла внимание Иосифа Виссарионовича. На место пошел ответ: проявить по отношению к члену партии Жукову полную объективность. Именно после этого и начался быстрый рост Жукова. Обогнав сослуживцев, он стал заместителем командующего Белорусским военным округом.

Вскоре я выяснил, кто «дал» Сталину эту фамилию. Оказывается, у Сталина состоялся острый разговор с Ворошиловым и Тимошенко. Недовольный положением в Монголии, Иосиф Виссарионович спросил: «Кто там командует войсками? Фекленко? Что он из себя представляет?» — «По званию комбриг». — «Это мне известно. Еще что?» — настаивал Сталин. Ворошилов ответил: лично с Фекленко не знаком, деловых качеств не знает. У Сталина прорвалось раздражение: «Безобразия! Там идет война, а нарком не может объяснить, кто воюет, как командует нашими войсками! Что это такое, товарищ Ворошилов?! Надо послать туда другого человека, который способен взять инициативу в свои руки».

Тут и прозвучала фамилия Жукова. Ее назвал Тимошенко, под непосредственным командованием которого Георгий Константинович служил продолжительное время.

Жуков был немедленно вызван в Москву, к Ворошилову и без задержки отправлен в Монголию. Там он убедился, что Фекленко сидит в глубоком тылу, ведет спокойную жизнь, не стремясь к активным боевым действиям. С этим немедленно было покончено. Фекленко был отстранен от должности, а Жуков, наращивая свои силы, принялся готовить удар по японцам.

Полководческая самобытность, твердый характер Жукова проявились в Монголии сразу и во многих аспектах. Я же отмечу один факт. Помните, после гибели Егорова, Тухачевского и других лучших наших военачальников нашлись люди, стремившиеся разрушить все, что было создано ими. Эти люди раздробили, «рассыпали» наши мощные бронетанковые корпуса. И даже теорию соответствующую подвели. А вот Жуков, исходя из конкретной обстановки, не колеблясь, опрокинул своими действиями утверждения горе-теоретиков. Собрал все имевшиеся у него танки в кулак и этим сильным кулаком сокрушил японскую оборону. Успех был заметный. Этот успех, кроме всего прочего, реабилитировал нашу старую верную идею массированного использования танков (перехваченную у нас и разрабатывавшуюся Гудерианом).

Сталин был доволен. «А ведь показали мы самураям, где раки зимуют», — неоднократно повторял он.

Георгия Константиновича Жукова в Москве встретили с почетом, как и подобает встречать победителя. Иосиф Виссарионович и члены Политбюро долго беседовали с ним, расспрашивали о состоянии, о боеспособности наших и японских войск. Вполне естественно, что после этой беседы Жуков направлен был командовать Киевским военным округом — одним из важнейших. А затем его назначили начальником Генерального штаба, что не соответствовало ни темпераменту, ни уровню подготовки Георгия Константиновича. Он ведь прежде всего деятельный, смелый организатор...

Сражение на Халхин-Голе — это первый большой шаг Жукова по тому пути, который приведет его в бессмертную немногочисленную когорту лучших полководцев всех времен и народов. Японцы на Халхин-Голе получили такой зубодробительный удар, поражение их было настолько безусловным, что враз отрезвило самурайские головы. Враг на Востоке понял, что теперь не девятьсот пятый год, что к русским лучше не соваться ни при каких обстоятельствах. Это, и только это, удержало японцев от нападения на Советский Союз в критический момент 1941 года, когда гитлеровские дивизии находились под Москвой, когда крах большевиков представлялся неизбежным. Казалось: хватай, рви нашу территорию. Но самураи не решились. Они выжидали. И правильно поступили. Напади они в тот момент, нам было бы чрезвычайно скверно. Однако в конечном счете гораздо хуже стало бы потом им.

А я думаю, как повернулись бы события, окажись на месте Георгия Константиновича Жукова Павел Алексеевич Белов? Может, наши действия в Монголии

развивались бы не столь стремительно, но в общем произошло бы то же самое. Ведь оба были полководцами одной школы, примерно одного уровня. Слава богу, что в те трудные годы уцелели они и еще несколько таких же талантливых военачальников. Счастливый случай помог тогда им, а следовательно, и всем нам.

Необъявленная война в Монголии завершилась 31 августа. А на следующее утро нападением Германии на Польшу началась вторая мировая война. Тогда же, 1 сентября 1939 года, был принят у нас закон о всеобщей воинской обязанности. К сражениям надо было готовить всех.

11

Большой мастер политических комбинаций, Иосиф Виссарионович сделал очередной, тщательно продуманный ход. Мы знаем, как в разгар коллективизации он выступил со статьей «Головокружение от успехов», открестившись от всяких перегибов, злоупотреблений, переложив ответственность за ошибки на плечи низовых партийных работников. К этому испытанному методу прибег он и в 1938 году, опасаясь, что кровь и грязь массовых репрессий запятнают его светло-серый китель. 19 января в «Правде» появилась передовая статья, в которой было заявлено, что минувший год ознаменовался большими успехами в очищении рядов партии от троцкистско-бухаринских лазутчиков фашизма. «Призыв товарища Сталина о ликвидации идиотской болезни — беспечности, о повышении бдительности возымел действие — партийные массы возмужали, закалились на той громадной очистительной работе, которая проведена партией... Трудно переоценить результаты выкорчевывания троцкистско-бухаринских шпионов и диверсантов — эти результаты равны выигрышу страной социализма большого сражения с капиталистическим миром».

Изрядно сказано!

В том же номере было опубликовано сообщение о Пленуме ЦК ВКП(б), который обсудил вопрос об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о формально-бюрократическом отношении к апелляциям исключенных из ВКП(б) и о мерах по устранению этих недостатков.

Появилась ширма, за которой Сталин мог укрыться в случае необходимости. Начались и практические перемены. Карательная машина продолжала работать (через месяц после Пленума ЦК состоялся громкий процесс над членами право-троцкистского блока), однако крен постепенно становился другим. Главная особенность (и странность!) новой обстановки заключалась в том, что исправлять допущенные «ошибки», восстанавливать «справедливость» было поручено субъекту, который вот уже несколько лет из-за спины Сталина негласно руководил репрессиями, разжигал пламя злобы и подозрительности. Лаврентию Павловичу Берии доверялась эта забота. Вот, кстати, свидетельство того, насколько Сталин был уверен теперь в прочности своего положения: он мог позволить себе даже такой парадокс, похожий на издевку над всеми пострадавшими.

За несколько дней до утверждения Берии на посту наркома внутренних дел я высказал Иосифу Виссарионовичу свое мнение по этому поводу. Сталин был в превосходном настроении, ответил:

— Он хорошо знает свои обязанности. Кто способен поймать черную кошку в совершенно темной комнате? — улыбнулся Иосиф Виссарионович, перефразируя Конфуция. — Мало кто способен. А Берия поймает, даже если будет ловить с завязанными глазами.

— Верно, — согласился я. — Даже если в этой комнате вообще не будет кошки, Берия все равно обнаружит и схватит ее.

— Безусловно! — весело согласился Сталин, чуть подергиваясь от тихого, почти незаметного смеха.

Ставши наркомом, Лаврентий Павлович вскоре сделал на заседании Политбюро заявление, которого меньше всего ожидали от него. Сказал, примерно, так: в 1937 году количество арестов по сравнению с предыдущим годом выросло в десять раз. Брали огульно. Тюремные забиты, следователи не успевают работать. Ежов перегнул палку, ежовщина принесла больше вреда, чем пользы. Пора отбросить «ежовые рукавицы», пора поменьше сажать, а то скоро вообще некого будет сажать... Все присутствующие были ошеломлены, потрясены, один Иосиф Виссарионович оставался спокоен: заявление Берии было, разумеется, согласовано с ним, а может, и подсказано самим Сталиным.

Количество арестов действительно начало сокращаться (почти все, кого Иосиф Виссарионович считал своими возможными противниками, были уже ликвидированы). Кое-кто был освобожден. Из числа арестованных военных — примерно каждый четвертый. Это радовало меня и в какой-то мере примиряло с Лаврентием Павловичем. О Берии заговорили, что он, мол, восстанавливает справедливость, вскрыл злоупотребления, тайно творившиеся за спиной товарища Сталина. Слово «ежовщина» сделалось синонимом жестокости. А если аресты и продолжались, то теперь уж, безусловно, только оправданные и необходимые.

Свалить все ошибки на тех, кто был до тебя, под лозунгом восстановления истины и добра начать деятельность с расчищенного места, с новой точки отсчета — это давний, испытанный ход. До меня, дескать, все было скверно — при мне все будет хорошо. Вот вам новая заманчивая программа, давайте ее осуществлять — такова нехитрая формула. Применялся подобный ход множество раз, но что удивительно, — всегда срабатывал безотказно. Может, народ просто не знает об этом приеме, каждое поколение воспринимает его как окрыляющую откровенность?! Велико у людей стремление к счастью, велико желание хороших перемен, велика надежда на лучшее будущее — до ослепления велика! Вот и играют на этих чувствах профессиональные политические деятели, стремящиеся закрепиться у власти.

К Берии применимы многие отрицательные эпитеты: беспринципный, коварный, лживый, жестокий, развратный, но назвать его человеком заурядным никак нельзя. Он был деятелен, неудержим и изворотлив в достижении своих целей, имел какую-то фено-

менальную интуицию, позволявшую ему предугадывать мысли, расчеты, надежды Сталина.

Когда Берия возглавил Наркомат внутренних дел, ему прежде всего надо было отмежеваться от преступных действий Ягоды и Ежова, с чего, собственно, он и начал. Для этого требовалось убрать лишних свидетелей, навести лоск. А соответствующий опыт в этом отношении имелся изрядный. Личный состав чекистов при Сталине уже обновляли несколько раз, чтобы навсегда скрыть от непосвященных многие и многие тайны. У мертвых есть важное качество — они молчат.

В двадцатых годах были навсегда убраны многие чекисты, работавшие под руководством Дзержинского с начала революции. Одновременно уничтожались и соответствующие документы. Так что на некоторые эпизоды трудно теперь пролить свет. После смерти Ленина, например, в тщательно охраняемой внутренней тюрьме на Лубянке участились случаи, определявшиеся как «убит при попытке к бегству» или «погиб при попытке к бегству». Причем бежать пытались наиболее опасные в политическом отношении арестанты. Не скажу, чтобы Сталин особенно опасался известного политического деятеля Бориса Савинкова. Однако неприятностей этот смелый умный противник способен был доставить много. Его удалось заманить из-за границы в Москву, а что дальше? Казнить — значит вызвать негодование, озлобление и за рубежом, и в своей стране. Сложная задача разрешилась сама собой: Савинков взял да и выбросился из окна во внутренний двор тюрьмы. Зачем это понадобилось ему, жизнелюбцу, которому грозило всего лишь десять лет ссылки? И что за тюремное окно без решетки?

Из чекистов двадцатых годов, повторяю, уцелели очень немногие. Следующий состав — это те, кто работал в период коллективизации, страшного голода, кто боролся с троцкистами и бухаринцами. Их тоже мало уцелело после тридцать седьмого года. Не говоря уж о Ленинграде, где состав ЧК сменили целиком, не оставив никого из тех, кто мог бы хоть что-то сказать о событиях, связанных с гибелью Кирова.

С приходом Берии начался третий период. Лаврентий Павлович стремился убрать тех сотрудников, которые проводили до него массовые репрессии, занимались избиением партийных и военных кадров. Тут сразу было несколько выигрышей. Наказывались «виновники» необоснованных репрессий — справедливость торжествовала. Ликвидировались компрометирующие нити, тянувшиеся к Сталину и другим высоким руководителям. Ну, и для своих надежных ставленников расчистил место Лаврентий Павлович. Этот новый, бериевский состав и сохранился потом до гибели Берии, до XX съезда нашей партии. Тогда его соратники крепко поволновались. Кто постарше — был отправлен на пенсию. Кто помоложе — получил работу в народном хозяйстве, в отделах кадров и подобных учреждениях.

О Сталине после вышеупомянутого съезда писали и говорили, что для него главной была идея, а люди — винтики в большой машине. Сменить, выбро-

сить — ничего не стоит. А между тем человек — это вершина созидания. Он рождается один раз, чтобы прожить радостную, счастливую жизнь — сие соответствует идеалам коммунизма. Все остальное — подсобное, второстепенное — материал, обеспечивающий процветание человечества. А Иосиф Виссарионович, наоборот, превращал людей в физический и духовный материал для великого социального эксперимента, пытаясь осуществить то, что считал правильным, наиважнейшим. Он шагал к верной, светлой цели, но не знал, как идти к ней. Миллионы людей расплачивались за это незнание своими искалеченными судьбами. Ради тех, кто будет жить в свободном и справедливом обществе.

Для более глубокого понимания природы сталинской твердости, даже жестокости, хочу обратить внимание на одну его немаловажную черту, на его своеобразное отношение к жизни и смерти. Иосиф Виссарионович был, конечно, атеистом, не веровавшим ни в Бога, ни в черта. Для него не существовало потусторонней жизни, загробного царства. И все же детские впечатления, религиозность матери, пребывание в духовной семинарии не прошли бесследно. Сохранилось глубоко скрытое, подсознательное представление о том, что недолговечно, тленно лишь тело, а душа продолжает существовать всегда, но не активно, не проявляя себя действием, а лишь наблюдая, сострадая, каясь или радуясь. Каждому человеку легче жить с таким ощущением, а Иосифу Виссарионовичу, постоянно находившемуся на острие борьбы, на грани риска, тем более. Поэтому смерть (особенно чужая) не казалась ему полной всеуничтожающей катастрофой, окончательным разрешением всех тревог и забот земных. Нет, исчезает лишь оболочка.

Смерть в его понимании не являлась последним решающим рубежом. Он любил смотреть в небо — это усиливалось с возрастом. Небо странно волновало и притягивало Иосифа Виссарионовича своей беспредельностью, бесконечностью существования. Какую загадку видел он там?

Сталин поощрял любые попытки подняться ввысь, освоить безмерные просторы. Несколько раз он с горечью говорил о том, что каждый новый шаг в высоту дается с огромными трудностями и оплачивается потерей смелых, упорных товарищей. К ним, к этим отважным людям, Иосиф Виссарионович относился с особой заботой, с почтительным уважением. Болезненно переживал Сталин гибель Усыкина и его соратников, пытавшихся проникнуть в тайны стратосферы. Иосиф Виссарионович поехал на похороны, сам нес урну с прахом. Лицо было скорбное, будто потерял близких друзей. Может, думал о том, что в небе встретил он сопротивление, которое не в состоянии преодолеть, что где-то там, в неизвестности, есть решающая, недоступная пониманию сила...

День выдался морозный, но Иосиф Виссарионович был настолько потрясен, настолько погружен в свои мысли, что не замечал холода, хотя приехал в фуражке. Уши у него начали белеть. Я снял свою теплую шапку, надвинул на голову Сталина. Она была мала ему, особенно при опущенных ушках, сидела торчком,

покосившись, но, во всяком случае, согревала. А он даже внимания не обратил. Потом, возле автомобиля, машинально принял из моих рук фуражку. И все думал о чем-то отрешенно и скорбно, поглядывая в хмурое, суровое небо...

До сих пор мы говорили главным образом о тех, кто безвинно пострадал в тридцатые годы. Но безвинно, на мой взгляд, пострадали далеко не все репрессированные. Посмотрите пристально: по существу, все политические, государственные, военные деятели, подвергшиеся репрессиям, сами ведь проливали людскую кровь, и не только на практике, по наитию, но и глубоко-мысленно обосновывая физическое уничтожение во имя различных, в том числе классовых, целей.

Полководцы гражданской войны, красные и белые, разжигавшие междоусобную бойню, натравливающие брата на брата, твердой рукой наводившие «белый» или «красный» порядок в городах и селах, захваченных то одной, то другой враждующей стороной — сколько преступлений висит на их совести?! А чекисты первых лет революции, расстреливавшие предполагаемых противников по собственному усмотрению? Разве эти чекисты не несут ответственность за сотни тысяч жертв? Нет, классовая борьба — это не оправдание жестокости, дикого своеволия, анархизма. Человек рано или поздно за все ответит сам. И чем раньше он осознает это, чем меньше зла натворит, тем легче ему жить потом, особенно в старости.

Отходя от рассуждений, давайте вспомним подтверждающие примеры. Ну, хотя бы то, что в достаточной степени известно было среди современников. Доказано, что Октябрьский переворот произошел в нашей стране довольно спокойно, почти без жертв. При штурме Зимнего, например, никто не был убит, лишь нескольких граждан придавила толпа, врывавшаяся во дворец. Пять или шесть солдат перепились в винных подвалах Зимнего, их не удалось спасти. Выражаясь тогдашним языком, революция «триумфально шествовала по стране». И это действительно так. Назрело — свершилось. Все естественно и справедливо. Но очень скоро проявили себя те, кто жаждал власти, стремился управлять от имени революции, уничтожая несогласных, сомневающихся.

Летом 1918 года в тихом городе Архангельске, где постепенно укоренялась Советская власть, очень активно проявил вдруг себя облеченный доверием центра Особоуполномоченный Совнаркома большевик Михаил Кедров, не знавший, вероятно, куда употребить с пользой здоровье и силу. Ну и советница у него нашлась — ироничная Ревекка Пластинина, при царе отбывавшая в северных краях срок ссылки.

Михаил Кедров разогнал городскую думу, в которой преобладали меньшевики и эсеры (влияние эсеров на Севере вообще было особенно сильным). За пару недель в Архангельске и в уездных северных городах, куда дотянулись руки Кедрова, были во множестве арестованы учителя, торговцы, священники, чиновники, врачи, ветеринары, газетчики, агрономы и прочие представители буржуазии и буржуазной интеллигенции. К ним являлись во второй половине ночи, в самое глухое время, уводили в тюрьмы, а за нехваткой

мест в тюрьмах — в подвалы казенных домов. И расстреливали без суда и следствия. Целыми семьями. Случалось, что и вешали. Но за что? Почему? Да только потому, что Особоуполномоченный Кедров считал их врагами. Как его назвать, кем его считать после этого? Борцом за Советскую власть или преступником?

Я совершенно уверен, что англо-американо-канадская интервенция на нашем Севере имела вначале успех (до Котласа враги дошли!) в значительной мере потому, что местные жители были напуганы, дезориентированы действиями таких злодеев, как Кедров. Словом «большевик» детишек стали пугать.

Кто знает, мучила ли впоследствии Михаила Кедрова совесть за совершенные преступления, появлялись ли «мальчики кровавые в глазах»? Жил он себе припеваючи, но наступило время, когда стал он рьяным борцом за справедливость и законность. Это когда самого «припекло». Году в тридцать восьмом или тридцать девятом его младший сын Игорь, тайный агент НКВД в Наркомате иностранных дел, был заподозрен в шпионаже. Почувствовав угрозу ареста, кинулся в борьбу за самого себя. Написал письмо Шкирятову о несправедливом отношении и вообще о злоупотреблениях работников особых органов. Вмешался и Михаил Кедров, отправив в высокие инстанции два послания: Сталину и Калинин. Предвзято, мол, относятся к моему сыну (о старшем, о Бонифации, умалчивал, не привлекая к нему внимания). Вот как засуетился Кедров, когда черное крыло распростерлось непосредственно над его семьей.

Игорь Кедров был расстрелян как зарубежный шпион. Привлекли к ответственности и Михаила Кедрова. Но его, старого большевика, Верховный суд (не без вмешательства М. И. Калинина) оправдал. Редчайший случай для того времени. Узнав обо всем этом, Иосиф Виссарионович высказался так:

— Железный Феликс рассказывал, как Кедров железной рукой наводил порядок в Архангельске. Искоренил двести буржуазных семейств. Может, и больше. Без суда. Почему же он возмущается, когда в законном порядке наказан его сын? Невинный — освобожден. Виновного — покарали. Что же в этом несправедливого?

— А как бы вы себя чувствовали, Иосиф Виссарионович, если бы в подобном положении оказался один из ваших сыновей? Как бы вы поступили?

— Как поступил бы я? — Сталин задумался, машинально потирая правой рукой левую руку. — Каждый человек должен отвечать за свои поступки. Что заслужил, то получи! Малейшее отступление от такого принципа может разложить любое общество, любое государство, тем более такое разнообразное государство, как наше...

Да, на все, даже на свою семью он смотрел словно бы со стороны, а вернее — с высоты своего полета.

Что же касается Кедрова, то ему, несмотря на официальное судебное оправдание, не удалось все же избежать кары. Осенью 1941 года он был расстрелян с группой «врагов народа» где-то в тылу, в Са-

ратове, что ли... Добавили впопыхах к какому-то списку. «Шлепнули» его, как «шлепал» когда-то он.

Ну, ладно, Михаил Кедров — это практик, не всегда, может, и размышлявший над своими поступками, над своими решениями. Но вот Николай Иванович Бухарин, образованный человек, мыслитель, теоретик, который по своему положению в партии и государстве, по своему внутреннему состоянию просто не мог не размышлять, не мог не предвидеть. Этот человек, считавшийся чуть ли не образцом гуманности и демократии, в работе «Экономика переходного периода» собственноручно и категорически начертал:

«Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как ни парадоксально это звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи».

Жуткое утверждение, не правда ли?! Люди для Бухарина — человеческий материал. А все перегибы двадцатых — тридцатых годов — это лишь «метод выработки коммунистического человечества». Как все просто, когда дело касается других. А если сам вдруг окажешься не высокопоставленным мудрецом, а этим же материалом?!

Вспоминал ли Бухарин свое категорическое утверждение, находясь в тюремной камере, всеми возможными способами пытаюсь сохранить свою собственную жизнь? Вплоть до согласия лгать, наговаривать на себя, на других, но в обмен на свободу.

Когда строишь дом, прикидывай все же, а как бы жилось в нем тебе самому.

Мне довелось слышать, как некоторые товарищи, пострадавшие в годы репрессий, говорили с горькой иронией: «За что боролись, на то и напоролись». Я только не понимаю, при чем тут ирония, это ведь действительно так. С ними поступали таким же образом, каким поступали они по отношению к другим. Бумеранг возвращается. Зачастую, правда, возвращается с опозданием и бьет по мертвым, что не приносит особой пользы. Гораздо важнее, чтобы каждый гражданин, каждый руководитель еще при жизни получал по заслугам. Тогда крепче думали бы, прежде чем делать. Многих ошибок, перекосов и преступлений удалось бы избежать.

12

Переехав в Москву, Лаврентий Павлович перевез в столицу и своих ближайших родственников. Семейные дела Берии ни в коей мере не интересовали бы меня, если бы не одна, открывшаяся вдруг, подробность. Читатель, наверно, помнит, при каких обстоятельствах встретил я Екатерину Георгиевну, ставшую моей женой и матерью нашей дочери. Катя-Кето приехала тогда из Грузии просить Сталина, чтобы ей разрешили похоронить на семейном кладбище тело расстрелянного брата, бывшего офицера российской армии... Мы с ней познакомились.

Примерно при таких же обстоятельствах и Лаврентий Павлович увидел впервые свою будущую жену.

Было это, когда Берия подвизался на посту начальника ГПУ Грузии. В своем спецпоезде он разъезжал по республике. Любил бывать в поселке Гульрипши, неподалеку от которого родился в мингрельском селе Мерхеули: сей факт свершился в самом конце минувшего века.

Однажды на станцию, где стоял спецпоезд, пришла семнадцатилетняя девушка-мингрелка. И тоже, представьте себе, просить за родного человека. Чтобы начальник ГПУ отпустил арестованного брата, которому грозил расстрел. С подобными просьбами являлись многие, но редко кого пускали к Берии. А девушку Нино пустили. Лаврентию Павловичу показали просительницу через окно вагона, ему понравилась ее свежесть, ее фигура с чуть полноватыми ногами и крепкими бедрами. Он говорил потом, что увидел красавицу...

Девушку привели в вагон. Берия пригласил ее в купе и запер изнутри дверь... Короче говоря, из вагона Нино не вышла и в свою деревню не возвратилась. Берия увез ее. Не знаю, как сложилась судьба брата Нино, а сама она вскоре стала официальной женой Лаврентия Павловича, родила сына.

Нина Теймуразовна действительно была красива и к тому же умна. Хорошо вела дом, воспитывала ребенка, сама училась, чтобы стать химиком. А жизнь ее, на мой взгляд, была горька и трудна. У нее в Москве почти не было знакомых, никто не ходил в гости, и она ни к кому не ходила. Всегда дома, всегда одна — как в роскошной тюрьме. Лаврентий Павлович бывал груб с женой, бесцеремонен, не считался с ней, не щадил ее самолюбия. Привозил в дом, на свою половину, случайных «разовых» женщин. Появлялся на людях со своей постоянной любовницей, известной актрисой, лучшей в ту пору исполнительницей роли Кармен.

Незадолго до войны мне довелось побывать в доме Берии, в особняке за высоким глухим забором: на Садовом кольце, возле площади Восстания. Лаврентий Павлович, приняв пост наркома внутренних дел, как я уже говорил, позаботился об освобождении некоторой части репрессированных лиц, в том числе и военных. Было установлено, что военным товарищам возвращаются звания и должности, дается определенная компенсация за нанесенный им ущерб. Я же, зная, из какого ада они выходят, подготовил решение: каждый из освобожденных подлежит тщательному медицинскому обследованию с обязательным направлением в санаторий или в дом отдыха. Вместе с семьей. Для восстановления физических и нравственных сил. Против санаториев и домов отдыха никто не возражал, а насчет обследований у Берии оказалось особое мнение. Он требовал, чтобы окончательное медицинское заключение давалось при освобождении врачами НКВД. Причина была мне понятна, и я настаивал на своем: речь идет о пригодности к строевой или нестроевой службе, поэтому обследовать военных товарищей должны военные медики, руководствуясь положениями, существующими в Наркомате обороны.

Выносить этот частный и щекотливый вопрос на Политбюро Лаврентий Павлович, естественно, не хо-

тел, пригласил меня для разговора к себе домой. Я поехал: любопытно было узреть, какое гнездо свил себе Берия. С другой стороны — Иосиф Виссарионович часто обращался ко мне по самым неожиданным делам, считая, что я должен знать все, что имело хотя бы малейшее касательство к военному ведомству. Сам он никогда ни к кому не ездил, но, вполне возможно, его могло заинтересовать, как живет, каков в домашней обстановке один из его ближайших помощников, носивший военную форму.

За обеденным столом мы с Лаврентием Павловичем довольно быстро нашли компромиссное решение по поводу медицинского обследования, никоим образом не ущемлявшее интересы освобождаемых товарищей и устраивавшее руководителей Наркомата внутренних дел, стремившихся соблюсти респектабельным фасад своей организации. Надо сказать, что многие люди в домашних условиях выглядят совершенно иначе, чем на работе, при исполнении служебных обязанностей. Наглец, самодур и грубиян в присутствии жены и детей может вдруг оказаться ласковой послушной овечкой, а мягкий, вежливый начальник, душа-человек в своем учреждении, едва переступив порог семейного очага, оборачивается злобным и жестоким деспотом. Однако Берия не принадлежал ни к тем, ни к другим. Угодливым и заискивающим он был только перед Сталиным. Других же считал стоявшими ниже себя, со всеми, и на службе и дома, как я убедился, был барски высокомерен, резок. Равнодушен он был ко всему, что не касалось лично его интересов. Считаю, что в глубине души он презирал всех, что для него не было людей с их чувствами, мыслями, переживаниями, он видел только фигуры в игре, которые можно переставлять или отбрасывать, стремясь к своей цели.

Впрочем, разница между Берией в его служебном кабинете и Берией за домашним обеденным столом все же была. На службе он никогда не снимал очки (без оправы, с большими толстыми стеклами), хотя зрение имел нормальное. Людей, что ли, пугал холодным блеском стекла? Или не хотел, чтобы видели выражение его голубоватых выпуклых глаз?

Он сидел против меня, с удовольствием пил, много ел, похваливая Нину Теймуразовну, которая умело управляла поварами и сама знала тайны грузинской кухни. Без очков лоб Лаврентия Павловича казался слишком уж выпуклым, удивляли белесые, не собственные грузинам, брови. То, что волосы у него светлые, было привычно, а брови в тот раз привлекли мое внимание. И вообще — без больших поблескивающих очков выглядел он как-то очень уж ordinarily, заурядно, взгляду не на чем было зацепиться на его бесцветном, с одутловатыми щеками, лице.

Нина Теймуразовна меняла блюда, переставляла тарелки, рюмки, фужеры. Делала это так своевременно и быстро, будто все получалось само собой. Слово ее и не было. Сидела чуть в стороне от мужа, с застывшей на красивом лице улыбкой, сквозь которую проглядывала печаль и какая-то ранняя, не по возрасту, усталость.

Ворвался в столовую их сынишка Серго, очень по-

хожий на отца, только посмуглее, да черты лица очерченны резче, не расплывчатые. Тут впервые увидел я, как потеплели и прояснились глаза Лаврентия Павловича. Он погладил по голове мальчика, прильнувшего к его колену, произнес что-то обычное в таких случаях: «поздоровайся с дядей», наверное. Серго поздоровался, и в ту же секунду появилась гувернантка: извинившись перед нами, она предложила мальчику пойти с ней. Причем сказано это было не по-русски, не по-грузински, а по-немецки, и не так, как говорят люди, освоившие этот чужой для них язык, а именно так, как говорят в Германии, и еще точнее — в Северной Германии, на берегах Балтики.

— Немка? — спросил я, когда мальчик и гувернантка скрылись за дверью.

— Да. У них сейчас урок языка... Она очень добро-совестная и аккуратная, — пояснила Нина Теймуразовна, будто оправдываясь.

— Несколько языков знает, — добавил Лаврентий Павлович, прихлебывая из большого фужера. — Надежна со всех сторон.

Последние слова Берии отнюдь не избавили меня от неприятного ощущения. В ту пору всем было уже ясно, что войны с фашистами нам не избежать, что Германия для нас враг номер один. А возле человека, ведающего разведкой и контрразведкой, знающего самые важные государственные тайны, в доме его, где на коротке решаются важнейшие вопросы, где он говорит о делах по телефону, живет, пользуясь влиянием и авторитетом, гувернантка немецкой национальности. Вероятно, она была человеком честным, порядочным, но не слишком ли высока степень риска?! Да и зачем? Разве нельзя было найти гувернантку русскую или грузинку? Сколько тысяч, десятков тысяч людей были арестованы, отправлены в лагеря и в мирное время, и на фронте при возникновении малейшего подозрения. А гувернантка, к которой очень привязан был сын Берии, обреталась в семье Лаврентия Павловича всю войну. Она помогла мальчику Серго овладеть немецким и английским языками, она была хорошей воспитательницей и принесла пользу. Все так. Но мне подобное положение дел показалось тогда странным.

Став взрослым, Серго женился на внучке Алексея Максимовича Горького — Марфе. У них родился сын, названный, если мне не изменяет память, Максимом Пешковым¹.

После обильных возлияний (я в ту пору мог пить много, не теряя головы, не утрачивая чувства ответственности) разговор за столом перешел почему-то на имена. Каковы настоящие, исконные имена в России, каковы в Грузии? Лаврентию Павловичу и Нине Теймуразовне это было интересно, мне тоже. Я ведь кое-что знал о Грузии благодаря своей жене Кето Георгиевне и многолетнему общению с Иосифом Виссарионовичем. Крупный специалист по женской части, Лаврентий Павлович рассказал о наиболее популярных в Гру-

¹ М. Пешков работал в советском посольстве в Кабуле в то трудное время, когда воины-интернационалисты оказывали помощь афганцам. Проявил мужество, выдержку, высокое чувство долга. (Примеч. автора.)

зии женских именах, чьи именины празднуют зимой (наша встреча как раз была в середине зимы). Например — Тина, а полностью Тинатин: обозначает «светлый солнечный луч» и особенно распространилось после того, как появилась поэма «Витязь в тигровой шкуре». Так зовут главную героиню поэмы. Не менее широко распространено и имя Нина — Нино, давным-давно принесенное в Грузию женщиной — просветительницей из Каппадокии, проповедовавшей христианское учение.

Нина Теймуразовна оживилась, будто речь шла непосредственно о ней, и еще больше похорошела. Заметив это, Лаврентий Павлович ухмыльнулся и повел речь об именах простонародных, которые родители дают своим чадам, руководствуясь только собственной фантазией. Особенно в глухих селах. Был, дескать, у него случай, еще до переезда в Москву, когда возглавлял грузинскую компартию. Посетил он передовое предприятие, там к нему подходили стахановцы и стахановки, знакомились. Одна назвала свое имя — Макоцэ. Он переспросил, она повторила, чуть смутившись. Ведь «макоцэ» по-грузински означает «поцелуй меня». Вот каким имечком наградили родители! Берия окинул взглядом ее фигуру. Вполне подходяще, к тому же и молода. «Хорошо. Такой симпатичной девушке нельзя отказать». В тот же вечер стахановку встретили у проходной доверенные люди Лаврентия Павловича. Посадили в машину, привезли куда надо, велели помыться в ванной и проводили к хозяину.

— Я выполнил и значительно перевыполнил просьбу, — посмеиваясь сообщил Берия, будто анекдот рассказал. В присутствии Нины Теймуразовны мне было очень неприятно слушать это повествование. Женщина сразу замкнулась, померкла, на лице появилась заученная маска-улыбка, будто вся эта история, все пикантные подробности, которые смаковал муж, не имели никакого отношения к ней... Да, действительно, нелегко ей жилось.

Кстати, я никому не рассказывал о случае с девушкой Макоцэ, фактически об одном из насилий, учиненных Берией, но Иосифу Виссарионовичу, как выяснилось впоследствии, эта история была известна. Она всплывет после войны, едва Берия окажется не в фаворе.

А тогда, покончив с обильным и вкусным обедом, мы с Лаврентием Павловичем пошли в его персональный тир, оборудованный в том же доме (стрелять — это было его увлечение, его хобби, как теперь говорят). Конечно, мне в моем возрасте лучше было бы отдохнуть после сытного застолья, но у Лаврентия Павловича клокотала нерастроченная энергия, подогретая коньяком, он пригласил, настоятельно пригласил меня, желая, вероятно, продемонстрировать свое мастерство. Мне было интересно, как он стреляет. Ну и собственное офицерское реноме хотел поддержать.

Странными были мишени. К тому времени в войсках и в Осовиахите учебные стрельбы выполняли по возможному противнику, по силуэту в каске германского образца. А в персональном тире Берии оказались силуэты мужчины и женщины, без всяких на-

меков на то, к каким из наших противников они принадлежат. Довольно симпатичные силуэты, даже рука не сразу поднялась стрелять в них. Лишь после того, как Берия послал свои пули близко к девятке, выиграло и мое ретивое: неужели этот выскочка бьет лучше меня?!

Тщательно прицелившись, я положил шесть пуль одна к одной в центр мишени. Лаврентий Павлович, подкреплявшийся в этот момент возле столика, на котором красовались бутылки коньяка и различные фрукты, был удивлен и даже раздражен. Вероятно, в подобной ситуации его холуи сознательно стреляли хуже своего начальника. А теперь он был уязвлен. Торопливо выполнил упражнение — не догнал меня. Еще раз — опять результаты хуже. И тогда, ожесточившись, оскалив зубы, Берия принялся безудержно палить то по одной, то по другой мишени: обслуживающий человечек, бесшумный и бесплотный, как тень, едва успевал подавать ему заряженные пистолеты.

13

Мало пишу я в этом разделе книги о семейных взаимоотношениях. И не случайно. После смерти Надежды Сергеевны охладел Иосиф Виссарионович к детям, отдалился от них. Да и время было слишком бурное, борьба слишком жестокой: отнимали они все силы и внимание. Но вот к концу тридцатых годов поутихли внутригосударственные бури, а войны еще не нагрянули: Сталин, утвердившись на желанном пьедестале, чаще позволял себе кратковременный отдых. И возраст брал свое: шесть десятков лет — груз ощутимый. Тянуло на природу, на Дальнюю дачу, к Светлане. Однако, как и прежде с женой, не находил он с детьми спокойствия, удовлетворенности. Не чувствовал родства душ, способных продолжать его дело, гордо нести дальше его фамилию. Не повезло человеку в личной жизни, а отсутствие семейной доброты, ласки, радости не могло не отражаться на его состоянии и, соответственно, на работе. Пресловутая раздражительность Сталина, его гневные вспышки во многом проистекали отсюда.

О женитьбе Якова Джугашвили мы уже говорили. Его Юлия Мельцер оказалась не только красивой, но и достаточно тактичной. Я бывал у них в Ленинграде. Потом семья переехала в Москву. Сложилось впечатление, что они любят друг друга, особенно Яков жену. Застенчивый, носатый, узкоплечий, Яков, впервые согретый большим теплом, как-то расправился, посolidнел. А главное — Юлия никогда не настраивала его против отца. Подчеркивала, что Иосифу Виссарионовичу трудно на высоком посту, ему не до них, он заботится о всем народе.

И хотя Иосиф Виссарионович по-прежнему считал: Яков слишком Джугашвили, чтобы стать Сталиным, в его отношении к сыну наметилось явное потепление. Особенно после того, как сын поступил в 1939 году в Артиллерийскую академию на командный факультет. До этого Яков окончил институт инженеров транспорта, но Сталину почему-то не нравилась эта

специальность. А теперь Яков «определился», как казалось Иосифу Виссарионовичу. Только ведь не угадаешь, чем сегодняшнее деяние оборотится в будущем.

В военной форме, вообще украшающей мужчин, Яков Джугашвили выглядел более мужественным, уверенным. И все-таки оставалась в нем какая-то мягкость, я бы даже сказал — робость. Совсем ничего не было от решительности и категоричности Сталина. Даже лицом не похож на отца. Одна из определяющих черт внешности Иосифа Виссарионовича — узкий лоб. А у Якова лоб высокий, чистый... Не в отцовскую породу пошел сын.

Встреч с Иосифом Виссарионовичем Яков избегал. На Ближней даче, в «Блинах», я его никогда не видел. Наведывался лишь на Дальнюю дачу, где жили бабка и дед Аллилуевы, где часто бывала Светлана, в ту пору умная, добрая, рассудительная девочка, в характере которой, впрочем, уже начинали проявляться капризность и эгоизм.

Мне показалось, что Яков ищет (нерешительно, но ищет) разговора со мной наедине. Я предоставил ему такую возможность. С северной стороны дачи, за высоким забором, были большие заросли лесной малины. Мало заметная железная калитка, выводившая в ту сторону, была постоянно закрыта, но однажды я попросил отпереть ее — когда созрели красные ягоды. И вывел «на малину» все дачное общество.

Кто прихватил с собой кружку, кто легкую коробочку, только у невезучего Якова каким-то образом оказалась в руках эмалированная кастрюлька, совершенно не сочетавшаяся с его новенькой, хорошо сшитой формой. Удобная была мишень для шутников.

Яков держался поближе ко мне. Я чувствовал, что он очень хочет, но не осмеливается спросить о чем-то. С тех давних пор, когда он только приехал в Москву и называл меня дядей Колей, прошло много времени, мы редко виделись, но мое доброе к нему отношение не переменилось. Чтобы он почувствовал это, я первым задал ему вопрос, личного так сказать, порядка. Почему, мол, он, имея инженерное образование, пошел в артиллерию, а не в пионерные войска?

Ответит ли он искренне? И вообще, поймет ли меня? Пионерными войсками в русской армии до середины прошлого века назывались войска инженерные. Знает ли об этом слушатель военной академии Джугашвили-Сванидзе?

— Так захотел отец, — доверчиво ответил Яков. — Он посоветовал... Считаете, лучше, если бы я стал дорожником или сапером?

— Инженерные знания артиллеристу не повредят, только помогут... Но ты, кажется, хочешь сказать мне что-то?

— Да, — он положил на землю пустую, мешавшую ему кастрюльку, помолчал и произнес с отчаянной решимостью: — Дядя Коля, как вы думаете, могу ли я побывать на Новодевичьем кладбище?

Он давно не называл меня так, я был тронут, сразу понял его переживания, тревогу, волнение. Он хотел навестить могилу Надежды Сергеевны Аллилуевой, на которой не бывал со дня похорон, но не знал, как поступить. И доверился мне.

— Ты хочешь знать, как отнесется к этому Иосиф Виссарионович?

— Да, если ему станет известно.

— Можешь не сомневаться, ему доложат. Тайком ничего делать не надо, это только усложнит ваши взаимоотношения.

— Но как же мне поступить?

— Подождем. Я постараюсь найти решение, не ущемляющее его самолюбия.

Стремление Якова побывать на могиле Надежды Сергеевны было вполне естественным, но реакцию это могло вызвать очень неприятную, граничащую со взрывом — в зависимости от настроения Иосифа Виссарионовича. Мне надо было подумать основательно.

...Нам с Яковым помог случай. К сожалению — печальный. Скоропостижно скончался подполковник М...в, которого я знал по совместной службе в штабе генерала Брусилова. Офицер был дельный, но моложе меня, поэтому близко мы не сошлись, однако друг о друге помнили, при случае передавали приветы через общих знакомых. Один из них и сказал мне о М...е: жена, мол, убита горем, осталась дочка, как бы помочь им... А похороны завтра на Новодевичьем.

Припомнилось: подполковник имел прямое отношение к артиллерии, после гражданской войны преподавал на курсах, может быть и в Артиллерийской академии поработал? Короче говоря, я сразу же позвонил Якову Иосифовичу, и мы условились о встрече.

Он привез много цветов. Слишком много — это не могло не привлечь внимания собравшихся, и Яков, которого никто из близких и знакомых покойного не знал, выглядел странно: он понимал это, застенялся, стеснялся. Пришлось мне вмешаться, взять у него часть цветов (для М...а), а с остальными отправить его в сторонку. Вроде бы человек просто помогал мне. Хорошо, что начался дождь и вся церемония завершилась довольно быстро.

Идти к могиле Надежды Сергеевны сам Яков не решился. Пошли вместе. Он очень волновался, побледнел, и я всерьез забеспокоился: не будет ли ему дурно?! Вероятно, Яков Иосифович считал себя виновным в том, что не сложилась общая жизнь у Сталина и Аллилуевой, мучило сознание вины перед ними; может быть, даже возлагал на себя какую-то долю ответственности за преждевременную смерть Надежды Сергеевны. Давил на него этот тяжелый груз.

Минут десять провел Яков возле могилы. Положил цветы, постоял, склонив голову с гладко причесанными намокшими волосами. А я, оставшись в сторонке, за кустом, внимательно смотрел во все стороны. Ей-богу, любопытно: выявят нас или не выявят? И каким образом?

Народа в непогоду на кладбище было мало. Прошли мимо две женщины в трауре, пожилая дама с мальчиком-подростком. И то ли сторож, то ли рабочий с лопатой в руке, в брезентовом плаще с надвинутым на голову капюшоном. Этот вроде бы даже и не заметил нас.

Когда покинули кладбище, я сказал Якову, чтобы он не беспокоился и не волновался: вряд ли мы заинтересовали кого-нибудь... Поездка — экспромтом, времени

на Новодевичьем провели немного. Если у кого-то и возникло подозрение насчет нас, то невозможно было успеть среагировать... Так я рассуждал и получил возможность еще раз наглядно убедиться в своей наивности и в том, насколько недооцениваю тех, кто следит, контролирует, охраняет...

Прошло недели две, а то и больше. Я уж забывать стал о посещении Новодевичьего. Но вот в Кремле, в кабинете Иосифа Виссарионовича, состоялось обычное, какие бывали довольно часто, совещание по текущим военным делам. После полуночи, когда все разъехались и был отпущен Поскребышев, мы остались вдвоем.

В разное время в разных кабинетах Иосифа Виссарионовича побывало множество людей. И письменно и устно рассказывают, каковы они были, как стояли столы, каким деревом были обшиты стены. Когда возникнет надобность, я расскажу о некоторых существенных особенностях кабинетов Иосифа Виссарионовича, в точности скопированных для себя Берией. А пока лишь одна подробность. Непосредственно за кабинетом-комнатой для заседаний находилась, как и принято, еще одна, так называемая бытовая комната с отдельным входом. Там и диван для отдыха, и зеркало, и туалет, и запас всего необходимого, чтобы подкрепиться. И стол с подготовленными к данному заседанию документами, справочниками, картами. Я предпочитал проводить время именно в этой комнате, не на глазах у заседающих.

О наличии такой комнаты, естественно, знали многие. Сталин, бывало, уходил туда, выходил. Но никому, кроме, наверно, Берии, не было известно, что там в стене имеется незаметная дверца, ключ от которой был только у Сталина. А за дверцей — малая комнатка без окна, с надежным сейфом, который изготовлен был светлой памяти изобретателем Владимиром Ивановичем Бекаури. Именно там Иосиф Виссарионович хранил то, что касалось только его. Документы, которые он считал особенно важными. Их было немного, но они были: при мне Сталин несколько раз открывал свой личный сейф.

В тот вечер, а вернее в ту ночь, о которой я сейчас рассказываю, Иосиф Виссарионович был спокоен, доброжелателен, доволен. Пригласил посмотреть фотоснимок, который, дескать, мог меня заинтересовать. Открыл маленькую комнату, включил свет, повернул ключ в сейфе и извлек увеличенную фотографию, увидев которую я чуть не ахнул от удивления. На ней — согбенный Яков, его мокрая голова: раскладывает цветы по мраморному надгробью. А на втором плане, за полуголым осенним кустом, вполне отчетливо обрисовывалась моя фигура. Кто снял, с какой точки?!

— Что взять с Якова? Молодость неосмотрительна. Такой дождь, а он без головного убора, — отеческим тоном, но не без доли насмешливости, произнес Сталин. — Но вы-то, Николай Алексеевич, как вы в такую погоду без зонтика?! Не бережете себя. Могли бы простыть. Могли быть плохие последствия.

— Это что, угроза? — насторожился я.

— Помилуй бог, какой вы ершистый! — засмеялся Сталин. — Разве хорошо, если вы заболите? К тому же,

Николай Алексеевич, у вас нет никакого опыта конспирации! — Он искренне веселился. — При проклятом царском режиме вы бы, с такими способностями, просто не вылезали бы из тюрьмы и с каторги. Про Якова даже не говорю. Он едва успевает подумать, как его мысли становятся известными кому надо и кому не надо. Этакий Пирсmani, закупивший в городе сразу все цветы...

Сказав это, он разорвал фотографию пополам, потом еще и еще — на мелкие кусочки. Хотел бросить их на пол, но, подумав, сунул в карман. А я, воспользовавшись паузой, спросил:

— Считаете, что мы с Яковом Иосифовичем поступили неправильно?

— Наоборот! — коротко, отсекающе махнул он рукой. — Яков должен, переехав в Москву, бывать на могиле. Лучше, если со всей семьей. Иначе — непочтение к родственникам. И было бы совсем неправильно, несправедливо, если бы Яков, оказавшись на похоронах на Новодевичьем, не посетил бы Надежду Сергеевну. Это было бы ошибкой, это могло вызвать ненужные пересуды... Так что спасибо за заботу, дорогой Николай Алексеевич. Все было правильно, если не считать возможной простуды. А конспиратор вы все же никуда не годный, — усмехнулся он. — Надеюсь, в этом вы полностью согласитесь со мной?

Я вынужден был признать его правоту. Обишнулись мы с Яковом Иосифовичем. Инцидент этот, к счастью, не имел для него никаких ощутимых последствий.

В тот же вечер, а вернее, в ту же ночь Иосиф Виссарионович огорошил меня еще одной новостью:

— Да будет вам известно, Николай Алексеевич, у меня появился внук.

— Внучка, — уточнил я.

— Именно внук. Незаконный и неизвестный. От меня пытались скрыть, — нахмурился он. — Вот проверенные, не вызывающие сомнений сведения. — Сталин за уголок, двумя пальцами, приподнял над столом лист бумаги и сразу же отпустил. — Весной тридцать пятого года Яков Джугашвили познакомился с временно проживавшей в Москве гражданкой Ольгой Голышевой... Очень близко познакомился, — не удержался от иронии Иосиф Виссарионович. — В январе следующего года гражданка Голышева родила в городе Урюпинске сына, с которым и проживает там, в Сталинградской области.

— Как нарекли мальчика?

— Женей... Евгений Яковлевич Джугашвили.

— В таких случаях принято поздравлять! — Я уже оправился от неожиданности.

— Поберегите поздравления для любезного вашему сердцу папаши, порауйте Якова!

Ернический тон Сталина не понравился мне, я уже готов был напомнить о его внебрачном сыне, оставшемся на Енисее после туруханской ссылки. Не ему осуждать... Однако Иосиф Виссарионович сам понял, вероятно, что не совсем прав. Произнес примирительно:

— Каковы сюрпризы, дорогой Николай Алексеевич...

— А вы не хотите увидеть мальчика? — спросил я и понял, что коснулся больного места.

— Почему я могу хотеть, если Яков даже не поставил меня в известность, если я узнаю через органы!.. А его это ребенок?.. Я не слышал от Якова ни одного слова. Разве так поступают! — В голосе Сталина звучала обида.

— Может быть, опасается...

— Зачем опасаться? Я что — злодей?! Мог порадовать отца, мог посоветоваться... Взрослый мужчина. Не страус, чтобы голову в песок!

— В таких сугубо личных делах, Иосиф Виссарионович, судья только бог. Да еще собственная совесть.

— Вот пускай всевышний и занимается этим вопросом, — сердито ответил он и надолго умолк, набивая и раскуривая трубку, успокаиваясь.

В таком, значит, щекотливом положении оказался Яков Иосифович... А Василия, младшего сына, Сталин бесповоротно решил направить в авиацию, которую считал самым перспективным родом войск. И вообще: один сын артиллерист, другой — летчик, не так уж плохо.

Ох уж этот Василий... Откуда берется в людях жестокость? По наследству передается, что ли? Мальчишкой Вася любил, бывало, отламывать хрупкие крылья майских жуков. Вечером наловит, а утром сядет на дачной скамье под теплым солнцем, деловито отрывает коричневые крылышки, аккуратно складывая их — они были похожи на маленькие корытца. И со странным интересом смотрит, как расползаются искалеченные жуки, как расправляют они тонкие подкрылья, пытаюсь взлететь.

Пожалуй, единственным человеком, которого Василий опасался и даже боялся (кроме отца), была моя дочь. Ей было лет восемь, когда они вместе гуляли на лесистом склоне возле ограды микояновской дачи. Вася поймал на берегу Медвенки лягушку и принялся надувать ее через соломинку. Дочка моя потрясена была таким безобразием.

— Негодный мальчишка, как тебе не стыдно!

— Молчи, малявка! — Вася показал ей язык. И тогда она, девочка уравновешенная и рассудительная, вспыхнув, ударила Василия по рукам ореховой палкой. Наверное, это очень больно. А на Васю удар произвел потрясающее впечатление. Может быть, неожиданностью. Он отшатнулся, поскользнулся на склоне, упал лицом вниз, расквасив нос. Закапала кровь. Совершенно перепуганный, Вася, закрыв лицо ладонями, с истерическим криком бросился прочь.

Не знаю, сам ли он решил или игравшие с ним дети подсказали, но Вася никому не пожаловался, заявивши дома, что шлепнулся, подвернув ногу. И с той поры слово моей дочери было для него законом, он бледнел, если она повышала голос. Даже после войны, когда требовалось унять загулявшего генерала Василия Сталина, просили приехать мою дочь. Одного появления ее было достаточно для того, чтобы с Василия слетела пьяная спесь, он обретал способность соображать.

Вообще молодые грузины или полугрузины с большим уважением, с почтением и опаской относятся к «своим» женщинам, подлинным хозяйкам их жизни. Увы, эту похвальную почтительность некоторые грузин-

ские мужчины «компенсируют» потребительским отношением к женщинам других национальностей. Но у Василия был случай особый. Он даже несколько писем прислал моей дочери, когда уехал в Качу учиться на военного летчика.

Очень подтягивает, меняет молодых людей военная служба: в этом я убедился еще раз, когда по поручению Иосифа Виссарионовича отправился в южное наше училище, известное строгими порядками, имевшее хорошие инструкторские кадры. Сталин попросил проверить, не попустительствуют ли там его сыночку и детям других высокопоставленных родителей, не портят ли их щадящими условиями.

Начал с общего осмотра. Порядок в Каче во всем был образцовым. Побывал я в ангарах, в двухэтажном кирпичном здании курсантской казармы. Внизу — классы, учебные кабинеты, Ленинская комната. На втором этаже — спальня. В столовой кормили сытно и довольно вкусно: я с удовольствием ел гуляш с макаронами из общего котла.

В 3-й эскадрилье имелась особая группа курсантов, состоявшая из сыновей партийных и военных руководителей. В ней тогда, в 1940 году, проходили обучение знакомые мне юноши: Владимир Ярославский, Алексей и Степан Микояны, Василий Сталин. Военная форма и приобретенная выправка так изменили этих молодых людей, что я не сразу распознал их среди других курсантов. Братья Микояны остались малорослыми и щуплыми, несмотря на сытный борщ и гуляш, на увесистые посылки со сладостями, которые часто присылала заботливая мама. Может, сладости как раз и портили аппетит этих будущих авиационных генералов?! Василий же Сталин окреп, раздался в плечах, утратил вертлявость и вообще производил благоприятное впечатление. Преподаватели и инструкторы не жаловались на него (я заметил бы, если они не решались высказать отрицательное мнение).

Конечно, держать в руках такую группу избалованных юношей, имевших прямой выход в самые верха, в храм власти, о котором командиры-инструкторы имели только приблизительное представление, — держать в руках такую группу было очень трудно или даже вообще невозможно, если бы не Тимур Фрунзе (выросший со своей сестрой в семье Ворошилова). Он выделялся среди товарищей умом, открытым, веселым характером и даже телосложением. Высокий, светловолосый, с ясной улыбкой, Тимур был добродушен, общителен, но мог, когда надо, проявить твердость, решительно осадить зарвавшегося курсанта. Он был не только официальным старшиной этой группы, но и ее признанным лидером. Для начальства — счастливейшая находка, спасение от неприятностей: в случае необходимости командиры всегда действовали через Тимура.

Он, кстати, оказался потом наиболее подготовленным летчиком среди названных молодых людей. Одни после училища увлеклись техникой и конструированием, другие сразу выдвинулись в руководители (Василий Сталин заботами подхалимов стремительно «взмыл» в генералы), а Тимур сражался на фронте. 19 января 1942 года летчик-истребитель Фрунзе в райо-

не Старой Руссы, прикрывая наземные войска, один вступил в бой с группой вражеских самолетов. И погиб смертью героя... Как это часто бывает, не уберегли самого смелого, самого чистого, самого нужного. Он способен был на многое. Утешаю себя лишь мыслью о том, что он сделал главное: отдал жизнь, защищая Родину! Один из сыновей Микояна — Владимир — тоже. Слава таким, как они!

В память о погибшем друге-летчике (будущий генерал-майор авиации) Владимир Ярославский изменил свое имя, стал Фрунзе Емельяновичем Ярославским... Фрунзе продолжал воевать.

А в училище, повторяю, Тимур задавал тон всей необычной группе курсантов, никому не делая поблажки. Вплоть до того, что приучил братьев Микоянов не в индивидуальном порядке съедать обильные маминьины дары, а выкладывать содержимое посылок на общий стол.

Не ограничившись дневными наблюдениями и беседами, я попросил начальника училища ночью поднять курсантов по тревоге, а сам проследил за действиями особой группы. Нет, она не выделялась в худшую сторону, этих молодых людей тренировали, как всех.

Кстати, Василий Сталин, узнав меня, заулыбался и чуть из строя не выбежал, но Тимур остановил его каким-то словом. Василий подчинился послушно, привычно — это тоже понравилось мне. Из Василия вышел бы толк, окажись он и после училища под командованием таких принципиальных, авторитетных для него командиров из своего круга, как Тимур Фрунзе.

И еще. Климент Ефремович Ворошилов, величавший Иосифа Виссарионовича горным орлом, когда впервые увидел Василия в летной форме, не удержался от похвалы: «Молодой сокол!.. Сталинский сокол!» После этого и укоренилось в нашей армии такое выражение. Даже центральную газету Военно-Воздушных Сил окрестили «Сталинским соколом». Так она называлась до 1953 года, до смерти Иосифа Виссарионовича.

14

О Светлане — особый разговор. Почему особый? Да потому, что Иосиф Виссарионович долгое время видел в ней свою наследницу. Она — крайняя надежда. Недостатки Василия были слишком очевидны, чтобы прочить его на высокие посты, — склонен к удовольствиям, к легкой, беззаботной жизни. Науки осваивает с трудом. Ответственность брать на свои плечи не хочет. В общем — обыкновенный человек, и с положительными качествами, и с недостатками. Иосиф Виссарионович понимал это, по-своему любил Василия, но возможности его оценивал вполне объективно.

Иное дело — Светлана. Училась она всегда очень хорошо, была сообразительная, много читала, умела отстаивать свое мнение. Пока была девочкой, во всем слушалась отца, охотно выполняла его просьбы и поручения. Последняя веточка в роду, к ней Сталин испытывал особую нежность. И с малых лет старался привить ей решительность, твердость, желание руково-

дить, быть хозяйкой в самом широком понимании этого слова. Хозяйкой всего окружающего, всей страны, самого Иосифа Виссарионовича. Он охотно подчинялся, уступал ей, давая почувствовать вкус лидерства. В письмах к Светлане, в разговорах с ней Сталин не скупился на ласковые слова, но чаще всего называл ее «нашей хозяйкой», «моей хозяйкой». Он исподволь внедрял в нее эту идею. И она, еще не обремененная женскими страстями, борениями, охотно принимала такую игру, с удовольствием командовала, верховодила.

Положительно, он очень любил свою дочку. Отдыхая в Крыму или возвращаясь с Кавказа, никогда не забывал послать ей или привезти фрукты. Особенно мандарины. Не потому, что они ей очень нравились, а потому что хорошие мандарины были тогда редкостью даже на сталинском столе. А он «находил» для Светланы самые крупные, самые вкусные, получая удовольствие от таких забот о своей маленькой принцессе.

Годы шли, Светлана подрастала, менялась. Все чаще с тревогой и обидой замечал в ней Иосиф Виссарионович то, чего опасался: проявлялись материнские черты, такие, как повышенная возбудимость, чрезмерное увлечение то одними, то другими необязательными заботами, определенный эгоцентризм, выражавшийся в неспособности, в нежелании понять огромность, величие отца и его дел. Как и для матери, для Светланы гораздо ближе становились собственные мелкие, обыденные, пустячные хлопоты и тревоги. Пожалуй, я первым осознал неспособность Светланы подняться на тот уровень, о котором мечтал Сталин. Не сразу сказал ему об этом, не желая разочаровывать, надеясь, что минуют издержки молодости и Светлана изменится, цепкий ум и начитанность позволят ей одолеть внутренний хаос. Она сможет стать строгим, волевым человеком.

Не слишком ли велики требования? Жизнь у нее была такая, что трудно позавидовать. Быть дочерью великого вождя, единственной на всю страну, ощущать на себе постоянно сверхчеловеческий пресс — не так-то просто. Даже сильная натура может согнуться, расплющиться, не говоря уже о девушке с завидной психикой, унаследованной от одного и от другого родителя.

Светлана и моя дочь — почти ровесницы. Одна няня когда-то приглядывала за ними. И у той и у другой — наполовину грузинская кровь. Только у Светланы — со стороны отца, а у моей — от матери. Но насколько же огромная разница между ними! Моя дочь росла уравновешенной, доброй, в меру серьезной, я бы сказал — смелой для своего возраста, активной и открытой. Светлана же была скрытной, болезненно-стеснительной и в то же время легко возбудимой девушкой.

Светлане всегда было нелегко. По материнской линии унаследовала она обостренную сексуальность, начавшую проявляться лет с четырнадцати: бунтующая плоть терзала, нервировала ее, не находя никакого выхода. Она вынуждена была скрывать, подавлять желания, даже самые естественные. Поговорить, разрядиться словами ей было не с кем. Вырастай она в

обычных условиях, начала бы бегать на свидания, была бы у нее какая-то отдушина. Лет в семнадцать — восемнадцать вышла бы замуж. Сильный мужчина погасил бы ее горячность, превратил бы в уравновешенную женщину, добрую мать и хозяйку. Но этого не могло быть. Наоборот, все складывалось уродливо, противостоительно.

Представьте себе юную девушку с присущей этому возрасту стыдливостью, застенчивостью. А за ней по пятам всюду следует охранник-мужчина.

В школе у Светланы имелась отдельная комната рядом с кабинетом директора. Краснея под любопытными взглядами, девушка обязана была укрываться там до и после уроков, проводить перемены. В этой комнате, в одиночестве, ела она проверенный (не отравлен ли!) завтрак или просто скучала у окна. Ни с одной ровесницей не могла она подружиться, ни с одним мальчишкой не прошла, держась за руку. Чувства и переживания, свойственные ее возрасту, не получали у Светланы никакого выхода: нагнетались, копились и загнивали.

Будь Светлана красавицей, а еще лучше — девушкой недалекой, дела обстояли бы проще. Шествовала бы она мимо людей, мимо других девушек с гордо задранной головой, преисполненная чувства собственного достоинства. Но Светлана сознавала, что она не отличается привлекательностью, что внешне она не хороша. В молодости сие воспринимается очень болезненно (пока не поймешь, что это — не самое главное), очень угнетает, особенно если вокруг тебя здоровые, красивые, самоуверенные молодые люди.

Получив от бабки и от матери обостренный женский потенциал, Светлана, увы, не унаследовала привлекательности, русско-цыганской яркости Аллилуевых. Рыжеватая, худенькая, бесцветная, она не привлекала мужского внимания. Лицо заурядное, фигура плоская: ни груди, ни бедер. И ноги — только для ходьбы, а не для любования.

Такая внешность — и страстное, раздирающее желание нравиться. И постоянное сомнение в возможности этого. И охранник за спиной, сковывающий своим присутствием каждое движение, пресекающий все встречные взгляды. Вполне достаточно оснований, чтобы утратить и жизнерадостность, и надежды, и душевное равновесие.

Всем своим существом Светлана ждала встречи с тем, кто обратит на нее внимание, не побоится ее положения, пробьет окружающую ее стену. Полураскрытая роза тянулась к поцелую. Весьма благоприятным было такое ее состояние для вторжения авантюриста, наглеца или человека, стремившегося достигнуть корыстных целей. «Возьми — я твоя!» Так и будет, когда появится смекалистый, бойкий, выдавший виды (тертый и потертый) кинорежиссер Лея Каплер. Это случится позже, во время войны. А сейчас вернемся к основной линии нашего повествования. Видя, как мучается Светлана, какой ненормальный образ жизни вынуждена вести, я старался держать свою дочь подальше от нее и вообще от подросших «кремлевских» детей. Определил в обычную школу, и она училась там, равная среди равных, не чувствуя себя

ни униженной, ни вознесенной. Наверное, и не задумывалась: грузинка она или русская, это не имело никакого значения. С самых малых лет она усвоила истину: нет плохих или хороших наций, есть плохие или хорошие люди.

В лице дочери много черт, доставшихся ей от матери. Рассудительность, доброта и тактичность — тоже от нее. Хочу, чтобы от меня унаследовала дочка любовь к Великой России — колыбели многих народов, мою добросовестность и аккуратность. И еще стремление, которое так четко выразил светлой памяти генерал Драгомиров: «Никогда не выделяться; больше значить, чем казаться».

Думаю, дочь хорошо помнит сей афоризм. И надеюсь, вслед за мной она еще скажет свое слово.

15

Задала моя умница задачку нелегкую. Спросила:

— Папа, Яков Иосифович ведь сын Иосифа Виссарионовича? Сын Сталина, верно? И Светлана с Васей тоже Сталины. А дядя Яша почему-то Джугашвили?

— У них были разные мамы.

— Значит, у дяди Яши мамина фамилия?

— Нет, нет, — я принялся объяснять и даже на бумаге начертал своеобразную родословную. В этом мы разобрались быстро, только главное ни она, ни я не могли уразуметь: почему Иосиф Виссарионович взял себе именно этот псевдоним, не какой-то другой.

Думать-то приходилось, да только вскользь, без особого любопытства. Дело в том, что я, хоть и знал когда-то ратника ополчения первого разряда Джугашвили, совершенно не воспринимал Сталина с этой настоящей фамилией. Очень уж удачен был псевдоним, отвечавший и облику, и внутреннему содержанию, всей сути Иосифа Виссарионовича. Короткое четкое слово — и все понятно, непоколебимо-просто. Играло роль и то, что легко и естественно сочетался этот псевдоним со словом «Ленин». Партия Ленина — Сталина. Или: Ленин — Сталин — звучит в унисон, вторая фамилия словно бы продолжает первую.

Однажды у нас с ним зашел разговор о псевдонимах, но я не придавал значения беседе, не записал слова Иосифа Виссарионовича — другим был занят. Мы возвращались тогда поездом с Кавказа, отдохнувший Сталин был мягок, задумчив, распахнут, что ли, охотно предавался воспоминаниям о том, как скрывался от царской охраны. Я сказал, что ему, наверное, помогал псевдоним, сбивавший со следа ищеек. Сталин отвечал примерно так: «Это и верно, и не совсем верно. По-настоящему я сменил фамилию только один раз, когда понял, что этого требует революционная работа. Написал я статью, обращенную к пролетариату всей России. Значит, прежде всего — к русским, украинским, белорусским рабочим, потому что их было большинство. И к финским рабочим, и к латышским, и к польским. А фамилия — Джугашвили. Слишком трудная для восприятия, тем более для не очень грамотного человека. Чуждо звучит. Что за автор под такой фамилией, чему он

научит? Оставаться Джугашвили, значит, оставаться прежде всего грузинским революционером. А коммунизм — будущее всех народов, коммунизм интернационален».

Я спросил: «Псевдоним Сталин — не созвучно ли с Лениным?» — «Почти верно, — весело улыбнулся Иосиф Виссарионович. — Действительно, мне хотелось, чтобы это слово подчеркивало близость и верность Ильичу. Но только с одной стороны. — И резко, как это он умел, переменял тему разговора: — Вам нравится такая фамилия?» — «Да». — «Мне тоже!» — засмеялся Иосиф Виссарионович и прервал беседу.

Но почему все-таки Сталин? Этот вопрос невозможно было полностью обойти, когда составлялась «Краткая биография» Сталина (в которой он, кстати, совершенно выхолощен, как человек, одни лишь цитаты из разных работ, скрепленные редкой цепочкой жизненных фактов). Объяснение появилось такое.

При неудачном побеге Джугашвили из ссылки (а убегал он пять или шесть раз) начальство решило примерно наказать его во дворе тюрьмы — по старому обычаю, пропустить сквозь строй. Били, дескать, палками солдаты из тюремной охраны, даже руку повредили ему. А Джугашвили мужественно перенес тяжкое испытание с гордо поднятой головой, ни разу не опустив ее, не застав. Видавшие все это заключенные кричали якобы из окон: «Крепок, как сталь!», «Стальной революционер!» Отсюда и псевдоним.

Старательные помощники Иосифа Виссарионовича включили в рукопись биографии этот эпизод, однако Сталин решительно вычеркнул его. Усмехнувшись, произнес:

— Такого не надо. Лишнее.

Сей акт был зачислен в счет его скромности.

Однажды в 1939 году (месяц не помню) Иосиф Виссарионович позвонил мне после двадцати двух часов, во всяком случае поздно вечером. Сказал глухо, будто был болен:

— Николай Алексеевич, скончался наш давнишний и верный друг. Надо проститься.

Он не назвал имени. Значит, не счел нужным. В таких случаях лучше не спрашивать. Да и какой смысл.

— Понятно, — ответил я. — Завтра?

— Скоро заедем к вам.

— Жду.

Была уже полночь, когда подошла к дому машина. «Паккард». Сопровождающих машин на этот раз не было. Иосиф Виссарионович пожал мне руку. Впереди с шофером сидел Власик. Никто не произнес ни слова. И хотя мысль о человеке, покинувшем наш несовершенный мир, тревожила, вызвала законное любопытство, я присоединился к общему молчанию. Значит, такое состояние у Иосифа Виссарионовича, не надо мешать ему.

Остановились возле большого темного казенного здания. Власик повел нас по длинному полуосвещенному холодному коридору. Открылась дверь, мы оказались в просторной комнате. Посредине, на возвышении, вероятно, на столе, покрытом материей, стоял гроб. Несколько свечей в изголовье освещали исхудавшее,

изжелта-белое лицо, с темными провалами глазниц. Я вздрогнул от неожиданности, поняв, что перед нами женщина. Показалось — знакомая. Впрочем, первые минуты я почти не смотрел на покойницу, настолько странным было поведение Иосифа Виссарионовича. Редко, очень редко можно было увидеть его столь скорбным. Плечи опустились бессильно, в глазах блеснули слезы и, чего никогда не случалось, отвисла нижняя челюсть, придав лицу выражение растерянности и беспомощности. Вздрагивающей рукой поправил что-то на груди покойницы, низко склонил голову, вглядываясь в нее.

Не родственница ли Иосифа Виссарионовича?

Я подступил ближе и лишь тогда узнал очень измененную смертью женщину. И потрясла меня не сама смерть, а открывшееся вдруг отношение Сталина к умершей. Я удивлен был своей недогадливостью, своим простофильством: как же раньше-то не понял, не сообразил!..

Грех, наверное, у одра покойницы вспоминать интимные подробности ее прошлого, но тогда сопоставления, открывшиеся вдруг догадки захлестнули меня. Чтобы привести в порядок мысли, чтобы не мешать Сталину в горькие для него мгновения, я отошел в сторону, к двери, и оттуда смотрел на желтоватое лицо, чуть шевелившееся, казалось, в колеблющемся свете свечей.

Давайте, внимательный читатель, вспомним самые первые страницы опуса, где речь идет о том, как и почему познакомился я в Красноярске с рядовым Джугашвили. Случай свел меня с Матильдой Васильевной Ч., принявшей горячее участие в судьбе ссыльного грузина. Но где эта экстравагантная женщина узнала о нем, человеке совершенно иного круга?.. За границей от своей подруги Людмилы Николаевны, которая просила ее заинтересоваться судьбой Джугашвили, а будет надобность — и помочь ему.

Сейчас — уместная и последняя возможность рассказать об эмигрантке — революционерке, которая, не подозревая того, повлияла на весь ход моей жизни, явилась прямым «виновником» появления этой книги и многих других событий. Так вот: Людмила Николаевна Сталь родилась в 1872 году в городе Екатеринославе, в весьма состоятельной семье. Отец — известный фабрикант. Естественно, что дочь его получила хорошее образование, знала языки, музицировала. Обаятельная, умная, решительная — ничем ее бог не обидел. Казалось бы, только радуйся, наслаждайся своими возможностями. А она, отрешившись от всех благ, пошла в революцию, обрекла себя на трудности, на борьбу, на преследования и гонения ради счастья для всех. Член партии с 1899 года — многие ли могли похвастаться таким стажем?! О ее мужестве и находчивости легенды ходили среди большевиков. Иосиф Виссарионович не только с восхищением, но и с гордостью рассказывал мне, как еще до революции пятого года «ушла» Людмила Николаевна Сталь из сибирской ссылки. Тогда они и познакомились. Джугашвили в ту пору из Восточной Сибири, из Иркутской губернии бежал. Во всяком случае Иосиф Виссарионович и Людмила Николаевна многократно встреча-

лись до того дня, когда она после революции пятого года надолго уехала за границу. Были они настолько близки, что ей Иосиф Виссарионович доверял то, чего не доверял никому: первое прочтение и правку своих работ. Он говорил, что Людмила Николаевна помогла ему понять звучность и силу великого русского языка.

Снова увиделись они лишь после февраля семнадцатого года. Сталин приехал в Питер с востока, покинув солдатскую казарму, а Сталь — с запада, из-за границы. Встретились и некоторое время работали вместе, рука об руку: Людмила Николаевна была агитатором Петербургского комитета партии, а Иосиф Виссарионович, состоявший членом Политбюро ЦК, принимал непосредственное участие в деятельности Петербургского комитета. Не без помощи Людмилы Николаевны занимался он тогда партийной печатью, писал статьи. В этот раз их близость продолжалась до того часа, когда Иосиф Виссарионович встретил Надежду Аллилуеву и сразу увлекся ею.

Что же, Надя была молода, красива. А Людмиле Николаевне шел пятый десяток. Ни ум, ни обаяние, ни заботливость не могли возместить того, что унесли годы. Они расстались. Откомиссарив гражданскую войну на фронтах, Людмила Николаевна перешла затем на работу в ЦК партии, была редактором массовой литературы в Госиздате.

Конечно, Надежда Сергеевна Аллилуева знала о дружеских отношениях мужа с миловидной пожилой большевичкой. Ревновала ли? Вряд ли. Не видела в ней соперницу. При жизни Надежды Сергеевны Сталин если и встречался с Людмилой Николаевной, то очень редко. На нашей общей квартире она не бывала, но я знал, что Власик отвозил ей какие-то пакеты, потом доставлял назад.

В тридцатых годах Людмила Николаевна была научным сотрудником Государственного музея Революции СССР. Это было очень удобно для Сталина. Эрудированная большевичка, знаток марксистского учения, сама — «живая история» революции, она готовила материалы, требовавшиеся Иосифу Виссарионовичу, делала выписки, подыскивала соответствующие цитаты из классиков для обогащения его работ, редактировала их. Являясь надежным, скромным и скрытым помощником, Людмила Николаевна в какой-то мере играла при Иосифе Виссарионовиче такую же роль, что и я: была его тайным советником, с той лишь разницей, что круг ее деятельности был значительно уже моего. Со мной Сталин общался постоянно, а с ней — лишь время от времени.

Кстати, Сталь — та самая женщина, с которой Сталин инкогнито бывал в Малом театре, смотрел во МХАТе «Дни Турбиных».

Один раз Иосиф Виссарионович виделся с Людмилой Николаевной у меня на даче. Мы вместе отобедали. Держалась она очень естественно, была остроумна, мила — чувствовалось хорошее старое воспитание. Мне было приятно ее общество. Сталин выглядел гораздо моложе Людмилы Николаевны (разница в возрасте очень чувствовалась). В ее отношении к Иосифу Виссарионовичу ощущалась нежная грусть.

После обеда они прогуливались в саду, оживленно разговаривали. Потом остановились в беседке. Сталин продолжал говорить, а Людмила Николаевна записывала. Затем Иосиф Виссарионович уехал, а она пробыла у нас до самого вечера, ходила с моей дочерью по старому сосновому лесу.

Вскоре после этой встречи Людмила Николаевна Сталь была награждена орденом Ленина. Такой высокой чести удостоивались тогда немногие.

И вот — гроб в темной комнате, глухая ночь, колеблющееся пламя свечей возле желтого лица и темные провалы глазниц: в них не попадал свет.

Иосиф Виссарионович поцеловал Людмилу Николаевну в лоб и вышел. Я — следом.

Улицы были совершенно пусты. В окнах — ни одного огонька. Машина неслась быстро. За все время ни Сталин, ни я, ни Власик не произнесли ни одного слова. Не требовалось. Слишком давно и хорошо мы знали друг друга. Лишь прощаясь возле моего дома, Иосиф Виссарионович, придерживав дверцу машины, сказал тихо:

— Какая потеря...

— Как невероятно переплетаются судьбы! — отозвался я.

— И столько оборванных нитей...

16

Мне часто доводилось видеть Сталина за рабочим столом, он мог часами трудиться, не сходя с места, и все же я не воспринимаю его в таком статичном состоянии. Он любил двигаться, ходить, ему лучше думалось, когда неторопливо, попыхивая трубкой, шагал он по комнате, от стены до стены. Я много раз советовал ему бросить вреднейшее пристрастие — курение, но для него трубка была успокаивающим средством. Оставив ее, он на длительное время вылетел бы из колеи, никакие лекарства не помогли бы. Я думал над этим: еще неизвестно, что лучше.

Хождение во время заседаний, официальных встреч и бесед — это не только привычка, выработанная за долгие годы стремлением погасить возбуждение, физической разрядкой снять напряженность. Такая манера давала Сталину целый ряд преимуществ перед собеседниками. Вот хотя бы самое простое: если сидящий человек медленно реагирует на реплику, не сразу отвечает на вопрос, он производит не лучшее впечатление, выглядит тугодумом. А Сталин, прохаживаясь, набивая или раскуривая трубку, был вроде бы занят делом, имел время, хоть и короткое, но очень важное время для обдумывания и принятия решений. Часто — весьма ответственных. Или еще. Никто из собеседников не мог отвернуться от Сталина, он видел, когда было нужно, их реакцию, выражение глаз, лиц, улавливал все оттенки — от радости до испуга. А сам, если был потрясен, удивлен или раздражен какой-то новостью, имел возможность пройти по ковру спиной к собравшимся, успокоиться, взять себя в руки. Поэтому и являл в конечном счете образец выдержки и хладнокровия. Ну, и вообще он привык быть центром притяжения, центром влияния, ему нравилось, чтобы

головы поворачивались за ним, как шляпки подсолнухов за солнцем.

Однажды он сказал мне, что чувствует себя маятником, движущим стрелки часов. Я не стал противоречить. Сравнение не совсем точное, но оно выражает непосредственное ощущение Иосифа Виссарионовича. А я мысленно сравнивал его с постоянно сжатой пружиной, которая крепко и непрерывно давит на все окружающие механизмы, большие и малые, заставляя их вращаться, передавая движение все дальше и дальше. Величайший запас энергии требовался для того, чтобы производить подобные действия, сказывающиеся по всей огромной стране на протяжении многих лет.

Вообще к концу тридцатых годов сложились основные привычки и правила Сталина, которые сохранились потом до конца его жизни. Он, например, овладел мастерством говорить обо всем ровным голосом, не выдавая своих эмоций. Об уборке урожая, о смертной казни, о передовиках производства — все одинаково, глуховато, негромко, с большими паузами посреди фраз, заставлявшими слушателя напрягаться, томясь беспокойством: а что дальше? Случалось, что после таких пауз Иосиф Виссарионович ошарашивал человека совершенно неожиданным выводом.

Иногда Сталин погружался вдруг в какое-то полубытьё, в полусонное состояние. Сидел расслабленный, с потускневшими глазами, не двигая ни одним мускулом. В такие минуты все его внутренние силы сосредотачивались на осмысливании чего-то очень важного, на обдумывании вариантов, последствий того или иного решения. Присутствие мое или Власика ему не мешало, а мы делали вид, что ничего не замечаем, вели себя, как обычно, только меньше разговаривали да к Сталину с вопросами не обращались. Чаще всего Иосиф Виссарионович «выплывал» из такого состояния несколько вялым, но в хорошем настроении, удовлетворенным. Иногда — разбитым и мрачным.

С середины тридцатых годов появился у Иосифа Виссарионовича своеобразный, только ему присущий жест. Давая понять, что разговор окончен, он чуть вскидывал согнутую в локте руку: ладонь не выше плеча. Это движение имело двойной смысл: отпускающий и благословляющий. Сталин показывал, что собеседник свободен и что желает ему удачи. Человек, получивший такое пасторское напутствие, мог считать, что им довольны, ему доверяют, на него возлагают надежды. Только лишь в таком случае позволял себе Сталин этот необычный, полураскованный жест, радовавший и вдохновлявший людей не меньше, чем доброе слово.

Очень любил Иосиф Виссарионович прогулки на свежем воздухе, только возможностей для этого было очень мало, мешала занятость. Но иногда нам удавалось выкроить время. Обычно шагал Сталин размеренно, не спеша и мог преодолеть большое расстояние. Полное удовольствие получал, если вокруг было пустынно, никто не тарашил удивленных глаз, не наблюдали из-за кустов охранники. Лишь в такие редкие часы чувствовал он себя не руководителем, отвечаю-

щим за все, а просто человеком, земным жителем. Он мог долго, задрав голову, любоваться зеленой шапкой высоченной старой сосны, собирать на прогретом взгорке землянику, затаив дыхание, следить за игрой красивых бабочек или слушать вечернее пение птиц. Но все это, подчеркиваю, при одном условии: если не ощущал посторонних взглядов. Меня он несколько не стеснялся, я не мешал проявлению его естества. Больше того, без меня он просто не мог совершать прогулки за пределами дачи. С посторонними людьми, с охранниками он не пошел бы. Не отправился бы и в одиночку. Какой смысл? Ведь он не отдыхал бы, а думал об осторожности, опасаясь любых встреч. А в моем присутствии он забывал обо всем, полностью полагаясь на мою предусмотрительность, был доволен и, как я считаю, счастлив.

Еще одно обстоятельство. Сталин ни в чем не любил перемен, касалось ли это одежды, мебели, окружающей обстановки. Передвинутый стол в кабинете мог вызвать у него длительное раздражение. Переложенная в другое место книга — гнев. Так и на прогулках. Новые места не всегда нравились ему. Под настроение. Трава вдруг казалась ему замусоренной, много репейника, бурьяна. Или заросли орешника чересчур густы, ничего не видно с тропинки. Считаю, нам основательно повезло, мы нашли такое место, которое раз и навсегда понравилось Сталину. Сохраняя свое постоянство, свою неизменность, это место каждый раз радовало нас маленькими, не раздражающими, приятными открытиями. То лисьи норы находили в лесу (сюда приезжал когда-то охотиться Владимир Ильич), то удивительное дерево, похожее на лиру, мы обнаруживали, то целое семейство ежей, мал мала меньше, встречалось на нашем пути. Смее утверждать, что приверженность к нашему лесу (между Калчугой и Знаменским) послужила причиной того, что Сталин отказался от дальних вояжей, от прогулок в других местах. Несколько лет перед войной и потом всю войну он не ездил отдыхать в Грузию, к Черному морю. Он всем сердцем привязался тогда к скромному уголку Центральной России, был покорен неброской, глубокой и неизменной красотой.

Случалось и раньше, что от Дальней дачи или от моего домика мы со Сталиным ходили к Москве-реке. Однако это были случайные маршруты. Но вот однажды, направляясь по правой стороне Рублевско-Успенского шоссе от Медвенки к Горкам-II, мы не захотели выходить из леса на открытое место и перед милицеским постом номер один, чуть-чуть не дойдя до дороги на Знаменское, повернули вправо по затравенному проселку, бежавшему по самому краю леса, кое-где скрывавшемуся среди орешника, под кронами сосен. Так вот просто свернули и пошли, не догадываясь, что будем ходить здесь еще десятки раз, что этот уголок останется для Иосифа Виссарионовича самым любимым, самым дорогим до последних дней его жизни.

Село Знаменское, как и вообще многое в России, открывается не сразу. Глянь с поворота от Успенского шоссе: расстилается впереди большое поле, справа и слева окаймленное лесом, вдали виднеются крыши домов, купы деревьев, какие-то постройки на горизонте. А вся суть, вся неожиданность таятся в большом распадке, в большом провале между ближним и дальним

планом. Есть что-то манящее, незавершенное в пологих скатах полей, в стекающих по косогорам лесах, которые таинственно замыкают оком. Ждешь чего-то необычного. И чудо свершается. В Знаменском, возле церкви, обнаруживаешь, что вокруг не равнина, что село стоит на высоком берегу, господствуя над многокилометровой округой, над двумя реками, совершенно невидимыми от шоссе. А от церкви или с Катиной горы далеко просматривается в обе стороны долина Москвы-реки и впадающей в нее Истры. Той самой Истры, по которой мы когда-то путешествовали на лодках.

Мы с Иосифом Виссарионовичем, повторяю, ходили не по наезженной дороге, бегущей в Знаменское через поле, а правее, по чуть заметному проселку или даже по тропинке, повторявшей все изгибы опушки. Шагаешь — и ни одного человека навстречу, разве что услышишь голоса женщин, работающих на грядках. Сосны с березами, много орешника, небольшие полянки — чудесный там лес. А в конце дороги, где проселок, превратившийся в тропку, сбегал по крутому склону на луг, горделиво высились старые липы, дубы. Но главное все-таки сосны. Огромные желтоствольные сосны, простоявшие столетия, много повидавшие, помнившие еще приезд царицы Екатерины. И другой старинный сосновый бор виднелся отсюда: за Москвой-рекой, левее Петрова-Дальнего. Там, над Истрой, стояли, может быть, самые высокие сосны во всем Подмосковье.

Мы спускались на луг. Несколько раз, еще до отъезда в Качу, в училище, ходил с нами Вася Сталин. Эти места ему тоже настолько понравились, что со временем он обзавелся дачей в этом лесу, правее нашего маршрута, за первым оврагом.

Прошагав лугом метров триста, мы по пологой тропинке поднимались в гору мимо небольшого кладбища в ограде (после войны оно совершенно исчезло), оставляя слева двуглавую красавицу церковь, проходили между нею и приземистым деревянным домиком священника (или дьякона?), летом сокрытого деревьями и высокой сиренью. В ту пору церковь еще работала, в ней и крестили, и отпевали... Боюсь, что именно наши прогулки сослужили для нее плохую службу. Молчит Сталин по поводу работающей церкви до поры до времени, а вдруг рубанет со всего плеча по местным властям за антирелигиозную пассивность?! Прикрыть бы ее без всякого шума. И прикрыли этак году в тридцать девятом, застраховавшись от неожиданностей, хотя Иосиф Виссарионович не выражал никакого недовольства. По-моему, даже приятно ему было видеть аккуратную, обихожную церковь, он радовался спокойствию, доброму русскому благолепию и ничего не собирался менять, нарушать здесь.

Головотяпы выказали свое рвение, а Иосиф Виссарионович, как обычно в таких случаях, не стал вмешиваться. Если он и не одобрял разрушение церквей, старинных зданий, сбрасывания колоколов и прочих бесчинств, то и не выступал против по целому ряду причин. Сказывается, мол, народный гнев, копившийся веками. А религия в принципе бесполезна, несовместима с марксизмом. И вообще, история показывает: любой диктатор всегда в конфликте с любой верой, даже если она формально поддерживает его. Дух верую-

щего свободен, а это вызывает у диктатора по меньшей мере раздражение. Значит, он не полновластный хозяин. Тот же Гитлер притеснял церковь. Иосиф Виссарионович хорошо понимал, сколь важна и многообразна была объединяющая и просветительная роль православной церкви на огромных, со многими национальностями, просторах России. Храм, даже в далекой деревне, — это, как правило, настоящее произведение искусства, воспитывающее эстетический вкус. Храм — архитектурный центр селения и всей близлежащей округи. Ориентир на местности (в метель или в тумане ехали, шли на звон колокола). Храм — это место сбора, это своего рода клуб, где можно было приобщиться к красоте и культуре (одно пение чего стоило!). Храм, религия — главный источник нравственного воспитания (не укради, не убей и многие другие заповеди). Храм — центр грамоты, образования. И вообще вся жизнь человека, от крещения до отпевания, была связана с храмом, с церковью. Во всяком случае, каждый был уверен, что его похоронят по всем правилам, что за него помолются, его помянут. Ну, а еще: два-три священнослужителя в храме успешно выполняли то, что теперь делают многочисленные чиновники загсов: регистрировали в церковных книгах рождение и смерть прихожан, давали соответствующие справки.

К гонениям, которые обрушились на православную церковь сразу после Октябрьской революции, Сталин отношения не имел. Кому-то другому очень важно было уничтожить духовный источник, тысячу лет питавший народные массы, кому-то другому понадобилось перевести известное утверждение «религия — опиум народа», как «религия — опиум для народа». А это далеко не одно и то же. В январе 1918 года был принят декрет Совнаркома «Об отделении церкви от государства». За осуществление декрета засучив рукава принялись сотрудники пятого отдела Наркомюста, среди которых не было ни одного православного! Не об отделении церкви от государства пеклись подвижники этого отдела, который по справедливости называли Ликвидационным. Они действительно ликвидировали все и вся, что связано было с православной верой: монастыри, храмы, памятники, священнослужителей. Трудно сказать, сколько всего было расстреляно, зарублено саблями, замучено в тюрьмах митрополитов, архиепископов, священников. Только с 1918 по 1922 год и только по суду был расстрелян 2691 церковнослужитель, 1962 монаха, 3447 монахинь и послушниц. А сколько без суда и следствия?! По меньшей мере 15000 духовных лиц.

В те же самые годы ликвидированы были около семисот монастырей (дававших, кстати, большое количество сельхозпродуктов). Часть монастырей превратили в тюрьмы, некоторые затем приспособили под лагеря: благо заборы и стены были высокие, а подвалы обширные. Вот так действовал Наркомат юстиции, и отнюдь не под руководством Сталина творились вышеупомянутые беззакония и безобразия. Наоборот, во второй половине тридцатых годов Иосиф Виссарионович делал попытки остановить процесс разрушения, были приняты меры по сохранению памятников культуры, развернулись реставрационные работы. Особенно

после войны. Восстановлены были дворцы и храмы, взорванные гитлеровцами. Вместо того чтобы валить все на Сталина, можно провести общественное расследование хотя бы по нескольким случаям, выявить и морально осудить настоящих виновников.

Вот Знаменская церковь, объединяющая весь живописный ландшафт, являвшаяся неотъемлемой частью триады ансамбля старых храмов (Уборы, Дмитровское, Знаменское). Мы с Иосифом Виссарионовичем не сразу даже и заметили, что церковь бездействует, что опустел домик священника. Какой же перестраховщик отдал распоряжение прикрыть храм, обрекая его на разрушение?

До церкви (низом, по краю луга) мы с Иосифом Виссарионовичем доходили обязательно. Иногда нас ждала там машина, но чаще мы поднимались наверх, не привлекая внимания, пересекали главную, обычно пустынную днем улицу села и далее шли по узенькому переулку, по которому из церкви носили на кладбище покойников (а после закрытия церкви все равно обязательно от нее); переулок всегда был усеян еловыми лапами различной давности — и усохшими, и свежими: так устилают здесь последний путь своих близких. Я имею в виду не маленькое исчезнувшее кладбище возле церкви, а большое и все расширяющееся кладбище, на котором хоронят не только жителей Знаменского. Старая часть его густо заросла сиренью, благоухающей по весне, над кустарником высятся мощные кряжистые сосны. В их кронах гнездится невероятное количество грачей и ворон, с рассвета и до позднего вечера царит там непрерывный то веселый, то озабоченный, то тревожный гомон.

С тыльной стороны Знаменского кладбища открывается новый простор. За полем, над Москвой-рекой, виден лесной массив, окружающий дачу Молотова, угадывалось Успенское. Правее и ближе, на противоположном берегу, — колокольня Уборовской церкви, а еще правее, за Катиной горой, соединяет небо и землю высокая, стройная колокольня в селе Дмитровском. Острый ее шпиль прорывает облака. Над колокольней даже в хмурую погоду часто виден небольшой, похожий на глаз, просвет в тучах. Днем — голубой, а по вечерам светящийся изнутри разными оттенками, подаренными заходящим солнцем: от нежной розовости до тревожащего багрянца.

Я назвал это явление «оком божьим». Иосиф Виссарионович сперва подтрунивал надо мной, затем, убедившись несколько раз, что разрыв в облаках, хоть небольшой, есть почти всегда, попытался дать объяснение с физической точки зрения. Думается — не очень успешно. Постепенно он свылся с моим определением. Даже некое мистическое состояние возникало в нем при виде сияющего или голубеющего «глаза» над колокольней в сплошной хмаре туч. Его тянуло сюда в трудные минуты, и чем ближе к концу жизни, тем чаще.

Очень любил он смотреть с Катиной горы на Истру, на весь простор, открывающийся словно с высоты орлиного полета. Однажды сказал, вздохнув глубоко и радостно:

— Какое величественное спокойствие! Это настоящая красота. Она вселяет силу и веру.

Во время прогулки Сталин сказал мне то, о чем я уже догадывался:

— Гитлер хочет заключить с нами пакт о дружбе, военный союз и широкое торговое соглашение.

По тону Иосифа Виссарионовича понял: ему интересно знать мое мнение.

— Очень стремится к этому? — спросил я.

— Добивается настойчиво и поспешно. Получено четвертое предложение вести переговоры.

— Значит, в ближайшее время Гитлер начнет войну. Не против нас. Он желает иметь крепкий тыл.

— Его планы понятны. Сначала на них, — движением головы показал Сталин на запад.

— И наверняка выиграет партию у англосаксов. Но мы, заключив с Гитлером союз, проиграем в любом случае. Если он победит запад, то, окрепнув, повернет на восток. Если он потерпит поражение, потерпим поражение и мы, как его союзники.

— Почему союзники? Мы не говорим о союзнчестве, — решительно возразил Иосиф Виссарионович. — О военном договоре не может быть и речи. Мы не забываем, что главной целью Гитлера является завоевание восточных территорий. Но почему бы нам не заключить пакт о ненападении? Даже худой мир лучше ссоры. Гитлер будет воевать при всех условиях, при пакте и без него. Гитлер просто не может не воевать. Его военная машина закручена до предела. Пушка заряжена, и фитиль подожжен.

— Чаше всего победителем оказывается тот, кто наблюдает за битвой со стороны, — напомнил я старую истину.

— Нам нужно время. Пять-шесть лет, — произнес Сталин. — Пакт о ненападении, и ничего больше! Это предел. Товарищ Молотов согласен.

— Эмиссары Гитлера уже здесь?

— Прибыл Риббентроп. Его, между прочим, обстреляла наша зенитная батарея. Вскоре после того, как самолет пересек границу.

— Не попали?

— В самолете несколько пробоин, но до Москвы дотянул.

— Как реагирует Риббентроп?

— Он шутит. Он говорит, что сам убедился в бдительности нашей противовоздушной обороны.

— И никаких официальных демаршей?

— Нет. Он нацелен заключить договор и не хочет обострять положение.

— Это его дело. А вот служба оповещения у нас допустила оплошность.

— Разберитесь, Николай Алексеевич, пусть накажут виновных. Но без шума. Если Риббентроп не заинтересован в огласке, то мы тем более.

— А зенитчиков надо поощрить, они молодцы. В мирное время, без повышенной боевой готовности обнаружили самолет, определили, что не наш, успели открыть огонь.

— И даже попали, — усмехнулся Иосиф Виссарионович. — Удачно попали, показав свою меткость и, кажется, не повредив дипломатии. Их следует отме-

тить, они не задаром едят свой хлеб. Но без всякой огласки, без шума,— повторил Сталин.

Прошло еще несколько дней, и свершилось событие, о котором спорили, спорят и еще будут спорить. 23 августа 1939 года пакт о ненападении между Советским Союзом и Германией был подписан. Гитлер сразу ринулся в схватку. Лавина второй мировой войны сорвалась и с грохотом покатилась, уничтожая все на своем пути. Если подписание пакта и ускорило начало сражений, то, с другой стороны, договор дал нам в ту пору определенные выгоды. Вопрос в том, как мы смогли ими воспользоваться.

18

Итак, 1 сентября 1939 года Гитлер спровоцировал войну с Польшей. Устоять перед таким противником поляки не имели никакой возможности. Их армия была разгромлена. Ситуация сложилась напряженнейшая. Не могли мы допустить, чтобы фашистские войска вышли на подступы к Минску, на прямую дорогу к Москве. С другой стороны, открылась редчайшая возможность вернуть наши исконные земли — Западную Белоруссию и Западную Украину.

Почему же Сталин не двинул наши войска в Польшу сразу после нападения немцев? Это было бы справедливо, оправдано обстановкой. Гитлер даже подталкивал нас, желая расширить пропасть между нами и Англией с Францией. Но Иосиф Виссарионович проявил дальновидность и выдержку. Советские армии оставались на месте, мы не выступили в роли агрессора. О состоянии войны с Германией заявили Франция и Англия. Началась вторая мировая, и развязана она была, прошу заметить, без нашего участия. Мы перешли границу лишь после того, как участь Польши была решена, когда нам оставалось только взять под свое крыло районы, населенные украинцами и белорусами, издавна входившие в состав нашего общего государства. Вот и получилось, что из числа ведущих европейских стран Советский Союз вступил в сражения последним. И как бы в дальнейшем ни разворачивались события, Сталин тогда, осенью 1939 года, политически уже выиграл только что начавшуюся мировую войну. Да, я не оговорился, он еще тогда одержал политическую победу во второй мировой!

Семнадцатого сентября войска наших Украинского и Белорусского фронтов начали быстро продвигаться на запад, практически не встречая сопротивления. Чтобы избежать столкновений, наши и германские дипломаты определили разграничительную линию, пролежавшую примерно там, где проходила пресловутая «линия Керзона».

За несколько суток до перехода границы я выехал по поручению Сталина в район Минска с удостоверением представителя Генерального штаба.

Двадцатого сентября с передовыми частями наших войск я на броневике приехал в Брест, в знакомую еще по старой службе Брестскую крепость. Она была занята немцами после кровопролитного боя с поляками. Некоторые укрепления оказались взорванными.

В этом месте немцы пересекли разграничительную линию и обязаны были передать крепость нам.

Бронетанковой бригадой, которая первой достигла Бреста, командовал известный мне Семен Кривошеин, тоже, конечно, бывший буденновец, выделявшийся среди ветеранов Первой Конной тем, что когда-то учился в гимназии, знал иностранный язык (кажется, французский) и имел опыт войны в Испании, побывав там добровольцем. Во всяком случае, по отношению к иностранцам, в данном случае — к немцам, он чувствовал себя достаточно уверенно, и это было приятно. Присутствовал я, не представляясь, на встрече в крепости комбрига Кривошеина и командира немецкого танкового корпуса Гейнца Гудериана. О последнем был изрядно наслышан и считал полезным увидеть его, понаблюдать, оценить. Когда Гудериан практиковался у нас, на него, естественно, было заведено соответствующее дело, но с той поры прошло много времени, этот генерал стал одним из создателей германских бронетанковых сил и, пожалуй, ведущим теоретиком, проповедовавшим позаимствованную у нас доктрину массированного использования бронетанковых войск. Некоторые положения он, естественно, развил, расширил, внес кое-что новое. Уж я-то, прочитавший в подлиннике его «Ахтунг! Панцерн!», знающий досконально труды всех наших теоретиков, мог сравнивать.

В ту пору немцы уже начали почтительно именовать Гудериана «танковым богом». Да, пожалуй, в гитлеровской Германии он был наилучшим среди генералов-танкистов. Среднего роста, прямоплечий, с круглой головой на короткой шее, с усиками «а-ля фюрер», он был полон энергии, подвижен, холодно вежлив. Ощущалось и некоторое зазнайство, плохо скрытое чувство превосходства над окружающими. Он только что блестяще продемонстрировал свое мастерство, пробив броневым кулаком польскую оборону, стремительно пройдя через всю Польшу от ее западной до восточной границы, наступая «до последней капли бензина». Еще шли бои в Варшаве, в других районах, а Гудериан уже захватил Брест и развернул свои танки навстречу отступавшим польским дивизиям. Теоретик подтвердил свои идеи на практике. Ему было чем гордиться.

Это так! Но не забудем, что Гудериан лишь перенес на германскую почву то, что было у нас в теории и практике до событий 1937 года. Гудериан шел вперед, а мы отставали. Устаревшие военные теории хуже, чем устаревшее оружие. Сменивший маршала Тухачевского новоявленный маршал Кулик говаривал так: «Чево мудрить? На кой хрен реактивные снаряды, в них наш боец не разбирается. Самое надежное — полевые орудия на конной тяге да боеприпасов побольше». Это, увы, не горькая ирония. На практике за подобными дремучими рассуждениями стояло вот что. Снаряд немецкого танка пронизывал броню нашего нового БТ-7, а наш снаряд вражескую броню не пробивал. Танкисты Гудериана три недели провели в маршах, в боях, но состояние частей и подразделений было таким, будто они явились в Брест после прогулки. Полный порядок, вся техника в сборе. Немцы готовы были сразу развернуться для нового боя. А вот бригада Кривошеина, со-

вершив марш без противодействия противника, потеряла в пути половину боевых машин. Ломалась техника, запасных деталей не оказалось, заблудились где-то грузовики со снарядами и патронами.

Гитлеровцы сделали для себя некоторые выводы, и не в нашу пользу. Но вели они себя очень корректно. Без всяких споров точно в согласованное время покинули крепость, забрав с собой все, что могли увезти и унести. Однако запасы в казематах, на складах были столь велики, что и для нас осталось значительное количество провианта, амуниции, боеприпасов. Советские войска торжественно вступили в нашу старую надежную крепость и разместились в ней.

Мы вернулись! Слезы были у меня на глазах. Господи, сколько прекрасных, мужественных русских офицеров не сражались бы против Советов, против красных, сколько российской крови не пролилось бы за единую и неделимую нашу страну, если бы люди обладали даром заглядывать вперед, если бы могли предположить, что увидят, как увидел я, наши войска, вновь марширующие по брусчатке Бреста, по улицам других славянских городов, в Бессарабии и Прибалтике!

Но это — эмоции. Сталину я доложил, что немецкие подразделения сколочены, обучены и вооружены лучше, чем наши: это касается и пехоты, и танков. В хорошую сторону выделялась наша конница, проявившая надежную организованность в длительных маршах. Особенно подчеркнул профессиональную подготовку немецких офицеров, отлично налаженное управление войсками во всех звеньях. Сказал, что генерал Гудериан — опасный противник. Он принадлежит к той традиционной немецкой школе, которая если и зависит от Гитлера, то лишь в силу необходимости, в силу совпадения интересов. Гудериан самостоятелен, нешаблонен, способен принимать смелые решения. Слабость его, на мой взгляд, в чрезмерной самоуверенности. Это черта многих немецких генералов.

Выслушав меня, Иосиф Виссарионович задал несколько уточняющих вопросов, а затем с довольной улыбкой посоветовал отдохнуть: впереди, дескать, не менее значительные события.

Да, я понимал, что это всего лишь начало. Колесо большой войны уже вращалось, остановить его было невозможно. Сейчас, на первом этапе, мы оказались в выигрыше. Граница наша отодвинулась значительно дальше на запад, мы получили простор для маневра, возможность создать сильное, укрепленное предполье. Но теперь между нами и гитлеровцами не было буфера. Вот они — а вот мы. И те, и другие настороже, в полной боеготовности. Это — как сухие смолистые дрова: пламя может вспыхнуть от любой искры.

19

Сто дней, с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года, продолжалась война с белофиннами, ныне почти забытая, заслоненная кровопролитными битвами гигантских масштабов, но роль ее в развитии советско-германских взаимоотношений столь велика, что не сказать о ней — значит оставить на историческом

полотне белое пятно, искажающее картину. И Сталину, и другим руководителям из его окружения эта малая война открыла глаза на многое, заставила пересмотреть сложившиеся взгляды, догмы. Наши враги, как и наши союзники, тоже сделали далеко идущие выводы. Не будь этой войны или завершилась она нашей быстрой, внушительной победой, наверняка не напал бы на нас Гитлер в июне сорок первого.

Впрочем, по порядку.

Обязан сказать, что одним из «поджигателей» этой войны, в числе других так называемых «стариков» из числа военных с дореволюционным стажем, был ваш покорный слуга. Как и начальник Генерального штаба Борис Михайлович Шапошников, я всегда считал границу с финнами на Карельском перешейке несправедливой и опасной. Она была навязана нам в те дни, когда страна переживала большие трудности, когда нашим руководителям, которые старались спасти революцию от врагов, наседавших со всех сторон, было не до перешейка. А Финляндия, получившая самостоятельность и полную поддержку западной буржуазии, обрела при этом еще и важное стратегическое преимущество. Граница проходила настолько близко от нашей северной столицы, что финны могли обстреливать ее из орудий крупных калибров. Один бросок от границы до Ленинграда, до важнейшего экономического и политического центра, до главной базы Балтийского флота. И это — в напряженной обстановке начавшейся уже второй мировой войны.

Иосиф Виссарионович поступил правильно, предложив финнам отдать нам часть территории на Карельском перешейке. Не за «спасибо» разумеется, а получив соответствующую компенсацию в другом районе. При этом финны ничего не теряли, территориально оставались в большом выигрыше. Но финны не захотели. А точнее — не захотели те, кто стоял у них за спиной, направлял их политику. Понадеялись финны и на свои мощные укрепления, созданные при помощи Англии, Франции и Германии.

Нам оставалось одно — воевать, отодвинуть границу штыками. Тем более, что военному и политическому руководству нашей страны это не представлялось трудным. Ну, что такое Финляндия? Недавняя российская провинция, по территории и населению примерно с Архангельскую область. Навалимся — голыми руками возьмем, лишь бы сугробы не помешали. Подобное шапкозакидательское настроение особенно проявилось на Военном совете, который собрал Сталин, чтобы обсудить план войны.

Докладывал Борис Михайлович Шапошников. Оперативный план был заранее подготовлен, я принимал участие в его уточнении и корректировке. Считаю, очень правильный, выверенный был план. В нем учитывалось состояние и дислокация войск противника, значение его укрепленных полос, определялось количество и техническая оснащенность наших войск, способных решительно и быстро провести кампанию. Мы брали оптимальное соотношение, необходимое в таких случаях: примерно один к трем. Это требовало выдвижения к финской границе значительного количества пехоты с танками и самолетами

из глубины страны, снятия дивизий с других направлений. И частичной мобилизации запасников.

— Слишком уж размахнулся Генштаб! — подал реплику нарком Ворошилов.

Неторопливый и обстоятельный Шапошников не успел даже ответить, как прозвучал шутливый вопрос Сталина:

— Борис Михайлович, а вы тот ли план взяли с собой? Может, вы докладываете нам оперативный план войны с Германией?

— В доверенной мне работе я стараюсь не допускать ошибок, — сухо ответил Шапошников. А Сталин, с глубочайшим уважением относившийся к нему, во всех случаях обращавшийся к Шапошникову, как и ко мне, только по имени-отчеству, поторопился объяснить:

— Не обижайтесь на мое замечание и на слова товарища Ворошилова. С политической точки зрения наш пограничный конфликт с Финляндией должен оставаться не более чем местным недоразумением. Не надо превращать его в событие большой международной важности, привлекать излишнее внимание наших неприятелей за рубежом.

— Тем более важно нанести мощный, стремительный удар, решить все в самый короткий срок.

— Это верно. Однако в данном случае пусть воюет не вся наша страна, не вся наша армия, что было бы слишком большой честью для белофиннов, а только Ленинградский военный округ. Хотя бы формально, но так. Товарищ Мерецков, — обратился Сталин к командующему округом, — как вы считаете, вам действительно нужна такая большая помощь, чтобы справиться с Финляндией? У вас не хватит сил в своем округе, который мы преобразуем в Ленинградский фронт?

Мерецков ответил буквально так:

— Да, помощь нужна, особенно в артиллерии и авиации. Может быть, не в таких размерах, какие были названы, но без усиления нам не обойтись.

— Посчитайте и доложите... Завтра, — уточнил Сталин. — А сейчас ответьте на вопрос: способен ли Ленинградский фронт под вашим командованием в короткий срок разгромить белофиннов?

Лишь несколько секунд боролся Мерецков с волнением и сомнением. Ответить «нет» — значит признать свою несостоятельность, и фронт будет доверен кому-то другому.

— Мы выполним решение партии и правительства.

— Ну вот, хорошо, — ответил Иосиф Виссарионович. — А мы, со своей стороны, окажем фронту большое содействие. Наркомат обороны будет помогать вам, — уточнил Сталин. — А Генеральный штаб не будет больше заниматься этими операциями местного масштаба. У Генерального штаба есть другие задачи.

Итак, Шапошников и многие его сотрудники покинули Москву. Генштаб фактически перестал действовать, и это как раз в то время, когда началась война. Веское доказательство, что Сталин чересчур верил в свои силы, в способности преданных ему полководцев, и в общем-то не очень серьезно отнесся к развязавшемуся конфликту. Однако события быстро по-

гасили его оптимизм, вызвали недоумение, а затем и некоторое замешательство.

Конечно, пятнадцать финских дивизий (каждая, впрочем, больше нашей по численности) не выдержали бы натиска войск Ленинградского фронта, если бы не первоклассная система оборонительных рубежей, которую создал бывший офицер русской армии Маннергейм и которая носила его имя. Перед нашей пехотой — сплошные минные поля и колючая проволока в двадцать, тридцать, иногда — в сорок (!) рядов, вместо обычных трех-четырех. Перед танками — клыки каменных надолбов высотой до полутора метров. А дальше — доты. Полтора метра железобетона и метра два-три камней, наваленных сверху. Цемент марки «600». Не пробьешь никаким снарядом. Под такой толщей в одном доте укрывалось до десяти пулеметов, несколько артиллерийских орудий. Боеприпасы, продовольствие, запасы воды — в особом каземате. Огневые точки были расположены так, что секторы обстрелов перекрывались, каждый дот или дзот мог защищать подступы к двум соседним. Ну, а в отдаленных, труднодоступных местах, где у белофиннов не было мощных укреплений, нашу пехоту, вооруженную в основном винтовками, встречали лыжники, имевшие пистолеты-пулеметы, косили наших бойцов плотным огнем с близкого расстояния. Снайперы — «кукушки» стреляли прицельно, укрывшись в кронах деревьев.

Опасаясь ослабить войска на востоке и на западе, на линии соприкосновения с фашистами, советское командование не стало снимать оттуда наши кадровые, наиболее боеспособные дивизии. В соединения, действовавшие против белофиннов, направлялся поток запасников. Они попадали на северный фронт, едва умея стрелять, в шинелях, в ботинках с обмотками.

И морозы! Столь страшных холодов, как в ту злосчастную зиму, мы прежде не знали. Сама природа была против нас. Обычная среднемесячная температура января в Москве примерно — 10 градусов по Цельсию. Случается, ртуть термометров падает на короткое время до отметки — 25 или даже — 30 градусов. А тогда, в сороковом году, произошло небывалое. 17 января в Москве мороз усилился до 42 градусов! Возле города Клин была зарегистрирована рекордная цифра, достойная полюса холода — минус 51 градус! При этом не следует забывать, что Московская область находится гораздо южнее Финляндии. По всей России вымерзли тогда яблони в садах. Отказывали термометры. Русские красноармейцы, особенно уроженцы северных областей, еще кое-как держались, терпели невиданную стужу, а южане выбывали из строя — не те условия.

Полная неожиданность происходившего, уязвленное самолюбие мешало нашим военным руководителям объективно, самокритично оценить положение. Их инициативы не достигали цели, их авторитет падал час от часу все ниже. Но Ворошилову и Мерецкову казалось: еще один нажим, еще один сильный удар — и линия Маннергейма будет прорвана, враг побежит. Победа, слава, почет — не за горами! И они гнали на сорок рядов колючей проволоки, на минные поля, под

шквальный огонь белофиннов новые и новые тысячи, десятки тысяч наскоро обученных, слабо вооруженных бойцов, только что мобилизованных в центральных и северных областях России. А массированный огонь был страшен, гораздо страшнее, чем в первую мировую войну. За каждый метр продвижения мы платили десятками трупов. На подступах к дотам валами громоздились окоченевшие мертвецы.

Попробовали наступать севернее Карельского перешейка, а там — непроходимые леса, сугробы по грудь, вражеские засады, воздействие авиации. Белофинны отрезали две наших дивизии, судьба их была печальна... Нет, уж лучше бить напрямик, в лоб. Тем более что Сталин торопил, ждал сообщений об успехах. А дни шли, складывались в недели, не принося утешающих сведений.

За месяц тяжелых боев Ленинградский фронт преодолел только предполье, только приблизился к основным укреплениям линии Маннергейма, а штурмовать ее уже не было сил: ни материальных, ни моральных. Войска выдохлись.

Я тогда очень болезненно, как самое кровное для себя дело, воспринимал наши неудачи (как и Шапошников, мучившийся неизвестностью на отдыхе в Сочи). Но еще более тяжелым и страшным представлялся мне стремительный упадок уровня боевой готовности всех наших вооруженных сил. А суть вот в чем.

В большой политике, в высшем военном руководстве, как и вообще в любой политике, в любом руководстве, существует некий закон равновесия. У этой группы людей одна точка зрения, у другой — другая. Пока различные мнения примерно равны в своем влиянии на лидеров, дело идет не самым худшим образом. А перекосы печальны. Отошел от руководства Шапошников, и сразу же резко возросло влияние Ефима Александровича Щаденко, давнего друга Ворошилова и Буденного.

Я знал Ефима Александровича с момента рождения Первой Конной армии. В ту пору за востроносость кавалеристы называли его между собой «кочетом». И, наверно, не только за востроносость: было в нем что-то дерзкое, воинственно-заносчивое, петушиное. В Конармии ведал он вопросами формирования и укомплектования и тогда, в условиях гражданской войны, вполне справлялся со своими обязанностями.

Поднимаясь по ступеням служебной лестницы к самому ее верху, Ворошилов и Буденный тянули следом и друзей-приятелей, опираясь на них. Как мы уже говорили, Щаденко занимался теперь формированием и укомплектованием всех наших вооруженных сил. И более того, претендовал на должность начальника Генштаба, считая, что вполне справится с этой ответственной должностью. Ошибочно, между прочим, считал.

Ефим Александрович рассудил так. Оперативный план, подготовленный Шапошниковым, предусматривал усиление Ленинградского фронта кадровыми, сколоченными и обученными дивизиями. Может, это и правильно, да ведь план-то отвергнут, товарищ Сталин высказался против. Под тем предлогом, что, мол, шума надо поменьше. И нельзя ослаблять другие стратеги-

ческие направления. Значит, сделаем так. Дивизии, полки остаются на своих местах, но из каждого полка возьмем лучшую роту — и сразу на фронт, в бой. Быстро и никакого шума.

Не из государственных, не из военных, а из личных, честолюбивых соображений исходил Щаденко, приняв такое решение, добившись поддержки Ворошилова и одобрения Сталина. Срочно начали изымать по всей стране лучшие роты из всех полков, даже в Особых пограничных округах, уже одним этим снизив общий уровень боеготовности наших войск. А разрозненные роты, попав на Ленинградский фронт, растворялись в общей массе, почти не влияя на нее.

Давно известно, насколько велико значение сплоченности, спаянности любого воинского организма. Вот полк: люди в нем одинаково обучены, имеют штатное вооружение, каждый боец знает своего соседа, своего начальника, надеется на него. Командиры знают способности и возможности друг друга, кому что лучше доверить, кто с чем лучше справится. Отработано взаимодействие стрелков, пулеметчиков, артиллеристов, саперов... Такой полк втрое, вчетверо сильнее, чем наспех собранная воинская часть, где тот же командир роты не знает, каков его сосед слева или справа, каковы требования начальников, кто поможет ему в трудную минуту... Лить воду на огонь по каплям или плеснуть из ведра — есть же разница, хотя вода в любом случае остается водой! Дивизия М. П. Кирпоноса, например, прибывшая целиком с берегов Волги, сразу хорошо показала себя в боях. Но это был редкий случай, в основном Ленинградский фронт пополнялся слабообученными призывниками и разрозненными подразделениями, которые изымались из своих полков.

Я попросил Иосифа Виссарионовича принять меня, высказал свое возмущение тем, что при огромных потерях войска наши пополняются неразумно, безобразно: так ничего не исправишь. И вообще, нужны крутые меры, чтобы в корне изменить положение.

— Какие? — спросил он, наливая в бокал мускат (мы беседовали с глазу на глаз в его кремлевском домашнем кабинете).

— Немедленно прекратить наступление. Наши атаки — это самоистребление. Они вредны. Сейчас у нас нет надежды на успех, если мы даже удвоим количество войск.

— Неужели обстановка настолько безнадежна?

— Я пробыл там пять дней, видел своими глазами.

— Чего недостает? Артиллерии? Авиации? Мы можем дать и то и другое.

— Артиллерия застревает в сугробах и отрывается от пехоты. А которая на передовой — используется плохо. Взаимодействие не налажено. Пушкари сами по себе, пехотинцы тоже, с авиацией у них практически нет никакой связи. Радиосвязь нигде не налажена.

— Почему застревают в сугробах, объясните мне, Николай Алексеевич? Мы дали туда много автомашин, дали много тракторов из народного хозяйства.

— Стоят они, эти машины и трактора. Без горючего. В заносах. Нет для них обогревательных пунктов, ремонтных средств. Острая нехватка дорожных, инженерно-мостовых, строительных подразделений. Все дела-

лось в спешке, непродуманно, на скорую руку... Мерецков — он же в Испании воевал. А тут север. И еще, Иосиф Виссарионович: подавляющее большинство наших командиров по своему уровню не отличаются от своих подчиненных. Недавние командиры отделений и взводов просто не способны заменить вырванных из армии комбатов, командиров полков и дивизий. Руководство боем — это не болтовня на собраниях. Я видел капитана, вчерашнего командира батальона, назначенного командовать дивизией! Полная несостоятельность. Пока не поздно, надо исправить ошибки, освободить из тюрем и лагерей наших военачальников. Которые еще живы.

Иосиф Виссарионович не ответил. Глядел в темное окно, сжимая рукой набитую табаком трубку. Лицо побледнело. Я понимал, насколько трудно ему отрешиться от привычной мысли о скорой победе. Кроме всего прочего, как возликуют наши многочисленные враги! Орешек, дескать, оказался не по зубам. Снизится престиж Красной Армии. Консолидируется антисоветский лагерь. И без того белофиннам оказывали материальную помощь Соединенные Штаты, Англия, Франция. Даже Гитлер и Муссолини посылали белофиннам самолеты, другое вооружение. Немцы почти прекратили военные действия на западе, сидели в окопах против французов, ничего не предпринимая. Ожидали, как развернутся события на северо-востоке, в Финляндии.

Да, нелегко было Иосифу Виссарионовичу принять решение, затягивающее войну!

Оторвав взгляд от окна, он грузно повернулся ко мне:

— Насколько я понимаю, вы, Николай Алексеевич, предлагаете вызвать в Москву Шапошникова с планом Генштаба?

— Я предлагаю немедленно прекратить наступление и начать всестороннюю подготовку будущего штурма. Пусть войска освоится на местности, произведут детальную разведку, накопят необходимые средства для подавления огневых точек противника, для уничтожения его заграждений. Путь пехоте обязаны будут проложить артиллерия, авиация. Да и теплое время близится, и световой день увеличивается — это в нашу пользу.

— Значит, надо вызывать Шапошникова. И командование фронта надо сменить, — сказал Сталин.

Со второго захода, если так можно выразиться, задача была решена. С трудом, с потерями, израсходовав массу боеприпасов, линию Маннергейма мы все же взломали. Финское правительство, испугавшись полного разгрома, поторопилось заключить мир. А мы «постеснялись» перед лицом других держав закрепить свой успех, ввести свои войска на территорию Финляндии, ликвидировать тем самым северный плацдарм, на который явно рассчитывали фашисты. А вот Гитлер не постеснялся. Послал вскоре туда свои дивизии, открыл вместе с финнами фронт против нас, усугубив для Советского Союза тяжесть войны. Но это потом. А в борьбе с белофиннами определенный успех был достигнут, хотя, конечно, заплатили мы за него дорого. В той «зимней войне», как называют ее

финны, мы потеряли около 70 тысяч убитыми, вдвое больше ранеными и обмороженными.

И все же, смею утверждать, конкретный конечный результат был в нашу пользу. Граница отодвинулась на 150 километров от Ленинграда. Не будь этого, белофинны вместе с немцами одним ударом захватили бы в сорок первом году нашу северную столицу, а это обернулось бы для нас большой бедой, вся война пошла бы другим руслом, жертв и трудностей, вероятно, было бы значительно больше. Так что надо отдать должное предусмотрительности нашего руководства. А с другой стороны (диалектика!), финская кампания в определенной мере отрезвила Сталина и близких ему деятелей, охладила не в меру разыгравшееся самомнение, заставила думать, искать пути для скорейшего укрепления страны и армии. Только времени оставалось мало.

Нонсенс: в вопросе о войне с Финляндией Сталина в первый и последний раз безоговорочно поддерживал не кто иной, как Троцкий. Постоянно критикуя Сталина, проводимую им политику, рисуя Иосифа Виссарионовича как злобное чудовище, как прирожденного преступника, Лев Давидович тем не менее всегда повторял, что при любых обстоятельствах будет безоговорочно защищать СССР, государство рабочих, от внешних врагов. Был, значит, в этом для него интерес. К чести Троцкого, он не изменил свою точку зрения, хотя сам оказался в трудном положении: многие западные друзья отвернулись от него. Троцкий заявил: действия Сталина в Финляндии имели целью укрепить обнаженный фланг Советского Союза против возможного нападения Гитлера. Это — законное стремление, и любое советское правительство, оказавшись в той же ситуации, было бы вынуждено укреплять свои границы за счет Финляндии. Стратегическим целям пролетарского государства следовало отдать предпочтение перед правом Финляндии на самоопределение... Лев Давидович настолько энергично призывал «защищать Советский Союз», что поднял бурю возмущения среди зарубежных сторонников. Его обвиняли даже в том, что он стал якобы «апологетом Сталина». А он просто был опытней и дальновидней своих соратников.

Не могу не отметить, как в тот период совершенно неожиданно отличился мой давний знакомый Николай Сергеевич Власик. Слабо разбираясь в военных делах, он тем не менее по воле случая принес большую, не побоюсь даже сказать — очень большую пользу нашим Вооруженным Силам. Ну, прежде всего надо сказать, что он всеми правдами и неправдами добился присвоения ему высокого воинского звания. Честолюбив был зело и вот исхитрился. Не помню, что дали ему, «комбрига» или «комдива», во всяком случае, при переаттестации в 1940 году он стал генерал-майором, это уже нечто определенное. Для того чтобы получить звезды в петлицах (погонов, как известно, у нас тогда еще не было), требовался некоторый стаж войсковой службы. Изворотливый Власик, продолжая оставаться главным лицом в охране Сталина, умудрился зачислиться на ответственную должность в Управление пограничными войсками и даже успевал что-то делать там по снабжению, подписывал какие-то бумаги. А должность была, разумеется, генеральская.

В общем-то, мы поддерживали вполне лояльные взаимоотношения. Что поделаешь: состояли на одной службе, свыклись за долгие годы. В какой-то мере сближала и общая неприязнь к начальнику Главного артиллерийского управления Красной Армии Г. И. Кулику. Завидуя его карьере, Власик вполне резонно считал, что Кулик никак не умнее, что организатор он ничуть не лучше, чем сам Николай Сергеевич.

Год за годом я боролся, без особых, впрочем, успехов, со «старовведениями» Кулика. Он упрямо проталкивал то, что было в гражданскую, что было известно Сталину, против чего особенно активно «воевал» Тухачевский. Основой артиллерийского вооружения Кулик считал 107-миллиметровую пушку, хорошо знакомую Ворошилову, Буденному и Сталину по боям гражданской войны. Но времена-то изменились. Кулик не хотел или не способен был признавать новое. Или, как мы уже говорили, просто искоренял все, что было внедрено «врагами народа». Добился: выпуск 45- и 76-миллиметровых орудий был прекращен. И даже большего: оборудование для выпуска этих артиллерийских систем было вывезено из заводских цехов. Это уж война доказала: наши 76-миллиметровые орудия были самыми лучшими орудиями в мире в течение всего периода с 1941 по 1945 год.

Кулик добивался также снятия с вооружения противотанковых ружей, по его мнению неэффективных. И в то же время всячески поддерживал проблематическое предложение Сталина о создании самозарядной полуавтоматической винтовки. И резко критиковал пистолет-пулемет, сконструированный В. А. Дегтяревым: кому, дескать, нужна эта «пукалка», которая бьет на двести — триста метров?! Зачем выпускать пистолет-пулемет (ППД) «в ущерб государственным интересам!» — вот как ставился вопрос. Но автомат Дегтярева был очень хорош для ближнего боя, я советовал вооружить им нашу конницу, разведывательные подразделения, пограничников, части войск государственной безопасности. Однако я мог только вносить предложения, высказывать свое мнение, а решения принимались другими. А единое мнение Кулика, Ворошилова, Буденного было достаточно тяжеловесным.

Наркомат обороны настаивал на прекращении производства ППД и, более того, сообщил о том, что не заказывает заводам автомат, как оружие, не пригодное для армии, потребное разве что бандитам при ограблении банков. Так было сказано в официальном документе. Состригли. Ну, а если армейских заказов нет, вопрос сам по себе снимается (хотя производство ППД было уже отлажено, что потребовало больших затрат).

Конечно, в ту пору трудно было предположить, что автоматы, вытесняя винтовку, станут основным стрелковым оружием второй мировой войны и последующих лет. Я, разумеется, не был провидцем, волхвом, но твердо знал истину: все технические новинки надо тщательно исследовать — какую пользу они могут принести нашей армии? Ведь когда-то и пулеметы внедрялись с трудом. Ну и недоброжелательное отношение мое к Кулику имело значение. Все это определило мою позицию в разговоре с Власиком, когда он обратился

ко мне по поводу ППД. Было это в «Блинах»: Иосиф Виссарионович работал в кабинете, я прогуливался по аллее, а Николай Сергеевич подошел и, как говорится, без раскачки, сказал:

— Вчера нарком вооружения товарищ Ванников перехватил меня после заседания. Переживает насчет пистолетов-пулеметов. Просит сохранить заказ на ППД от пограничных войск. Армия-то отказалась, но мы не армия...

Я хорошо знал, какие доводы могут повлиять на Власика. Спросил:

— Как на заставах отзываются о пистолетах-пулеметах?

— Говорят, что удобно, надежно. И мы ведь не армия, у нас своя система,— повторил он.

— Товарищ Сталин высказал свое мнение по поводу автоматов?

— Пока нет.

— А вперед вы смотрите?

— Нельзя без того,— солидно ответил Власик.

— Завтрашний день всех систем вооружения — это скорострельность, эффективность при максимально возможной простоте. Из этого следует исходить.

— Значит, оставим заказ? — полувопросительно произнес Власик.— Средства-то выделены...

— Считаю, так будет правильно.

— Ладно, благодарствую вам, Николай Алексеевич.

Нет, не меня — его надо благодарить! Как ни суди, а именно стараниями Власика производство автоматов продолжалось, а главное, не ликвидировано было соответствующее оборудование, промышленная база. Начавшаяся вскоре война с белофиннами показала, сколь велико преимущество подразделений, вооруженных автоматами. На одну нашу пулю противник отвечал десятью, а то и больше. Это очень важно в бою на короткой дистанции: в населенном пункте, в лесу, при атаках и при их отражении. Иосиф Виссарионович довольно быстро уяснил сию истину. В его присутствии был испытан трофейный пистолет-пулемет «Суоми». Финский автомат настолько понравился, что Сталин сразу предложил вооруженцам быстро наладить выпуск такого же автомата. Но тут вооруженцы проявили характер, заявив: для чего копировать чужую модель, когда у нас есть, выпускается малыми сериями, свой, ни в чем не уступающий финскому, а по некоторым показателям даже превосходящий, пистолет-пулемет? Иосиф Виссарионович сказал: финский автомат имеет круглые дисковые магазины, вмещающие семьдесят патронов, а наши плоские коробчатые «рожки» — в четыре раза меньше. Я ответил: мы тоже можем использовать дисковые магазины для ППД, хотя они тяжелы, неудобны. Но какой смысл выпускать финский автомат, если он хуже нашего?

— Конкретно, чем хуже? — спросил Сталин.

— Не всегда срабатывает подача патронов. Для устранения этой неисправности надо вскрыть крышку диска, а это требует времени и навыка. В бою трудно. Во-вторых: при сильном встряхивании, при ударе самоустраивается задержка и «Суоми» произвольно начинает стрельбу, что очень опасно.

— Вы убедились в этом?

— Да.

— Значит, будем выпускать наши автоматы,— решил Сталин.— Как можно скорей. Фронт требует. Сколько автоматов у нас на складах?

— На армейских складах менее десяти тысяч. Кулик ликвидировал.

— Действительно, услужливый дурак опаснее врага,— произнес Сталин фразу, которую я, насколько помню, не употреблял в его присутствии, но он, оказывается, знал не только сей афоризм, но и кому я его адресовывал. Мне было приятно. Ради справедливости напомнил:

— Благодаря Власику не был снят заказ на пистолеты-пулеметы для пограничников.

— Помню. Сколько в пограничных войсках ППД?

— В пределах пятидесяти тысяч.

— Не много, но хоть кое-что.— Иосиф Виссарионович нажал кнопку, в кабинете появился Поскребышев.— Немедленно изъять у пограничников все пистолеты-пулеметы Дегтярева и передать их в действующую армию. Поняли? Немедленно! Сразу на фронт! Самолетами! Все... Нет, погодите...

Сталин повернулся ко мне:

— Сколько автоматов промышленность может дать в месяц?

— Сейчас не больше десяти тысяч.

— А сколько требуется?

— Вдвое больше.

— Двадцать тысяч... Подготовьте необходимое решение,— сказал он Поскребышеву.

— Это нереально,— возразил я.— Нет мощностей, нет заготовок.

— Если необходимо — будет реально... Товарищ Поскребышев, укажите эту цифру. Со следующего месяца двадцать тысяч, и ни на один автомат меньше!

Ну, что же, к концу войны с белофиннами мы действительно подняли производство ППД до этого уровня. Одна ошибка была исправлена. Не самая главная, но все-таки...

До сих пор я убежден, что трудная война с белофиннами, обнажившая многие наши слабости, подвигнула Гитлера скорее, пока мы не окрепли, напасть на нас. Именно тогда он окончательно утвердился в мысли, что Советский Союз — колосс на глиняных ногах: толкни посильней, он и развалится. Самый выигрышный момент для вторжения, пока не осуществилась намеченная Сталиным государственная программа технического переоснащения, повышения боеспособности советских войск. Учитывая это, Гитлер начал тайно, решительно, быстро готовить молниеносную войну на востоке.

20

Программа перевооружения была у нас хорошая, продуманная, обоснованная возросшими возможностями экономики. Программа уже осуществлялась, а события в Финляндии значительно ускорили этот важный процесс.

Финская кампания заставила задуматься многих.

Каждый делал выводы соответственно своему характеру, житейскому опыту, умственным способностям и занимаемой должности. Бывший буденновец, ярый приверженец конницы, долговязый Семен Тимошенко, сверкавший новыми маршальскими звездами, высокими лакированными сапогами и бритой головой, стал вдруг убежденным сторонником пехоты, утверждая, что она и только она способна решить исход боевых действий в любых условиях. Учитывая слабую подготовку и слабую дисциплину личного состава нашей пехоты, неумение полностью использовать возможности оружия, нарком Тимошенко из всех своих богатырских сил принялся наводить порядок в стрелковых подразделениях, обращая особое внимание на обучение бойцов и младших командиров. Эта сторона подготовки войск была понятней, ближе ему. И в принципе это было правильно, от состояния пехоты зависело очень многое. Но слабость наша была в другом, в отсутствии опытного, обученного комсостава во всех звеньях.

...Маршал Кулик по-прежнему упорно расхваливал свое любимое «болото» — полевую артиллерию, особенно на конной тяге, старательно расширяя выпуск пушек и гаубиц. Кулик утверждал, что в войне с белофиннами артиллерия сыграла решающую роль, пройдя по снегам вслед за пехотой и взломав вражеские укрепления. В этом тоже имелась доля истины. Но крен был неправомерно велик: человек, ведавший у нас вопросами перевооружения, выступал против не понятной ему реактивной техники, против восстановления танковых, механизированных дивизий и корпусов. Причем выступал столь последовательно и упорно, что на одном из совещаний Сталин был вынужден резко одернуть его. Но не подействовало даже это. Кулик просто не мог подняться выше данного ему потолка.

Семен Михайлович Буденный после финской войны отмалчивался, так как сказать ему было нечего. Конница в боевых действиях почти не участвовала. Некоторые торопливые товарищи сделали вывод: кавалерия, как род войск, утратила свое значение. Количество кавалерийских дивизий было сокращено до 13, хотя каждая дивизия стала сильнее, получив танковый полк. Я считал, что опыт, полученный в Финляндии, слишком локален: в условиях лесисто-болотистой местности, зимой, перед сильно укрепленной обороной противника наши подвижные части и соединения не имели возможности проявить себя. Однако «большая война» будет вестись не на «пяточке», а на широких просторах, будет иметь маневренный характер, и конница при этом еще может сказать веское слово. Свое мнение я отстаивал перед Иосифом Виссарионовичем в присутствии Буденного, и Семен Михайлович был очень доволен такой поддержкой.

Маршал Ворошилов, долгие годы возглавлявший наши Вооруженные Силы, болезненно переживал срыв в Финляндии. Был тих, вежлив, уклонялся от дискуссий, от выступлений и словно бы продолжал недоумевать: как же так? Что произошло? Столько лет старался, работал! Искренне верил в свой песенный лозунг: «И на вражьей земле мы врага разобьем малой кровью, могучим ударом!» А вышло наоборот.

Могучего удара не получилось, враг не разбит, а крови пролилось много, и главным образом нашей.

Климент Ефремович как-то незаметно отходил от конкретных военных дел, от руководства Вооруженными Силами. Все чаще и громче звучали новые фамилии: Жуков, Мерецков, Кирпонос, Павлов... Зная, что после гибели Егорова и Тухачевского у нас не осталось полководцев, способных охватывать мысленно большой круг событий, я особенно присматривался к людям, проявлявшим тягу и способности к стратегии. Этим был обеспокоен и Борис Михайлович Шапошников, здоровье которого не улучшалось. При всем своем уважении к Георгию Константиновичу Жукову, должен сказать, что стратегическим дарованием он не отличался. Другой склад ума, другой характер. Он превосходно знал тактику, разбирался в оперативном искусстве, он мог наладить взаимодействие войск, заставить их выполнить поставленную задачу. Он был незаменимый организатор, прекрасный исполнитель больших замыслов, причем сражался не по шаблону, творчески. Но вынашивать крупномасштабные решения, предвидеть ход событий — на это он даже не претендовал.

Георгий Константинович — полководец суворовского типа, суворовского уровня. Это очень высокий уровень. Александр Васильевич Суворов выигрывал важнейшие сражения, целые кампании. Но ход и исход большой войны определяют все же такие дальновидные военачальники, каким был Кутузов.

Чтобы не обиделись на меня поклонники Георгия Константиновича, чтобы не вызвать их нареканий, приведу слова самого Жукова, который здраво оценивал свои возможности, понимал, какой именно талант отпущен ему. Вот что он писал в своих воспоминаниях: «Надо сказать, что из всех военных дисциплин я больше всего любил тактику и всегда с особым удовольствием ею занимался». И еще: «Должен вновь отметить, что меня лично всегда увлекала тактическая подготовка, как важнейшая отрасль всей боевой подготовки войск. Я усиленно занимался ею на протяжении всей своей долголетней военной службы от солдата до министра обороны».

Да, Жуков, повторяю, — знаток тактики, мастер оперативного искусства, но он никогда не был стратегом, а вот стратегов-то нам и не хватало. Частности, в разных масштабах, видели многие, но общую военную картину не мог охватить никто. Еще в довоенную пору Шапошников выделял стратегические задатки, добросовестность и работоспособность генерала Антонова Алексея Иннокентьевича, который потом и заменил Бориса Михайловича в Генштабе, когда здоровье последнего стало совсем скверным. Широтой и смелостью оперативно-стратегического мышления отличался генерал-лейтенант Ватутин Николай Федорович, ставший перед войной первым заместителем начальника Генерального штаба. Подчеркиваю своеобразие его дарования: перехлестываясь за рамки оперативного искусства, оно почти поднималось до стратегического осмысливания ситуации. Но завершенности Ватутину еще не хватало. Более осторожным, но более глубоким стратегом представлялся мне генерал-майор Александр

Михайлович Василевский, тоже работавший в Генштабе. Это были очень перспективные товарищи, лишь молодость, отсутствие опыта большой войны мешали им развить и проявить свои задатки. Бритва оттачивается на оселке.

В апреле 1940 года был собран Главный Военный совет, на котором присутствовали командующие округами, армиями, многие командиры соединений и частей, участвовавших в боях с белофиннами, руководители Наркомата обороны и других заинтересованных ведомств. Были подведены итоги завершившейся кампании.

Семнадцатого апреля на Главном Военном совете выступил Иосиф Виссарионович. Он многое смягчил в тексте, к подготовке которого и я руку приложил, но все же Сталин ближе других подступил к главным причинам наших ошибок. Он говорил о необходимости изучения командным составом особенностей ведения боевых действий в новых условиях.

— Культ традиций и опыта гражданской войны помешал нашему командному составу сразу перестроиться на новый лад, помешал перейти на рельсы современной войны,— подчеркнул Иосиф Виссарионович.— Командир, считающий, что он может воевать и побеждать, опираясь только на опыт гражданской войны, погибает как командир. Он должен этот опыт обязательно дополнить опытом войны современной...

Правильно было сказано, да только без анализа того, откуда взялось у нас столько неучей, неумех. Хорошо хоть, что в конкретных делах Сталин проявил больше понимания и решительности. С введением у нас всеобщей воинской повинности я вздохнул облегченно. В армию втягивалась теперь огромная прослойка деятельных людей, которым государство прежде не доверяло, тем самым словно бы отталкивало в лагерь наших противников. В лице этих людей мы получили огромное, образованное, мыслящее пополнение. Сперва новый закон проводился медленно, со скрипом, с косыми взглядами на выходцев из недавних «лишенцев», из семей кулаков, священников, инженеров и тому подобных элементов. Однако финская война резко ускорила ломку социальных разграничений. Наша армия получила хорошие кадры для формирования технических частей, развития моторизованных сил, войск связи.

21

Иосиф Виссарионович хотел, чтобы я докладывал ему о всех интересных идеях, замыслах, воплощениях, связанных с перевооружением наших войск. Начиная с весны сорокового года, я много ездил по конструкторским бюро, по военным заводам и полигонам. Столько было важного, работа развернулась столь значительная и многообразная, что впору хоть особую книгу об этом писать. Ведь к сорок первому году мы имели лучший в мире танк Т-34: как ни старались наши враги и союзники превзойти нас, он остался самым надежным, самым экономичным, я бы

даже сказал — самым красивым танком второй мировой войны.

Это ведь у нас появился замечательный штурмовик, названный «летающим танком», который по праву считается самым удачным, самым сильным в своем классе самолетом того времени.

Мы — и только мы — имели к началу битвы с фашистами самый новый, принципиально новый вид вооружения — реактивные снаряды. Знаменитые батареи «катюш» наводили ужас на гитлеровцев. И вообще артиллерия наша как была всегда, так и осталась традиционно самой передовой, самой точной, самой сильной. Особенно выделялись 76-миллиметровые орудия, не имевшие конкурентов во всех армиях. Другое дело, что этого отличного оружия нам не всегда хватало, мы не всегда правильно, умело использовали, что дали нам талантливые изобретатели, самоотверженные труженики заводов — это другой вопрос. Подобный разговор может увести нас далеко в сторону. Приведенными фактами я хочу подчеркнуть одно: пришло все это не само по себе, потребовалась большая организационная работа, преодоление косных взглядов, инерции. И тут Сталин оказался на высоте. Перед войной и во время ее он досконально знал все наши военно-технические дела, сам советовался с конструкторами, бывал на полигонах. И если появился у нас, к примеру, 120-миллиметровый полковой миномет Б. Шавырина, то в него, в этот миномет, вложена и какая-то частичка энергии Иосифа Виссарионовича. Для того времени это была смелая новинка. Гитлеровцам удалось создать подобный 120-миллиметровый миномет, весьма нужный в боях, лишь в 1943 году, да и то практически это была копия нашего.

Иностранные батальонные минометы тех лет (самые распространенные во всех армиях) имели калибр 81,4 миллиметра. Считалось, что это наиболее целесообразно, отвечает всем предъявляемым требованиям. Но у наших конструкторов, у известного инженера Н. Дороговлева возникла вот такая мысль. А что, если создать миномет калибром 82 миллиметра? При этом мы сможем использовать для стрельбы мины батальонных минометов (повторяю, самых распространенных) иностранных армий. А нашими минами стрелять из чужих минометов нельзя, диаметр у них больше, в ствол не входят. Вот вам экономия боеприпасов за счет противника.

Нашлись скептики, сомневающиеся. Работа могла затормозиться, если бы не твердое, решающее слово Сталина: «Делайте образцы, испытывайте. А вы, Николай Алексеевич, проследите, скажите о трудностях, если возникнут».

Батальонный миномет сослужил нам очень большую службу. Не было своих мин — стреляли трофейными. Особенно, когда перешли в наступление, начали захватывать вражеские склады боеприпасов. Германская промышленность, заботясь о своих минометчиках, заодно обеспечивала минами и нас.

Запомнились испытания нового стального шлема, предъявленного на утверждение, если не ошибаюсь, в первой половине сорокового года. Манекен в форме со-

ветского бойца с каской на голове был выставлен в зале, где заседала комиссия. Зеленая каска с красной звездой замечаний не вызывала. Создатель ее, волнуясь в присутствии Сталина, рассказывал о своей работе, об отличии нового шлема от старого образца. Зачитан был протокол испытаний (на каком расстоянии, под каким углом пробивают каску пули, осколки). В общем, чувствовалось: шлем всем понравился. Однако Сталин не спешил высказать свое мнение, зная, что оно будет окончательным.

— У кого есть вопросы? — обратился он к присутствовавшим.

— Разрешите мне,— поднялся Семен Михайлович Буденный,— Я еще раз... проверю...

— Пожалуйста,— кивнул Иосиф Виссарионович.

Буденный стремительно пошел к манекену, вытягивая из ножен шашку, и вдруг, ахнув, нанес по каске сильнейший, с потягом, удар. Металл взвизгнул, манекен качнулся, но каска выдержала. Однако клинок, соскользнув с нее, начисто отсек манекену «руку».

Еще удар — и клинок, вновь соскользнув, врезался в «плечо» манекена.

Члены комиссии восхищались силой Буденного, крепостью клинка и каски, а лицо Сталина хмурилось.

— Думаю, товарищи, мы не можем утвердить такой образец,— сказал он.— По такому шлему будет соскальзывать не только клинок, но и пули, и осколки, летящие сверху.

— Каска-то хорошая, прочная,— высказал свое мнение довольный, возбужденный Семен Михайлович.— Борта бы у нее немного загнуть. Это можно? — спросил он конструктора.

— Вполне.

Пока обсуждали подробности, я передал Иосифу Виссарионовичу коротенькую записку. Лучше было убрать с каски звезду, она облегчала врагу прицеливание, особенно снайперам.

Сталин едва заметно кивнул мне и сказал, не называя фамилии, что есть еще и такое предложение. Как к этому отнесется комиссия?

Звезда была снята. А каска после переделки и новых испытаний была принята на вооружение, оказалась гораздо удобней и надежней в наших условиях, чем те шлемы, которые носили фашисты.

Гитлер готовил войну, а мы готовились к войне — между этими вроде бы одинаковыми понятиями есть очень большая разница. И мы, и фашисты знали — столкновения не избежать. Советская Россия была главным препятствием для Гитлера на пути к мировому господству. Победив нас, фюрер получал неисчерпаемые экономические запасы, территорию и людские ресурсы для осуществления своих замыслов. Мы, конечно, не могли смириться ни с этим, ни с самим фактом существования фашизма — наиболее яркого и активного противника коммунизма. От Балтики и до Черного моря наши войска стояли теперь непосредственно против немецких войск; и мы и они находились в состоянии

повышенной боевой готовности, напряжение не спадало. Разница была в том, что мы ни в коей мере не стремились развязать войну и даже, наоборот, всеми силами пытались оттянуть начало ее. Фашисты же знали, когда и где они нанесут удары, сколько войск используют на первом этапе, какими мерами обеспечат скрытность своих действий. Они имели конкретный план войны с нами, а у нас ответный план на случай нападения Гитлера существовал лишь в общих чертах.

Германское командование прекрасно понимало, что шансы на успех у него убывают с каждым месяцем. Но мы говорили себе: гитлеровцы заняты борьбой на Западе и не рискнут вести войну на два фронта. Мы недооценивали хитрость и коварство Гитлера. А можно сказать и так: ошибались в определении степени его авантюризма и самоуверенности.

Зарубежная пропаганда запугивала и продолжает запугивать своих обывателей «агрессивностью» русских. Вот уж вранье так вранье! Конечно, при возможности, как и любое государство, мы не отказались бы от безболезненного удовлетворения своих политических, экономических, военных интересов, не упустили бы того, что плыло в руки. Но за все годы, когда Сталин был у власти, мы не имели никаких тайных агрессивных замыслов. Все наши стратегические планы исходили из того, что враг первым обрушится на нас. Мы дадим сокрушительный отпор и перенесем военные действия на его территорию. Разве это не справедливо? Разве это концепция захватчиков?

Самое же парадоксальное и печальное заключается в том, что в наиболее напряженное время, когда огонь войны вот-вот мог перекинуться на наш дом, мы вообще не имели общегосударственного стратегического плана. Причин много. Одна из них — отсутствие четких исходных данных, как военных, так и политических. Наши армии продвинулись на запад, заняв новые рубежи — это меняло ситуацию. Заключен договор о ненападении — это тоже не могло не сказаться. Продолжалось перевооружение. Даже Сталин, любивший четкие перспективы, не торопился с нашими военными планами, уверенный в том, что мир с Германией на несколько лет нам обеспечен. Конечно, он допускал возможность каких-то неожиданностей, но только не ту, которая произошла.

Много написано историками, нашими и зарубежными генералами о том, знал или не знал Сталин о подготовке нападения гитлеровцев, почему удар фашистов оказался столь внезапным и сокрушительным для наших войск. Георгий Константинович Жуков приводит в своих «Воспоминаниях и размышлениях» несколько официальных документов, предупреждавших Сталина о близком вторжении. Даже срок нападения указывался. Сталин, дескать, читал эти документы, а в Генеральном штабе и в Наркомате обороны о них не слышали. Мы, мол, тут ни при чем... Легко прослеживается тенденция валить все на Сталина — он теперь, мертвый, не возразит. Но, дорогой Георгий Константинович, разве вам не известно, что Генеральный штаб — это мозг Вооруженных Сил, и если «мозг» не разгадал намерений возможного противника, то какой оценки заслуживает он и его руководители? Вы, в ту пору начальник

Генштаба, не могли не знать, не могли не догадываться хотя бы по косвенным данным, что фашисты готовятся к активным действиям. И вы, и Тимошенко, конечно же, знали об этом, не случайно, как вы пишете, очень тревожились тогда и работали, не считаясь со временем. А вот настойчивость не проявили, не убедили Сталина в грозной опасности, сами не приняли решительных мер. Понадеялись на прозорливость вождя.

Да что там говорить: наша разведка и Генеральный штаб не сумели даже в полном объеме и своевременно выявить сосредоточение вражеских сил на границе. Почти вдвое ошиблись в определении количества фашистских дивизий, скрытно подтянутых для вторжения. Такие срывы недопустимы!

Стремление откреститься от собственных ошибок, переложить ответственность на чужие плечи — что же в этом хорошего? Каждый должен сам нести свою ношу. Конечно, Иосиф Виссарионович, как руководитель партии и народа, как человек, взявший всю полноту власти, виноват во многом. Но разве не делим с ним эту вину все мы, военные деятели, и тем более люди, согласившиеся занимать самые высокие военные посты, пользовавшиеся соответствующими возможностями, благами, почестями?! Взятся за гуж — не говори, что не дюж, — это народ так считает.

Какова же была в общих чертах позиция Иосифа Виссарионовича в той сложной, запутанной обстановке? Прежде всего — объективная ситуация. У нас с Германией взаимовыгодный договор о ненападении (а Сталин никогда не считал договоры пустыми бумажками). Германии важно торговать с нами. Заключен договор о ненападении с Японией. Значит, тут не случайность, а закономерность, стремление стран «оси» иметь с нами хорошие отношения. А любая отсрочка войны — полезна.

Дальше. Зачем Гитлеру, не закончив сражения с Англией, ввязываться в другую битву? Где логика? Разведка и Генштаб сообщают, что на наших границах развернуто не более половины фашистских дивизий — этого мало для вторжения. Значительная часть гитлеровских войск «увязла» на Балканах, в Югославии, только начинает освобождаться. И время для нападения на нас в этом году уже упущено. Все немецкие военные авторитеты считают, что наносить удар по Советскому Союзу следует не позже второй половины мая, чтобы иметь запас хорошей погоды, добиться решающих успехов до осенней распутицы. Ну, а май прошел, и июнь протекает...

Теперь другая сторона: возрастающее количество тревожных сообщений. Конечно, они беспокоили Иосифа Виссарионовича, хотя он был поставлен в известность немцами: германское командование готовит бросок через Ла-Манш в Англию, этой трудной операции будет предшествовать небывалая по масштабам дезинформация с целью запутать, сбить с толку англичан и американцев. Эта дезинформация включала переброску некоторых немецких дивизий с запада в Польшу, распространение слухов о том, что Гитлер собирается напасть на Советский Союз.

К сообщениям любого характера и из любого источника Иосиф Виссарионович относился с разумным скеп-

тицизмом, не принимая на веру, сопоставлял и обдумывал различные данные. Если бы о том, что Гитлер готовит в июне вторжение, сообщил один наш агент или два, Сталин, пожалуй, придал бы этим сведениям особое значение. Но подобные донесения поступали к нему с разных сторон. Об этом предупреждали англичане (с Запада) и радировал Зорге (с Востока), причем назывался даже срок начала боевых действий. Об этом сообщали военные атташе и дипломаты, об этом болтали на улицах Варшавы и Берлина пьяные германские офицеры. Такое обилие информации вызывало сомнения. Немцы умеют тщательно хранить свои тайны, а сейчас важнейшие сведения буквально просачивались через все щели. Что-то здесь не так. Гитлер провоцирует нас, хочет узнать нашу реакцию? Или действительно отвлекает внимание англичан?

Имел ли Иосиф Виссарионович основания испытывать недоверие к нашей агентурной разведке за рубежом? Увы, да. Хотя бы такой факт. Наш резидент в Западной Европе, считавшийся очень надежным, Вальтер Кривицкий переметнулся вдруг в тридцать седьмом году на сторону Троцкого (вероятно, всегда был его тайным поклонником), раскрыл себя, затаился где-то во Франции. Отсюда — сомнение в надежности других агентов, особенно тех, кто не из нашей страны, у кого не было в Союзе близких родственников. Этих, которые без корней, вполне могли перевербовать и использовать в своих целях западные разведки, считал Иосиф Виссарионович и относился к их сообщениям довольно скептически.

Надо еще помнить, что Сталина никогда не оставляла мысль: хитрые англосаксы не упустят малейшей возможности столкнуть нас с немцами, ослабить и тех и других. А оставаться в дураках у Сталина, естественно, не имелось никакого желания.

Иосиф Виссарионович был политическим игроком крупнейшего масштаба, настойчивым и последовательным, способным предусмотреть множество вариантов. Но он все же был несколько патриархальным, слишком искренним — если можно применить к политической игре такие слова. У игроков ведь тоже есть свои принципы, пределы коварства, которые не принято нарушать, а Гитлер оказался даже не игроком, а совершенно беспринципным подонком, ходы и поступки которого были непредсказуемы.

Чаша весов колебалась. Иосиф Виссарионович не принимал решений, ожидая сообщения от одного из наших разведчиков в Европе: пожалуй, главного нашего агента на Западе, его сведениям Сталин привык верить. Это — польский еврей, родившийся в старой России, настоящая фамилия у него была еврейская, не записал я ее по вполне понятным причинам, а потом забыл. Однако на Западе этот агент известен: после войны он уехал в Израиль, там жил, давал интервью. Так вот, этот человек был очень хорошо законспирирован, имел связи в правительственных кругах нескольких стран и всей душой ненавидел фашизм. Он мог бы работать и не на нас, но против нас работать тогда был не способен, так как считал Советский Союз основным противником гитлеризма.

Коль скоро я упомянул об этом агенте, нельзя не

сказать в связи с ним об известном писателе Илье Григорьевиче Эренбурге. Из воспоминаний Эренбурга известно, что сам товарищ Сталин звонил ему по телефону, помогал «продвинуть» в печать роман. С чего бы это? Сталин звонил далеко не всем писателям, тем более не занимавшим руководящих постов. Хватало у Иосифа Виссарионовича других дел и забот. Или Сталин считал Эренбурга великим писателем? Отнюдь. Его литературные способности, особенно до войны, расценивал довольно скромно.

Еще подробность. Многие друзья Эренбурга были арестованы, погибли в лагерях. Назовем хотя бы такие популярные фамилии, как Бабель, Кольцов, Мейерхольд. А их приятель Илья Григорьевич как ни в чем не бывало разъезжал по белу свету, писал об Испании, жил во Франции, без особых трудов пересекал границы, возвращаясь в Союз.

Надо понять вот что. Сорвав замыслы по созданию в России государства под управлением сионистов, этакой «земли обетованной», центра притяжения всей диаспоры, ликвидировав конкуренцию Троцкого и его соратников, Иосиф Виссарионович вовсе не намеревался проводить политику преследования евреев по национальному признаку, как поступил Гитлер. В Советском Союзе не выделяли евреев из числа других народов, они имели равные со всеми права и обязанности. Это была единственно верная политика. Тем более что Сталин хорошо понимал могущество всемирной сионистской империи, не имевшей названия и границ, но захватившей ключевые позиции в экономике (а следовательно, и в политике) Англии, Соединенных Штатов и некоторых других стран.

В борьбе с фашизмом сионистская империя была для нас самым надежным союзником. Гитлер имел своей целью полное истребление евреев, это была реальная угроза, и тот, кто противостоял фашизму, автоматически пользовался всесторонней поддержкой сионистского мира. С этим нельзя было не считаться — сионисты задавали тон всему Западу. Не имея официальных каналов связи с этой необычайной империей, Иосиф Виссарионович возлагал особые надежды на Эренбурга, прекрасно разбиравшегося в ситуации. Знакомства Ильи Григорьевича с сионистами были обширны, многообразны. Возможность поддерживать старые связи и заводить новые ему предоставлялась. То, о чем правительство не могло говорить во всеуслышанье, Сталин или кто-то другой по его поручению доводил до сведения Эренбурга. Можно было не сомневаться, что поднятая проблема или просьба в ближайшее время будет обсуждена в высших сионистских кругах.

Этой линией связи Сталин пользовался лишь в особых случаях, но заботился о том, чтобы «канал» всегда был готов к действию.

Составив один раз представление о человеке (даже заочно, даже самое субъективное), Иосиф Виссарионович, как я говорил, мнения своего не менял, а если и менял, то с очень большим трудом — такой он был в этом отношении консерватор. А Эренбург попал в поле его зрения давно, в хорошую минуту, стал для Иосифа Виссарионовича одним из тех людей, с именами которых ассоциировалась удача.

Дело в том, что, по примеру Владимира Ильича, Сталин любил оживлять свои выступления литературными образами, делавшими статьи и речи более интересными и, между прочим, подчеркивавшими эрудицию автора. Соответствующий материал готовила, как мы уже знаем, Людмила Николаевна Сталь, тайная советница вождя по вопросам литературы, культуры, искусства. В начале 1924 года, когда Сталин обнародовал один из главных своих трудов — «Об основах ленинизма», Людмила Николаевна подсказала ему злободневный пример из современной жизни для важнейшей главы «Стиль в работе». Позволю себе привести довольно обширную цитату не только в связи с Эренбургом, но и потому, что она в значительной мере определяет подход Сталина к практической работе вообще. Вот его строки:

«Речь идет не о литературном стиле. Я имею в виду стиль в работе, то особенное и своеобразное в практике ленинизма, которое создает особый тип ленинца-работника. Ленинизм есть теоретическая и практическая школа, вырабатывающая особый тип партийного и государственного работника, создающая особый, ленинский стиль в работе. В чем состоят характерные черты этого стиля? Каковы его особенности?

Этих особенностей две: а) русский революционный размах и б) американская деловитость. Стиль ленинизма состоит в соединении этих двух особенностей в партийной и государственной работе.

Русский революционный размах является противоядием против косности, рутины, консерватизма, застоя мысли, рабского отношения к дедовским традициям. Русский революционный размах — это та живительная сила, которая будит мысль, двигает вперед, ломает прошлое, дает перспективу. Без него невозможно никакое движение вперед. Но оно имеет все шансы вырождаться на практике в пустую «революционную» маниловщину, если не соединить его с американской деловитостью в работе. Примеров такого вырождения — хоть отбавляй. Кому не известна болезнь «революционного» сочинительства и «революционного» планотворчества, имеющая своим источником веру в силу декрета, могущего все устроить и все переделать? Один из русских писателей, И. Эренбург, изобразил в рассказе «Ускомчел» (Усовершенствованный коммунистический человек) тип одержимого этой болезнью «большевика», который задался целью набросать схему идеально усовершенствованного человека и ...«утоп» в этой «работе». В рассказе имеется большое преувеличение, но что он верно вскрывает болезнь — это несомненно. Но никто, кажется, не издевался над такими больными так зло и беспощадно, как Ленин. «Коммунистическое чванство» — так третирует он эту болезненную веру в сочинительство и декретотворчество».

Естественно, прежде чем назвать в столь ответственном опусе фамилию Эренбурга, Иосиф Виссарионович прочитал его произведение. Был покороблен резкостью, бранчивостью автора, но в принципе счел правиль-

ным, тем более что Людмила Николаевна рекомендовала именно этот пример.

Работа «Об основах ленинизма» получила широчайшую известность, Сталину приятно было вспоминать все, что связано с ее созданием. В том числе — и об Эренбурге. Хлестким и уместным оказался литературный факт. Книги этого писателя Сталин потом регулярно просматривал, интересовался его судьбой, а когда возникла необходимость, использовал Илью Григорьевича как скрытый канал для связи с мировой сионистской империей.

Бывая во Франции, в Испании, Эренбург встречался не только с сионистскими деятелями, но и с тем нашим ведущим агентом, фамилию которого я запомнил. И почта от этого агента поступала в Москву на имя Эренбурга: переписка у него была большая. Не хочу сказать, что Илья Григорьевич являлся сотрудником особых органов, но в годы напряженной борьбы он выполнял не совсем обычные обязанности, внося вклад в общее дело не только публицистическими выступлениями.

И вот по секретным каналам поступило сообщение от нашего главного европейского агента, на которого возлагались большие надежды. Сталин познакомил меня с донесениями. В общем-то агент не открывал ничего нового, он утверждал, что война должна начаться 22 июня.

— Такое впечатление, что вся наша разведка пользуется одним источником, — ворчливо произнес Иосиф Виссарионович. — Если этот источник немецкий, то они неплохо осуществляют план дезинформации, может быть, даже переигрывают. Если же этими сообщениями англичане хотят подтолкнуть нас на войну с Гитлером, то из таких замыслов ничего не получится. Мы дадим через ТАСС сообщение, что ни на какие провокации не поддадимся.

Я слушал его, верил ему и все же испытывал жутковатое ощущение: что, если это не игра, не козни наших противников, а простая, суровая правда?..

Нужно учитывать и чисто психологическую сторону. Сталин привык к мысли, что он не ошибается, что дела в конечном счете идут так, как он намечает, как он хочет. И возраст наш был таков, что располагал к привычному, размеренному образу жизни. Иосиф Виссарионович «разменял» седьмой десяток, стал добрее, мягче, спокойней. Лавры великого полководца не очень привлекали его: слишком уж хлопотно добывать их. Я хорошо знаю, что Сталин думал тогда не о том, как вести большую войну, а как избежать ее. Это не могло не наложить отпечаток на его размышления и действия.

Дни между тем шли своим чередом, радуя теплой, ясной погодой, благоприятными видами на урожай. Мы с Иосифом Виссарионовичем часто гуляли по лесу, ходили слушать соловьев в зарослях над речкой Медвенкой. Настроение было хорошее, и хотелось верить, что самые трудные годы, самые тяжелые испытания остались позади.

Знакомству нашему, дружбе нашей скоро уже сорок лет. Вспоминаю шумные коридоры особняка на Тверском бульваре — в 1954 году все еще замечен был в Литинституте наплыв молодых людей в гимнастерках и бушлатах, недавних воинов Великой Отечественной. Теперь можно с уверенностью заявить, что это были люди особой закалки: по возрасту ребятня, а по жизненному опыту ветераны. Их воспитала, их сформировала война.

Никому из нас тогда не исполнилось и тридцати. Моряки выделялись чем-то неуловимым, — уж не сословной ли флотской сдержанностью? А Володя Успенский являл собой классический тип «братишки» — старшины на берегу. Сильно подкупала улыбка, — человек с малейшей червоточиной в душе так улыбаться не смог бы, не притворился бы. И кто мог знать, какая сложная судьба за этой доброй, открытой улыбкой!

Несмотря на молодость, Владимир Успенский был уже литератором с творческим багажом: он успел опубликовать сборник очерков о спортсменах, его рассказы появлялись на страницах «Смены», в газетах. А через три года после нашего знакомства он подписывал друзьям первую свою солидную книжку «Колокол заговорил вновь». Действие повести происходит в Корее: Успенский воевал на Дальнем Востоке, как радист-корректировщик дважды высаживался в тылу японских войск.

Как человек воевавший, Владимир Успенский не мог не осмысливать того, что ему открыла жестокая явь минувших сражений, много и упорно работал он над произведениями о войне. Рождались его книги: «Тревожная вахта», «Бой местного значения», «Поход без привала», «Можайское направление», «Ухожу на задание» и другие. Но главным его трудом послевоенных лет был большой, двухтомный роман «Неизвестные солдаты».

Сейчас стало модой живописать всевозможные трудности наших диссидентов. В. Успенский никогда диссидентом не был. Больше того, он никогда их не понимал и не принимал. Но трудности с напечатанием романа «Неизвестные солдаты» он испытал полной мерой. Началось с того, что кому-то не понравилось название романа. У нас, видите ли, нет и не могло быть неизвестных солдат. Они могли быть у французов, у американцев, у кого угодно, но только не у нас. «Никто не забыт, ничто не забыто!» Но автор проявил характер и пошел, как говорится, «в бур». Он написал в Министерство обороны, в ЦК КПСС, министру культуры Фурцевой, самому Хрущеву, — всего шестнадцать писем. И пробил бюрократический асфальт: первый том романа увидел свет именно под таким названием. Этим самым писатель узаконил само понятие о тружениках нашей жестокой войны, до сих пор пребывающих в непростительной безвестности.

Высоко оценил «Неизвестных солдат» М. А. Шолохов. Он назвал роман лучшим из всего прочитанного им о войне и посоветовал молодому писателю продолжать работу и довести свое повествование до сорок пятого года. Он же дал В. Успенскому рекомендацию для вступления в Союз писателей. Насколько мне известно, больше таких рекомендаций М. А. Шолохов никому не давал. Так что В. Успенский с полным основанием считает нашего великого писателя не только своим крестным отцом, но и учителем.

Едва увидел свет второй том «Неизвестных солдат», над романом сгустились грозные тучи. Руководители издательства были вызваны «на ковер» в Большой дом. Чем же провинился автор, а с ним и издатели? Вина была велика: в романе говорится о героической обороне Новороссийска, однако ни словом не помянута 18-я армия, а тем более блистательный начальник ее политотдела полковник Брежнев. Изъян романа предлагалось спешно исправить, написав несколько панегирических глав,

однако снова коса нашла на камень — автор уперся и ни за что не соглашался лгать и прислуживаться. Ах, так? Ну тогда... И роман был зачислен в списки произведений, «злонамеренно искажающих правду о войне». От этой тяжелейшей контузии роман не оправился до сих пор. Он еще ни разу не издавался полностью.

Пора, однако, перейти к тому, ради чего пишется статья,— к книге «Тайный советник вождя». Признаться, первую фразу этого романа: «Иосиф Джугашвили не был хорошим солдатом, больше того, он был никуда не годным солдатом»,— я впервые услышал от Успенского лет тридцать назад. Это значит, что автор работал над труднейшей и ответственной темой почти всю свою творческую жизнь. Роман, таким образом, является его главной книгой.

Я был одним из первых читателей рукописи. У нас с автором состоялся долгий разговор. Для меня этот разговор был интересен и полезен тем, что даже на исходе четырех десятков лет нашей дружбы я многое открыл как в биографии моего друга, так и в запасниках, что ли, его души.

Ну, во-первых, такая деталь судьбы, как «обиженность» в те времена, которые теперь принято называть сталинщиной. Подобными испытаниями некоторые диссиденты прямо-таки щеголяют ныне, как великими наградами. Владимир Дмитриевич старался вообще об этом не вспоминать. А рассказать было о чем. Вместе с родителями, учителями, он оказался в оккупации. Паренок был рослый, поэтому немцы, удирая на Запад, мобилизовали его в рабочую команду. Вечером в поднявшейся метели он бросил обозную фуру и прыгнул с моста на лед. Немецкие солдаты открыли стрельбу, однако судьба улыбнулась беглецу. Как видим, решительность поступков была присуща писателю с юношеских лет.

Парнишку подобрали бойцы 160-го гвардейского кавалерийского полка, зачислили в хозвзвод, сено возить в сабельные эскадроны. Испытал он и бомбежки и обстрелы.

Пребывание в немецком тылу, конечно, не прошло безнаказанно: два года будущий писатель провел в сибирской ссылке, в Красноярском крае. Работа известная: лесоруб, плотник, затем лопата на золотом прииске. Реабилитировали семью в 1944 году. Отец этого не дождался, погиб в лагере. Сын же пошел служить на флот, откликнувшись на комсомольский призыв. Подчеркиваю: не во власовскую армию мстить своему народу за жестокие обиды, а на фронт, по призыву комсомола и своего горячего сердца, помогать бить и гнать с нашей земли ненавистного врага. Среди боевых наград Владимира Успенского имеется медаль «Адмирал Ушаков» — отличие весьма редкое.

Все мы стали свидетелями своеобразного «маятника» в оценке Сталина и его места в нашей и мировой истории: от «гения всех времен и народов» до преступника небывалой лютости. Ничего полезного подобный «маятник», на мой взгляд, принести не может. Сталин около трех десятков лет стоял во главе нашего государства, и годы его правления были временем небывалых исторических событий. Не собираюсь здесь ни защищать его, ни тем более поносить, но призвать читателя к спокойному и объективному размышлению считаю своим долгом.

Прежде всего, конечно, пятилетки. В очень короткое время Советский Союз вышел на первое место в Европе и на второе место в мире. Его ошеломляющие успехи в развитии за такой немыслимо малый срок вызвали восхищение всей планеты и по праву назывались «экономическим чудом». Так что были и у нас, у нашего народа, чудеса... А воистину историческая Победа над фашизмом? А послевоенные успехи? Не надо забывать, что всего через два года после такой разрушительной войны мы первые в Европе отменили карточки, после чего каждую весну снижали цены.

Все это реалии нашей недавней истории, и забывать о них не годится.

Моря чернил переведены на описание жестокостей сталинизма. Что ж, верно. Но зачем делать вид, будто Сталин боролся с невинными овечками? Против него выступали, и очень изощренно, коварно, опытные деятели, с ног до головы обрызганные кровью. Ведь репрессии начались задолго до прихода к власти Сталина. Вспомним хотя бы ипатьевский под-

вал в Екатеринбурге, алапаевскую шахту, рассказывание, «красный террор», когда в девятнадцатом году по воле Троцкого, а не по воле Сталина погибли сотни тысяч невинных людей. Не с народом боролся Сталин. Боролся он, если посмотреть трезвыми глазами, с чудовищным разливом троцкизма, а это не что иное, как первый приступ сионизма для захвата Республики Советов. И в той смертельной борьбе Сталин смог выйти победителем благодаря поддержке всего советского народа. В одиночку, без народа ему бы никакой победы не видать.

Незаживаемой раной нашего многострадального Отечества была и остается судьба крестьянства. Жестоко с ним поступили, что и говорить. Однако оглянемся на историю. Много жестокого было и в действиях Ивана Калиты, Александра Невского, Ивана Грозного, Петра Великого, Екатерины Второй,— и что же, разве это дает повод зачеркивать их несомненные заслуги перед государством и народом?

Исторические заслуги Сталина засвидетельствованы такими мировыми деятелями, как Рузвельт и Черчилль. Английский премьер, например, произнес слова, которые следовало бы начертать эпитафией на могиле нашего последнего генералиссимуса: «Сталин принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой». С мнением Черчилля перекликается и мнение такого известного «антисоветчика», как Керенский. Уже на склоне лет, изрядно пожив и повидав, немало поразмыслив, незадачливый премьер Временного правительства признал, что в истории России он выделил бы две однозначные фигуры: Петра Великого и Сталина.

В этих свидетельствах нет ни грана корыстной апологетики, в них объективная добросовестность опытных государственных мужей. И недопустимо нынешнее затапывание в грязь прежнего кумира. Помимо явной недобросовестности подобное шараханье нашей прессы ведет к гражданскому озлоблению, к разжиганию внутренней вражды. А роман-исповедь Владимира Успенского — первая попытка спокойно, объективно разобраться в больных вопросах, проследить становление и развитие сложнейшего характера Иосифа Виссарионовича Сталина под влиянием не только многочисленных внешних факторов, но и семейных событий, личных переживаний. О Сталине будут еще писать много, но роман Успенского — это, по существу, первое большое произведение в нашей литературе, где Сталин выступает главным персонажем. Причем не только как государственный деятель, но и как человек со всеми своими недостатками и положительными сторонами, даже как вдовец, имевший троих детей.

Публикация первой книги романа в журнале «Простор» в 1988 году сразу же вызвала широкую и ожесточенную дискуссию. Трудно назвать центральный печатный орган, который не высказал бы своего мнения по поводу книги. Причем разброс этих мнений необычайно широк. От требований привлечь автора к ответственности (это при нашей-то демократии, при нашем-то так называемом плюрализме) до предложений объявить роман «книгой века», что тоже, конечно, является крайностью. Но что бы там ни говорили, а престиж романа «Тайный советник вождя» очень высок, книга стала бестселлером, выражаясь модным словом.

Повествование ведется от лица бывшего царского офицера Николая Алексеевича Лукашова, который прошел вместе со Сталиным долгий и сложный жизненный путь. Много раз слышал я и еще услышу вопрос: а существовал ли в действительности такой человек? Отвечаю контрвопросом: так ли это важно? Наиболее настойчивым скажу: в одном из журналов была опубликована фотография: Сталин и Ворошилов, а позади строгий худощавый человек, о котором сказано, что личность его по архивам не установлена... Есть и другие подобные фотографии. А помните, как Хрущев говорил о белом офицере, которого приблизил к себе Сталин? Но если даже никакого Лукашова не было, если он придуман писателем? Давайте признаем, что выдумка великолепна. Этот прием дает литератору возможность избежать фальши в изображении главного персонажа. Возьмите нашумевшие «Дети Арбата». Там Рыбаков ничтоже сумняшеся думает за Сталина и даже заявляет, что при созда-

нии романа не пользовался никакими документами. Таким образом, рыбаковский Сталин — это, в общем-то, сам Рыбаков. Но это же наивно! При всех грехах Сталина, он все же личность большого исторического плана и значения, и подавать его таким образом просто недобросовестно.

Сам сюжет «Тайного советника» дает писателю возможность постоянно находиться возле главного героя, ненавязчиво комментировать его решения, а временами — проникать в сложный мир внутренней жизни Иосифа Виссарионовича. Что-то ему (Лукашову) удастся, что-то не под силу. На мой взгляд, такой прием достоверней, убедительней, доходчивей других попыток подступиться к раскрытию образа Сталина.

Интерес к книге В. Успенского понятен и объясним. Происходит развал великой мировой державы, и нам с вами выпало стать свидетелями и участниками этой грандиозной катастрофы. Все, чем жили мы, все, чего добились, объявлено новоявленными политиками гибельным заблуждением, ошибкой. И народ, пока безмолвствующий, недоуменно пожимает плечами: неужели поколения наших предков шли по неверному пути, напрасно трудились, сражались, создавая огромную и чудесную страну? Какой же теперь путь избрать каждому из нас? Появиться перед телекамерой и прилюдно разорвать свой партбилет, как некоторые политические деятели и академики? Но почему никто из вероотступников не порвал академический диплом, полученный в самые гнилые годы застоя? Почему никто из самых модных горлопанов не отказался ни от квартир и дач, ни от спецполиклиник и спецавтомобилей? Куда же они нас ведут и приведут, эти беспринципные деятели?!

Словом, книга у вас в руках. Читайте, сравнивайте, а главное — думайте: прекрасное и необходимое занятие, особенно в наши дни.

Николай КУЗЬМИН

Владимир Дмитриевич Успенский

ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК ВОЖДЯ

РОМАН-ИСПОВЕДЬ

Книга вторая

Учредители: «ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ «РОМАН-ГАЗЕТЫ»,
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ПЕЧАТИ.
СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Редактор *С. Гладкова*

© Иллюстрации худ. *А. Дудина*

Художественный редактор *А. Моисеев*
Корректор *Н. Усольцева*

Технический редактор *Л. Витушкина*

Сдано в набор 19.12.90. Подписано в печать 11.03.91. Формат 84×108¹/₁₆. Бумага газетная.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 10,08. Усл. кр.-отт. 11,34. Уч.-изд. л. 14,23.
Тираж 2 886 000 (1-й завод 1—2 386 000 экз.) Заказ 2485. Цена 1 р. 10 к.

Адрес редакции: 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература».

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат Государственного комитета СССР по печати
142300, г. Чехов Московской обл.

Рукописи ранее не опубликованных произведений редакцией не принимаются и не рассматриваются.

Во всех случаях полиграфического брака просим бракованные экземпляры отсылать для замены в типографию, где печатался данный экземпляр.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

Издательство «Роман-газета» предоставляет возможность предприятиям, организациям и фирмам поместить на страницах нашего журнала рекламу своей продукции и услуг. Сотрудничая с нами, Вы обеспечиваете Вашей продукции самую широкую рекламу — одновременно и немедленную, так как в «Роман-газете» публикуются наиболее популярные и с нетерпением ожидаемые подписчиками произведения отечественной и мировой литературы; и, вместе с тем, долгосрочную, так как почти каждый экземпляр нашего издания в течение длительного периода постоянно переходит из рук в руки читателей, порой оказываясь даже у десятков, у сотен людей.

Выпуски «Роман-газеты» расходятся тиражами до 3 000 000 экземпляров и больше, попадая во все города и населенные пункты страны. Часть тиражей распространяется за границей.

Н а ш и т а р и ф ы:

1 полоса — от 20 000 до 30 000 рублей;

0,5 полосы — от 15 000 до 20 000 рублей (в зависимости от сложности оформления и места размещения рекламы в журнале).

При публикации рекламы совместных предприятий и иностранных фирм расчет производится в свободно конвертируемой валюте.

**В девятом номере
«Роман-газеты»
читайте
роман
ВАСИЛИЯ БЕЛОВА
«ГОД ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА»
(Части первая и вторая)**

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Валерий ГАНИЧЕВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Сергей АЛЕКСЕЕВ
Юрий БОНДАРЕВ
Семен БОРЗУНОВ
Витаутас БУБНИС
Олег ВОЛКОВ
Геннадий ГОЦ
Юрий ГРИБОВ
Владимир ГУСЕВ
Владимир ДУДИНЦЕВ
Александр ЖУКОВ (ответственный секретарь)
Сергей ЗАЛЫГИН
Феликс КУЗНЕЦОВ
Леонид ЛЕОНОВ
Виктор МЕНЬШИКОВ (заместитель главного редактора)
Василий НОВИКОВ
Петр ПРОСКУРИН
Валентин РАСПУТИН
Леонид ФРОЛОВ

58-93

1 р. 10 к.

70782

РОМАН-8 ГАЗЕТА

